ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

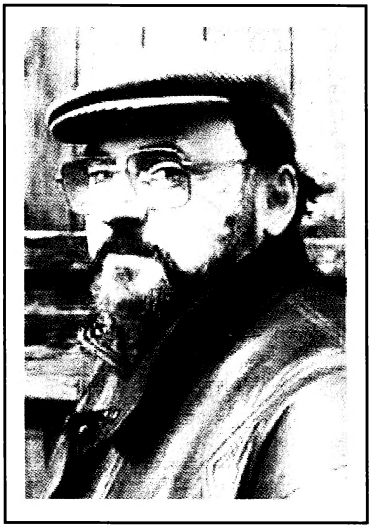
[4] 2012

РОМАН АЛАНА БЕННЕТТА **«ГОЛЫ И БОСЫ»**

ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС

В ЭССЕ МАРИНЫ ЕФИМОВОЙ

Основан в 1955 году



Умер Асар Эппель. Прозаик. Поэт. Переводчик. Блестящий, виртуозный, тонкий — во всех этих ипостасях.

Кем он был в большей степени? Давно, молодым еще человеком (с техническим образованием) писал стихи, которые, кажется, даже не пытался публиковать (часть опубликовал недавно, и сам с некоторым удивлением сказал мне: знаешь, стихи-то хорошие, — а он был очень взыскателен к себе, и к другим, конечно), а стало быть, изначально был поэтом.

Потом стал переводчиком. Всегда говорил, что дело это трудное, гораздо труднее, чем сочинительство, но надо было зарабатывать на жизнь. Вначале переводил стихи: с разных языков, но в основном с польского, и Польша стала частью его жизни — к счастью для польской поэзии и ее русского читателя. В числе переводов и польское барокко, и XX век: это и Стафф, и Тувим, и Галчинский, и Ружевич, и великая дама польской поэзии, лауреат Нобелевской премии Вислава Шимборская. Была между ними — возможно, даже не очень осознаваемая — особая связь. Шимборская знала (и всегда повторяла), что на русский никто ее не переводит лучше. Она скончалась 1 февраля, Эппель пережил ее на каких-то три недели...

А еще он переводил прозу. Тоже в основном польскую, но не только — например, перевел с идиша "Люблинского штукаря" Исаака Башевиса Зингера. Что же касается польской литературы... благодаря Эппелю на русском языке появилось все, что оставил читателям гениальный Бруно Шульц.

Но Асар и сам писал прозу. В конце 70-х ему вспомнились персонажи его послевоенного детства, обитатели барачного поселка в Останкине, чудаки и добряки, проходимцы и шалопаи, часто покалеченные жизнью, и заставили его взяться за перо. Он долго писал "в стол" (неуместны были

[4]
2012

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

3 Алан Беннетт *Голы и босы.* Роман. Перевод с английского Т. Казавчинской

60 Жан-Люк Утерс *Путешествие с Люком.* Роман. Перевод с французского Ирины Волевич

Из будущей книги

166 Франческо Пикколо *Минуты будничного счастья.* Перевод с итальянского и вступление Евгения Солоновича

In memoriam

190 Вислава Шимборская *Карта.* Перевод с польского и вступление К. Старосельской

Из классики XX века

192 Хорхе Луис Борхес *Стихи разных лет. Борхеизмы.* Перевод с испанского Павла Грушко

212 Радослав Братич *Ты куда, Моисей?* Рассказ. Перевод с сербского Василия Соколова

Юбилей

220 Иштван Эркень *Письма-минутки.* Перевод с венгерского и вступление Татьяны Воронкиной

Статьи, эссе

254 Марина Ефимова *Чарльз Диккенс в Америке*

Ничего смешного

260 Огден Нэш *Вот что должно быть вышито на каждом слюнявчике.* Стихи. Перевод с английского и вступление Михаила Матвеева

БиблиофИЛ

270 *Новые книги Старого Света* с Анной Асланян

274 *Новые книги Нового Света* с Мариной Ефимовой

277 *Среди книг* с Татьяной Венедиктовой и Верой Калмыковой

Авторы номера

284

© "Иностранная литература", 2012

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

До 1943 г. журнал выходил под названиями "Вестник иностранной литературы", "Литература мировой революции", "Интернациональная литература". С 1955 года – "Иностранная литература".

Главный редактор
А. Я. Ливергант

Редакционная коллегия:
Л. Н. Васильева
Т. А. Ильинская
ответственный секретарь
Т. Я. Казавчинская
К. Я. Старосельская

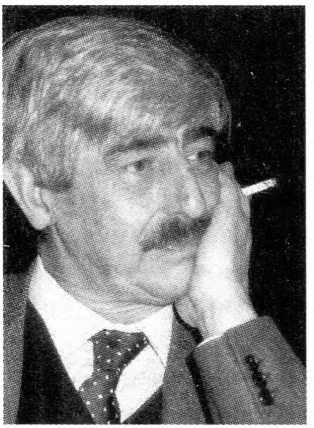
Международный совет:
Ван Мэн
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Ананта Мурти
Кэндзабуро Оэ
Роберт Чандлер
Умберто Эко

Редакция:
Т. А. Баскакова
С. М. Гандлевский
Е. Д. Кузнецова
Е. М. Мамардашвили
Ю. Д. Романова
М. С. Соколова
Л. Г. Харлап

Общественный редакционный совет:
Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Н. А. Богомолова
Е. А. Бунимович
Т. Д. Венедиктова
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Ю. П. Гусев
Г. М. Дашевский
Б. В. Дубин
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
А. В. Михеев
М. Л. Рудницкий
М. Л. Салганик
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и фонда "Президентский центр Б. Н. Ельцина"

Алан Беннетт



Голы и босы

Роман

Перевод с английского Т. Казавчинской

РЭНСОМОВ обокрали. "Ограбили", — сказала миссис Рэнсом. "Нет, обокрали", — поправил мистер Рэнсом. Помещение грабят, если застают людей. Как поверенный он полагал, что у каждого слова есть точное значение и употреблять его следует в точном с ним соответствии. Впрочем, *обокрали* ли их, *ограбили* ли — значения не имело. Воры обычно не берут все подряд — одно уносят, другим пренебрегают. Да и не все можно унести: кресла, к примеру, уносят редко, кушетки и того реже. Но — не на сей раз. На сей раз унесли *всё*.

Рэнсомы в это время были в опере на "Cosi fan tutti"[1] (на "Cosi", как выучился с недавних пор говорить мистер Рэнсом). Для их супружеского союза Моцарт значил немало. Детей у них не было, и, если бы не Моцарт, брак их, надо думать, давно бы распался. По возвращении с работы мистер Рэнсом всегда принимал ванну, после чего ужинал. И уж тогда совершал еще одно омовение — на этот раз музыкальное. Он погружался в Моцарта, нырял в него, позволяя маленькому вéнцу смыть со своего тела всю грязь и мерзость, которыми оно пропитывалось за целый день в конторе. В тот вечер,

Reprinted by permission of United Agents Limited on behalf of:
Alan Bennett
© Alan Bennett, 1996, 1998
© Т. Казавчинская. Перевод, 2012

1. "Так поступают все женщины" (*итал.*) (*Здесь и далее – прим. перев.*)

однако, он направился в купальню общественную — в Ковент-Гарден, и место у него было сразу за министром внутренних дел, который тоже принимал тут ванну, желая смыть нынешние заботы, среди которых — если оценивать их количественно — были и заботы Рэнсомов.

Обычно мистер Рэнсом предавался подобному омовению в одиночестве: Моцарт являлся к нему сепаратно — через наушники и махину сложной и тонко настроенной стереосистемы, к которой миссис Рэнсом не дозволялось даже прикасаться. В этой-то стереосистеме миссис Рэнсом и усмотрела причину ограбления, заподозрив, что за ней в первую очередь, должно быть, и охотились воры. Но кража стереосистемы — дело обычное, а вот кража сорванного с пола ковролина — нет.

— Может, они завернули в него стереосистему? — высказала предположение миссис Рэнсом.

Пожав плечами, мистер Рэнсом возразил, что для этого, надо думать, воспользовались ее шубой. В ответ она снова залилась слезами.

"Cosi" их тоже не слишком порадовала. Миссис Рэнсом запуталась в сюжете. Мистер Рэнсом, никогда в него и не вникавший, счел, что постановка не идет ни в какое сравнение ни с одной из имевшихся у него четырех записей. Исполнители всегда только отвлекали его. "Не знают, куда руки деть", — буркнул он в антракте. Миссис Рэнсом подумала, что, пожалуй, не в одних руках тут дело, но промолчала. Мысли ее были поглощены духовкой, в которой она оставила доходить мясную запеканку с картошкой: эх, надо было поставить регулятор на тройку, а не на четверку. И верно, на тройку было бы лучше. Жаркое и в самом деле пересохло. Но об этом не стоило беспокоиться, потому что воры увезли с собой и духовку, и жаркое, а заодно и форму, в которой оно доходило.

Рэнсомы жили в буро-красном эдвардианском многоквартирном доме неподалеку от Риджентс-парка. До Сити было рукой подать; правда, миссис Рэнсом предпочла бы что-нибудь менее центральное: ей смутно виделось, как она стоит в собственном саду с плетеной корзинкой в руках. Впрочем, по части цветоводства таланта ей Бог не дал. Африканская фиалка, которую на Рождество презентовала уборщица, как раз в то утро окончательно испустила дух, и пришлось засунуть ее в шкаф — с глаз долой от миссис Клегг. Можно было и не прятать. Шкаф ведь тоже исчез.

Соседей у них, можно сказать, не было, даже словом редко с кем случалось перемолвиться. Изредка им попадались в лифте какие-то люди, и тогда обе стороны начинали напряженно улыбаться. Как-то раз Рэнсомы пригласили новых соседей по

этажу заглянуть на шерри, но муж оказался, как он сам себя аттестовал, *фанатом бигбэнда*, а жена — регистраторшей у стоматолога с тайм-шером в Португалии; короче говоря, прием не удался, и больше подобных попыток они не предпринимали.

В последнее время жильцы в доме сменялись все чаще, а встречи в лифте становились все более непредсказуемыми. Люди — нередко арабы — то и дело вселялись и выселялись.

— По-моему, — сказала миссис Рэнсом, — у нас тут прямо как гостиница.

— Я бы просил тебя обходиться без выражения *прямо как*, — сказал мистер Рэнсом. — Слова-паразиты ничего не прибавляют к смыслу.

С него хватало того, что он называл *этой расхлябанной манерой выражаться*, на работе; он полагал, что просит малого: хотя бы дома слышать правильную речь. Посему миссис Рэнсом, которая и так нечасто роняла слово-другое, отныне старалась делать это еще реже.

Когда Рэнсомы переезжали в Нэсби-мэншнз[1], жильцы могли похвастать собственным швейцаром в форме под цвет зданию. Но швейцар умер в 1982 году в полдень, как раз когда ловил такси для миссис Брейбурн с третьего этажа, которая, дабы отправить его в больницу, уступила машину. Никто из его преемников подобного рвения не выказывал и не гордился формой так, как он, и в конце концов обязанности швейцара перешли к сторожу, которого никто никогда не видел — и не только у дверей, но и вообще где бы то ни было, кроме его логова: перегретого чулана рядом с котельной, где он целыми днями спал в кресле, за ненадобностью выставленном кем-то из жильцов.

Тот вечер сторож тоже проспал в кресле, но, против обыкновения, не в своем, а в театральном. Желая подцепить девицу покруче, он надумал посещать курсы для взрослых, где остановил свой выбор на английской литературе, чтобы, как заявил он преподавателю, в таких *подходящих* условиях *заделаться* страстным читателем. У преподавателя бродили в голове волнующие, но не вполне ясные мысли о взаимосвязи труда и искусства, и, узнав, что новенький — сторож, он вручил ему билеты на пьесу с таким же названием[2], посчитав, что озарение, которое непременно воспоследует, подействует оживляюще на всю группу. Вечер этот доставил сторожу не больше

1. Нэсби — селение в Англии, около которого 14 июня 1645 г. парламентская армия О. Кромвеля разгромила войска короля Карла I.
2. Имеется в виду пьеса Гарольда Пинтера "Сторож".

удовольствия, чем "Cosi" — Рэнсомам, а проблески самоузнавания он счел не стоящими упоминания: "По сравнению с настоящим охранным делом, это все мура". Преподаватель же успокоил себя тем, что спектакль, возможно, еще принесет плоды и распахнет створки сторожевой души. Тут он не ошибся: спектакль себя оказал, и створки распахнулись — правда, не в душе сторожа, а в квартире Рэнсомов.

Со временем прибыли полицейские, хотя вызвать их было непросто: снять трубку и позвонить не представлялось возможным. Воры и об этом позаботились: телефонный аппарат, вернее, три телефонных аппарата были аккуратно отрезаны от проводки ровно в том месте, где она уходила под плинтус. Соседей дома не оказалось. ("Наверное, их черед в Португалии, — сказал мистер Рэнсом. — А может, концерт биг-бэнда".) Пришлось ему брести на поиски телефона-автомата. "Непростая задача, — как сообщил он потом миссис Рэнсом: — В наше время телефонные будки используются как общественные туалеты". В первые две мистер Рэнсом даже не стал соваться — писуары да и только, трубки давно выдраны с мясом. Конечно, мог бы выручить мобильник, но мистер Рэнсом не признавал этого новшества ("Следствие плохой организации труда"), как отвергал почти все новшества, кроме тех, что появлялись в области стереозаписи.

Он брел по пустынным улицам, удивляясь, как это люди выкручиваются из таких переплетов. Все пабы закрыты, светится только прачечная самообслуживания с платным телефоном в окне. Мистер Рэнсом счел это добрым знаком; не зная нужды в подобных учреждениях, он и понятия не имел, что стирка белья дошла до таких технологических высот; но как человек новый не знал и того, дозволяется ли сторонним лицам, не стирающим белье, пользоваться всем этим великолепием. К тому же телефон был сейчас занят единственной посетительницей заведения — пожилой особой в двух мужских пальто, явно не стиравшей свое белье ни сейчас, ни когда-либо ранее, поэтому мистер Рэнсом решился и вошел.

Она стояла, прижав трубку к своему немытому уху, не говорила, но и не слушала.

— Поторопитесь, пожалуйста, — сказал мистер Рэнсом. — Мое дело не терпит отлагательств.

— Вот и мое тоже, — ответила она. — Я звоню в Пэдстоу, только они не отвечают.

— А я — в полицию, — сообщил мистер Рэнсом.

— На вас напали, да? — заинтересовалась особа. — На прошлой неделе на меня тоже напали. Обычное дело в наше время. Причем малец-мальцом. Звонок-то проходит, но у них

там коридор очень длинный. В это время они любят выпить чего-нибудь горяченького. Монахини, понимаете ли, — добавила она, чтобы было понятней.

— Монахини? — переспросил мистер Рэнсом. — Да они наверняка давно спят!

— Нет, всю ночь на ногах. Помогают людям. Кто к нам только не заявляется.

При этом она продолжала прижимать трубку к уху: слушала Корнуолл.

— А это ваше дело не может обождать? — спросил мистер Рэнсом, который видел внутренним взором, как его имущество уже отмахало половину шоссе М1. — Главное тут — не упустить время.

— Понимаю, — отозвалась пожилая особа. — Да и монахиням торопиться некуда. У них впереди вечность. Я собираюсь к ним в мае — отдохнуть.

— Но сейчас ведь только февраль! — вскричал мистер Рэнсом. — Мне...

— У них мало места, — объяснила пожилая особа. — Никаких тебе бесед, трехразовое питание, чего ж удивляться? Это дом отдыха для служителей церкви обоих полов. Кто бы подумал, что монашкам тоже нужен отпуск. Молитва не утомляет. Это вам не автобус водить. Все еще звонит. Наверное, допили и пошли на перерыв в часовню. Я, пожалуй, могу позвонить и позже, только... — она уставилась на монеты на ладони мистера Рэнсома, — я свои уже опустила.

Мистер Рэнсом дал ей фунт, она взяла лишние пятьдесят пенсов со словами:

— Для 999 монет не нужно.

Она положила на рычаг трубку, и ее деньги тут же вывалились обратно, но мистер Рэнсом так спешил позвонить, что не обратил на это внимания. Лишь позже, сидя на полу комнаты, прежде служившей ему спальней, он подумал вслух:

— Помнишь, были кнопка А и кнопка В? Их больше нет. А я и не заметил.

— Ничего больше нет, — отозвалась миссис Рэнсом, не уловившая направления его мыслей, — ни освежителя воздуха, ни мыльницы. Это не люди — польстились на туалетный ерш, подумать только!

— Пожарных, полицию, "скорую"? — спросил женский голос.

— Полицию, — ответил мистер Рэнсом. Последовала пауза.

— Мне лучше этот бананчик, — послышался мужской голос. — Слушаю? — Мистер Рэнсом принялся объяснять свое дело, но дежурный перебил:

— Угроза для жизни? — слышно было, как он жует.

— Нет, — сказал мистер Рэнсом, — но...

— Угроза насилия?

— Нет, — признался мистер Рэнсом, — но...

— У нас тут небольшой сбой, шеф. Не кладите трубку, перевожу вас в режим ожидания.

На мистера Рэнсома хлынули звуки штраусовского вальса.

— Они там, небось, чай пьют, — высказала догадку пожилая особа, все еще стоявшая рядом, — он чувствовал по тяжелому запаху.

— Извините за задержку, — прорезался голос пять минут спустя. — Будем писать на машинке. Компьютер завис. Чем могу быть полезен?

Мистер Рэнсом объяснил, что совершена кража, и указал адрес.

— Вы на телефоне?

— Разумеется, — отозвался мистер Рэнсом, — но...

— Записываю номер.

— Телефон украли...

— Обычное дело, — вздохнул голос. — Радиотелефон?

— Нет, — оживился мистер Рэнсом, — проводной. Один аппарат в общей комнате, второй — рядом с кроватью в...

— Без лишних подробностей, — остановил его голос. — Да и кража телефона — еще не конец света. Так какой все-таки номер?

Мистер Рэнсом вернулся домой после часа ночи. Миссис Рэнсом, которая начала было осваиваться с создавшимся положением, он застал там, где недавно была ее спальня, — она сидела, прислонившись к стене в том месте, где лежала бы в постели, будь у нее постель. Она от души поплакала в отсутствие мистера Рэнсома, но теперь утерла слезы, решив, что придется принять неизбежное.

— Я думала, ты умер, — сказала она.

— Почему вдруг?

— Беда не приходит одна.

— Пришлось воспользоваться одной из прачечных самообслуживания, если хочешь знать. Это было ужасно. Что у тебя во рту?

— Пастилка от кашля. Нашла у себя в сумке.

То была одна из пастилок, без которых, по настоянию мистера Рэнсома, она не бывала в опере с тех самых пор, как однажды прокхекала все представление "Фиделио", от начала и до конца.

— У тебя есть еще?

— Нет, — сказала, не прекращая сосать пастилку, миссис Рэнсом. — Эта была последняя.

Мистер Рэнсом отправился в туалет, слишком поздно сообразив, что грабители были столь предусмотрительны, что унесли оттуда не только бумажный рулон, но и держатель.

— Тут нет бумаги! — завопил мистер Рэнсом.

Единственной наличествующей в доме бумагой была театральная программка "Cosi", и, просовывая ее в дверь, миссис Рэнсом не без злорадства подумала, что мистеру Рэнсому предстоит подтереться портретом Моцарта.

Но негнущийся, жесткий глянец брошюрки (выпущенной при поддержке банка "Барклиз Пи-эл-си"[1]) был малопригоден для дела и не желал смываться: несмотря на троекратный слив бачка, сэр Георг Шолти[2] все так же яростно косил глазом на овал унитаза.

— Получилось? — спросила миссис Рэнсом.

— Нет, — ответил муж, располагаясь у стены рядом с ней. Но тут миссис Рэнсом, ощутив, что плинтус врезается ей в спину, изменила положение тела и легла под прямым углом к мужу, так что голова ее покоилась теперь у него на бедре, чего с означенными органами не случалось уже долгие годы. Успокаивая себя тем, что все дело в чрезвычайности ситуации, мистер Рэнсом, тем не менее, испытывал неудобство — физическое и моральное, чего, видимо, нельзя было сказать о его жене, которая тотчас уснула, предоставив мистеру Рэнсому угрюмо созерцать противоположную стену и ничем не занавешенное окно, с которого, как он с удивлением отметил, грабители сняли даже кольца для штор.

Было уже четыре часа утра, когда появилась полиция: крупный, средних лет мужчина в плаще, представившийся сержантом отдела уголовного розыска, и конфузливый молоденький констебль в мундире, не сказавший ни слова.

— Вы не слишком спешили, — не сдержался мистер Рэнсом.

— Да, — стал оправдываться сержант, — мы бы раньше приехали, но... как говорится, э-э... накладочка вышла. Ошиблись квартирой. Мой паренек дал маху. Увидел фамилию Хэнсон и...

— Не Хэнсон, а Рэнсом, — перебил мистер Рэнсом.

— Ну да. Мы выяснили... потом. — Только что переехали? — поинтересовался сержант, оглядывая пустое место действия.

— Нет, — отрезал мистер Рэнсом. — Тридцать лет тут прожили.

1. Одна из крупнейших в Великобритании и мире банковских и финансовых групп.
2. Георг Шолти (1912–1997) — английский дирижер венгерского происхождения.

— И обставились?

— Конечно, — подтвердил мистер Рэнсом. — Нормальный дом, как полагается.

— Диван, кресла, часы... — стала перечислять миссис Рэнсом. — Все было.

— И телевизор? — робко подсказал констебль.

— И телевизор, — подтвердила миссис Рэнсом.

— Мы редко его включали, — уточнил мистер Рэнсом.

— А видак?

— Я не признаю видеомагнитофонов, — отчеканил мистер Рэнсом. — Мне и так забот хватает.

— Музыкальный центр?

— Да, — хором отозвались мистер и миссис Рэнсом.

— У жены было меховое манто, — заявил мистер Рэнсом. — В моей страховой компании есть список ценностей.

— Да вы просто шутите, — подивился сержант. — Я тут немного похожу-посмотрю, если вы не против, а констебль Патридж запишет все подробненько. Соседи напротив видели взломщика?

— В Португалии.

— А сторож?

— Наверное, тоже в Португалии, — съязвил мистер Рэнсом, — судя по тому, как часто мы его встречаем.

— Я не расслышал, у вас на конце *м* или *н*: как у Артура[1] или как у семейки "Симпсо*н*"[2]? — переспросил констебль.

— Патридж у нас из образованных; новичок, а с дипломом, — пояснил сержант, осматривая двери. — Замóк, я вижу, не сломан. Малый просто влез по наружной лестнице. А не мог бы я разжиться у вас такой штуковиной, как чашка чаю?

— Нет, — отрезал мистер Рэнсом. — Потому что у нас больше нет такой штуковины, как чайник. А заодно и такой, как чайный пакетик.

— Я так понимаю, вам потребуется помощь, — выдавил из себя констебль.

— Какого рода?

— Ну, к вам будут приходить, успокаивать, держать за руку, — сказал сержант, приглядываясь к окну. — Патридж считает, что это помогает.

— Все мы люди, — пробормотал Патридж.

— Я — поверенный, — заявил мистер Рэнсом.

1. Артур Рэнсом (1884—1967) — английский детский писатель, автор приключенческой серии "Ласточки и Амазонки".

2. Популярный у молодежи многосерийный — более 400 эпизодов — американский комедийный мультипликационный телесериал.

— Ну, может, ваша половина захочет попробовать. Мы в отделе стараемся не огорчать Патриджа.

Миссис Рэнсом ободряюще улыбнулась.

— Запишу, что вы согласны, — обрадовался констебль.

— Вижу, они ничего не оставили? — догадался сержант, шмыгнув носом и потянувшись, чтобы провести рукой по рейке для картин.

— Да уж! — раздраженно отозвался мистер Рэнсом. — Абсолютно ничего, как вы могли заметить.

— Да не *ваше*, а *свое* — пояснил сержант. — Он снова задумчиво шмыгнул носом: — Визитку, так сказать.

— Визитку? — не понял мистер Рэнсом.

— Продукты дефекации, — пояснил сержант. — Воровство — дело нервное, часто требуется в сортир.

— Так это одно и то же, сержант, — подхватил констебль.

— Что одно и то же, Патридж?

— Когда они собираются "на дело", они говорят "айда в сортир". А во Франции иначе, — разохотился констебль, — "стоять на атасе"

— Вас что, в "Лезерхэде" этому учат? — умилился сержант. — Патридж полицейский колледж кончил.

— Это как университет, только без шарфов[1], — засмущался Патридж.

— В общем, — приказал ему сержант, — иди проверь. На счет дефекации я имею в виду. По этой части они бывают очень изобретательны. Я как-то работал на краже в Пангборне, так *это* красовалось там на светильнике XVIII века прямо посреди стены. Занимайся они каким другим делом, так хоть давай им приз герцога Эдинбургского[2].

— Вы, должно быть, не заметили, — сухо сказал мистер Рэнсом, — у нас нет светильников.

— А другой, дело было в Гилдфорде, облегчился в ароматическую вазу с сухими лепестками.

— Может, это юмор такой, — предположил констебль.

— Юмор, говоришь? А я было подумал, что у безмозглого накурившегося сопляка случилось недержаниие. Кстати, раз уж мы заговорили о телесных потребностях, загляну-ка я в одно местечко перед уходом.

Мистер Рэнсом слишком поздно сообразил, что сержанта следовало остановить, и срочно ретировался в кухню.

1. Ношение академических шарфов — традиция многих британских и ирландских колледжей и университетов; студенты и выпускники носят их в знак гордости своим учебным заведением.
2. Премии герцога Эдинбургского (учреждена в 1956 г.) удостаиваются за личное развитие учащиеся в возрасте от 14 до 24 лет.

Сержант вернулся, покачивая головой:

— Ну и ну! Нашим друзьям, хватило совести, по крайней мере, воспользоваться туалетом, но оставили его в гнусном виде. Вот уж не думал, что мне когда-нибудь придется облегчаться на леди Кири Те Ка́нава. Ее "Вестсайдская история" — жемчужина моей коллекции.

— Вообще-то, это мой муж, — выдавила из себя миссис Рэнсом.

— Ну да! — опешил сержант.

— О чем идет речь? — спросил возвратившийся мистер Рэнсом.

— Неважно, — полепетала его жена.

— Думаете, вы их поймаете? — спросил мистер Рэнсом, провожая до дверей полицейских.

Сержант засмеялся:

— Чудеса случаются даже в правоохранительной деятельности. Никто не держал на вас зла?

— Я поверенный, — сказал мистер Рэнсом. — Все возможно.

— А может, кто-то неудачно пошутил?

— *Пошутил?* — закипел мистер Рэнсом.

— Я только делаю предположения, — успокоил его сержант. — Но если это настоящий взломщик, скажу так: он вернется — они всегда возвращаются.

Констебль глубокомысленно кивнул: даже в "Лезерхэде" согласились бы с этим.

— Вернется? — переспросил мистер Рэнсом, обводя взглядом голые стены. — *Вернется?* За каким чертом?

Мистер Рэнсом очень редко употреблял крепкие выражения, и пребывавшая в соседней комнате миссис Рэнсом притворилась, что не слышала вырвавшегося у него. Дверь за полицейскими захлопнулась.

— Пустое дело, — сказал мистер Рэнсом. — Совершенно пустое. Как тут удержаться и не вспомнить черта?

— Что ж, — сказала миссис Рэнсом несколько часов спустя, — придется стать тут лагерем. В конце концов, — прибавила она не без удовольствия, — это может оказаться занятно.

— Занятно? *Занятно?* — спросил небритый, немытый, разодравший себе зад, позавтракавший водой из-под крана мистер Рэнсом. Однако никакие уговоры миссис Рэнсом (инстинктивно ощущавшей, что в сложившихся обстоятельствах ее задача — подчеркивать мужнину несгибаемость и жертвенность) не могли удержать его от героического похода на работу.

Тем не менее, когда он ушел и окружающая пустота навалилась на миссис Рэнсом всей своей тяжестью, она ощутила, расхаживая по гулким комнатам и не понимая, с чего начать,

что немного жалеет о его отсутствии. Пожалуй, надо составить список — на миг она забыла, что писать ей нечем и не на чем. Значит, нужно пойти купить блокнот и карандаш в газетном киоске. По соседству с киоском обнаружилось кафе, которого она прежде никогда не замечала. Там кормили горячими завтраками, и, хотя среди таксистов и курьеров-велосипедистов ей было в вечернем туалете не по себе, никто не обращал на нее особого внимания, а официантка даже назвала *деткой* и сунула "Миррор", чтобы она почитала, пока дожидается своего бекона с яйцом, консервированных бобов и тоста. "Миррор" миссис Рэнсом обычно не читала, как никогда не завтракала беконом с яйцом, консервированными бобами и тостом; но газетные пересуды о похождениях августейших особ так ее заинтересовали, что она не перестала читать и за едой, для чего прислонила газету к бутылочке с соусом и совершенно забыла, что в кафе она вообще-то зашла потому, что ей нужно было составить список.

Без списка покупки ее оказались довольно хаотичными. Сначала она пошла в "Бутс" и накупила туалетной бумаги, одноразовых тарелок и чашек, но забыла про мыло. Вспомнила, вернулась, но на этот раз забыла чай в пакетиках; возвратившись за чаем, забыла бумажные полотенца, и так до тех пор, пока не почувствовала, что совершенно вымотана: почти доплетясь до дому, она каждый раз с полдороги возвращалась назад. Во время третьей из этих все более раздражающих хóдок — на этот раз она забыла купить пластмассовые вилки и ложки — миссис Рэнсом набралась духу и зашла в "Мистер Энвер". Она проходила мимо десятки раз — да и могло ли быть иначе? Ведь он находился на полпути между ее домом и главной улицей, Сент-Джонс-Вуд[1]; помнила она, конечно, и как его открывали — на месте магазина тканей и детского трикотажа, куда она часто и охотно захаживала прежде. Его держала некая мисс Дорси, у которой она время от времени покупала приглянувшуюся салфетку для подноса, рулончик пластыря "Силко", а чаще всего — то, что тогда называлось *гигиеническими поясами* и продавалось в упаковках из простой оберточной бумаги. Когда в конце 60-х магазин закрылся, миссис Рэнсом ощутила тревогу и растерянность, но как-то раз, робко переступив порог "Тимоти Уайтс", испытала истинное потрясение, обнаружив, какой громадный рывок за последнее время совершило производ-

1. Исторический район Лондона в Вестминстере; расположен в северо-западной части центрального Лондона, одном из самых престижных районов.

ство товаров интимного назначения — что никак не отражалось на допотопном ассортименте магазинчика мисс Дорси, среди редеющей клиентуры которой миссис Рэнсом была чуть ли не единственной покупательницей данного товара. Она и сама знала, что старомодна, но дело не обходилось и без толики снобизма: ей казалось, что есть какой-то шик в том, чтобы получить требуемое без слов, из рук терпеливо, страдальчески улыбающейся мисс Дорси (ее улыбка означала: "Наше общее женское проклятие"), чем просто снимать его с одной из разномастных полок в "Тимоти Уайтс". Впрочем, "Тимоти Уайтс" вскоре повторил судьбу мисс Дорси: его с потрохами съел "Бутс". Однако "Бутс", это она понимала, все же был на голову выше соседней аптеки "Сьюпердраг", где уж точно не было ничего шикарного.

После закрытия магазинчика мисс Дорси (которую однажды днем нашли лежащей ничком на прилавке: с ней случился удар) там ненадолго воцарилась пустота; но как-то раз по дороге к Хай-стрит миссис Рэнсом увидела, что заведение перешло к какому-то азиату, продавцу фруктов и овощей, и перед окном на тротуаре, где никогда ничего не стояло, кроме детских колясок и тележек редких покупательниц, теперь были выставлены ящики неведомых плодов земли: батата, папайи, манго и прочего, а вокруг громоздились мешки, мешки, у которых, подумала миссис Рэнсом, охотно будут задирать ножку собаки.

Поэтому отчасти из верности мисс Дорси, а отчасти потому что место это, по правде говоря, было не в ее вкусе, миссис Рэнсом до нынешнего дня никогда сюда не заглядывала, но, чтобы не тащиться в сотый раз на Хай-стрит, решилась зайти и спросить, нет ли обувного крема (признаться — и она призналась бы в этом первая — сейчас у Рэнсомов имелись куда более неотложные нужды, но мистер Рэнсом был особенно щепетилен по части обуви). Хотя миновало больше двадцати лет, магазинчик явственно сохранил былой облик, помнившийся ей со времен мисс Дорси: конечно, появился рефрижератор и охлаждающий стеллаж, но в остальном мистер Энвер использовал прежнее оборудование, приспособив его к новым целям. Ящики, где прежде хранились благородные предметы досуга: образцы и узоры вязания, вязальные крючки, шторы и драпировочные ткани, — теперь служили вместилищем для лепешек наана и питы; пряности и специи вытеснили детские чепчики и башмачки, а полки и вместительные выдвижные ящики, где прежде прятали чулки, женское трикотажное белье, грации и бюстгальтеры, теперь были до верху засыпаны рисом и нутом.

Миссис Рэнсом не верилось, что в магазине есть средства для обуви (кто тут носит нормальную обувь?), но она так устала, что решила зайти спросить. Правда, ей (вернее, мистеру Рэнсому) требовался буро-красный крем цвета свернувшейся крови, что, смутно подумалось ей, может быть, нарушает религиозные запреты, но кругленький, жизнерадостный мистер Энвер протянул ей — будьте любезны — несколько коробочек на выбор, а когда она стала платить, то приметила щеточку для ногтей, необходимую в ванной, да и помидоры выглядели соблазнительно, и еще стоило купить лимон; тем временем обнаружилось, что в магазине продается кухонная утварь, и она раскошелилась на дуршлаг. Обычно неразговорчивая миссис Рэнсом поймала себя на том, что, расхаживая по магазину, выкладывает этому толстенькому и доброжелательному бакалейщику свои секреты: объясняет, почему делает такие странные, не сочетающиеся между собой покупки. А он в ответ улыбается и сочувственно кивает, в то же время подсовывая ей другие товары, которые ей непременно понадобятся взамен исчезнувших и которые он с удовольствием предоставит ей. "Они вас лишили и дома, и крова, эти мерзавцы. Вы не знаете, куда и откуда идете. Вам нужна жидкость для мытья посуды и одно из этих средств, чтобы туалет стал местом покомфортней".

Дело кончилось тем, что она сделала с дюжину покупок — столько ей было не унести, но и это оказалось легко преодолимо, потому что мистер Энвер привел своего сынка из квартиры над магазином ("Надеюсь, я не от Корана оторвала его", — подумалось ей), и он сопроводил миссис Рэнсом до дома — шел рядом в своей крохотной беленькой шапочке с картонной коробкой в руках.

— Наверное, бракованный, — заявил потом мистер Рэнсом. — На этом они и делают прибыль.

Миссис Рэнсом не вполне понимала, какой такой брак бывает в обувном креме, но ничего не сказала.

— Глядишь, — обронила она позже, — будет доставка.

— Ты хочешь сказать, — посуровел мистер Рэнсом (то был давнишний камень преткновения), — что, как ты надеешься, магазин будет доставлять заказы на дом. "Глядишь, будет доставка" означает, что заказы — дело рискованное: захотят — доставят, не захотят — не доставят (что, впрочем, тоже было верно).

— Как бы то ни было, — парировала миссис Рэнсом, — он открыт до десяти вечера.

— Он может себе это позволить, — сказал мистер Рэнсом. — Наверное, никому не платит. Я предпочитаю "Маркс и Спенсер".

Вообще-то говоря, она тоже. Но однажды она заглянула к Энверу, потому что ей захотелось к обеду манго, в другой раз купила себе папайю; конечно, не бог весть какое геройство, но все-таки отступление от правил — робкие шаги в сторону неведомого, о чем она, слишком хорошо знавшая своего мужа, благоразумно не распространялась.

Друзей у Рэнсомов было мало, гостей они звали редко — мистер Рэнсом твердил, что людей ему хватает на работе. Но в тех редких случаях, когда миссис Рэнсом, встретив кого-нибудь из знакомых, отваживалась признаться, что они пережили настоящий ужас, к ее великому удивлению, неизменно выяснялось, что все знают, что такое кража, по собственному опыту. И хотя ни одна такая история, как понимала миссис Рэнсом, не была столь необъяснимой и чудовищной, как их, с которой, по чести говоря, все эти совершенно заурядные кражи не шли ни в какое сравнение, никто из знакомых решительно не замечал разницы и лишь пережидал, пока она доскажет свое, считая, что это неизбежная прелюдия к их собственному рассказу. Она поинтересовалась у мистера Рэнсома, обращал ли он на это внимание.

— Да, — коротко бросил он в ответ, — считается, что в кражах нет ничего особенного.

Разумеется, так оно и есть, однако, в этом он уверен, — не в столь невероятных, всеобъемлющих и грандиозных, как эта.

— Украли всё, — посетовал он Гейл, своей многолетней секретарше, — всё до нитки.

С Гейл, высокой, унылой особой, у которой не было, по его выражению, "всех этих глупостей" — иначе говоря, женственности, чего мистер Рэнсом терпеть не мог, — он обычно находил общий язык. Будь Гейл попроще, она бы посочувствовала мистеру Рэнсому, и дело с концом, но, подобно всем остальным, она пустилась вспоминать историю собственного ограбления, приговаривая: "Удивительно, что это случилось только сейчас"; почти всех ее знакомых уже давно обокрали хотя бы раз, а ее свояка, мозольного оператора из Илфорда, так того обчистили дважды, причем один раз грабители вломились в дом, когда все сидели перед телевизором.

— Почти неизбежное следствие подобного происшествия — эмоциональный шок. Проявляется он по-разному. Часто после грабежа выпадают волосы — да-да, а вот у моей сестры началась жуткая экзема. И заметьте, — не унималась Гейл, — одни мужчины.

— Что одни мужчины? — не понял мистер Рэнсом.

— Воры — одни мужчины.

— А женщины пробавляются магазинными кражами, — попытался отбиться мистер Рэнсом.

— Да, но не до такой же степени! Они же не крадут все подчистую.

Не уверенный в своей победе, поскольку представлял более слабую сторону в споре, а потому взвинченный и раздосадованный, мистер Рэнсом решил попытать счастья у мистера Пардоу из соседней фирмы, но — с тем же результатом.

— Полностью обчистили? Скажите спасибо, что вас дома не было. Моего стоматолога и его жену семь часов держали связанными; они не нарадуются, что дело не дошло до изнасилования. Маски-шоу, уоки-токи. Это теперь бизнес такой. Я б их всех кастрировал.

Вечером мистер Рэнсом достал словарь из своего дипломата — и то, и другое было только что из магазина. Словарь составлял любимое чтение мистера Рэнсома.

— Что ты ищешь?

— Проверяю, что такое *держать*. "Держать камень за пазухой". Но ведь это то же самое, что "держать зуб на кого-то". Причем тут *держать*?

За последующую неделю с небольшим миссис Рэнсом собрала самое необходимое: купила две раскладушки и постельные принадлежности; карточный столик и два стула — все складное. Еще она купила пару кресел-подушек — она попросила у продавца бин-бэгов, хотя официальное название было какое-то другое[1]: судя по всему, они пользовались успехом и у необворованных, но желавших разнообразия ради посидеть иногда на полу. Появился также и сидиплеер (стараниями мистера Рэнсома), и запись "Волшебной флейты".

Миссис Рэнсом всегда любила делать покупки и вынужденным оснащением дома занималась не без удовольствия — правда, было не до выбора: вещи требовались срочно, все они были предметами первой необходимости. До сих пор любые электроприборы мистер Рэнсом либо приобретал лично, либо санкционировал покупку — без его персонального одобрения нельзя было купить даже такие, никак не связанные с его персоной, вещи, как пылесос (с которым его персона обращаться не умела) или посудомоечная машина, которую он загружал несколько раз в жизни. Однако в особых обстоятельствах, сложившихся после ограбления, миссис Рэнсом было дозволено покупать все, что она сочтет нужным, будь то электроприборы или что другое; и она обзавелась не только электрочайником, но и микроволновкой — новинкой, против которой мистер Рэнсом издавна категорически возражал: не видел в ней смысла.

1. Бескаркасная или модульная, заполненная гранулами насыпная мебель, легко принимающая форму тела.

Что многие из всех этих предметов (бин-бэги, например), скорее всего, проследуют на свалку, как только супругам выплатят страховку и они приобретут нечто более основательное, ничуть не уменьшало неутолимого приобретательского пыла миссис Рэнсом. К тому же до этой эры было еще довольно далеко, ведь страховой полис украли вместе со всеми остальными документами, поэтому, хотя в компенсации ущерба можно было не сомневаться, денег, скорее всего, придется подождать. А пока они жили, так сказать, налегке, что вовсе не тяготило миссис Рэнсом.

— Нищенское существование, — сказал мистер Рэнсом.

— Да, как на чемоданах, — посочувствовал Краучер, страховой агент супругов.

— У нас нет ни одного чемодана, — напомнил мистер Рэнсом.

— А вам не приходило в голову, — спросил Краучер, — что это могла быть чья-то шутка?

— Я часто это слышу. Шутки, видимо, сильно изменились со времен моей молодости. Я полагал, что шутки должны смешить.

— А какое у вас было стереооборудование?

— О, по последнему слову техники, — вздохнул мистер Рэнсом. — Все самое новое и самое современное. У меня где-то остались чеки... Ах, нет, конечно. Запамятовал.

Хотя он и в самом деле забыл о пропаже чеков, то обстоятельство, что они исчезли вместе со стереосистемой, в придачу к которой были выданы, оказалось, пожалуй, к лучшему, ибо мистер Рэнсом несколько приукрашивал картину. Его аппаратура вовсе не была "самой современной", да и существует ли подобная? Техника звукозаписи не стоит на месте — она совершенствуется непрерывно. Не проходит и недели, чтобы не появилось какое-нибудь изобретение. Как страстный читатель журналов по музыкальной аппаратуре мистер Рэнсом постоянно встречал рекламу технических новинок, которые был бы счастлив ввести в свой слушательский обиход. И кража, при всей ее опустошительности, дарила ему такую возможность. Лишь начав осознавать скрытые преимущества потери, этот самый окостенелый человек на свете стал — правда, не без внутреннего сопротивления — слегка оттаивать.

Миссис Рэнсом тоже видела радужную сторону событий — впрочем, как и всегда. Когда они с мистером Рэнсомом поженились, они обзавелись всем, что полагается иметь в налаженном хозяйстве: столовым и чайным сервизами с подобранными к ним льняными скатертями и салфетками; десертными блюдами, стеклянными вазочками и розет-

ками, тортовницами на ножках, водившимися у них в изобилии. Салфетками — для туалетного столика, подносами — для кофейного, столовыми дорожками — для обеденного; махровыми полотенцами для гостей и в пандан — салфетками для умывальника; комплектом ковриков для унитаза и для ванной из того же комплекта. У них были особые ножи для выпечки, особые — для рыбы и для много чего еще; изящные серебряные лопаточки, инкрустированные слоновой костью, назначения которых миссис Рэнсом так и не смогла постичь. Кроме того, в доме имелся массивный многоярусный ящик для столовых приборов с плотно уложенными там ножами, вилками и ложками на двенадцать персон. Но Рэнсомы не давали обедов на двенадцать персон. Они вообще не давали обедов. Они почти никогда не пользовались полотенцами для гостей, потому что у них не бывало гостей. Они проволокли весь этот скарб через тридать два года брака с непонятной для миссис Рэнсом целью и одним махом избавились от него. Сейчас, ополаскивая две чашки в кухонной раковине, миссис Рэнсом вдруг, сама не зная почему, запела.

— Наверное, лучше будет, — сказал Краучер, — исходить из предположения, что вещи пропали и назад не вернутся. Может быть, кто-то мечтал обзавестись респектабельным домом и выбрал самый короткий путь к цели?

Он задержался в дверях:

— Я пришлю вам чек при первой возможности. И вы приступите к восстановлению нормальной жизни. Кажется, ваша милая супруга хорошо переносит случившееся?

— Просто все держит в себе, — ответил мистер Рэнсом.

— Никаких особенных драгоценностей или чего-нибудь в этом роде?

— Нет. Она никогда не гналась ни за чем подобным. К счастью, ее жемчуг был на ней в тот вечер.

— Как и сегодня, — заметил мистер Краучер. — Поразительно, вы не находите?

— На ней? — Мистер Рэнсом не обратил на это внимания.

Когда они ужинали за карточным столом, он спросил:

— Я раньше видел у тебя эти бусы?

— Нет, они новые. Тебе нравятся? Я купила их в бакалейной лавке.

— В бакалейной лавке?

— Индийской. За 75 пенсов. Не могу же я все время носить жемчужное ожерелье.

— Они словно из рождественской хлопушки.

— А по-моему, мне к лицу. Я купила две нитки. Вторую — зеленую.

— Что это я ем такое? Брюкву? — забеспокоился мистер Рэнсом.

— Батат. Вкусно?

— Где ты его взяла?

— В "Марксе и Спенсере".

— Превосходный.

Через недели две-три после кражи (которая стала теперь точкой отсчета для всего) миссис Рэнсом сидела в бин-беге, вытянув ноги и разглядывая свои теперь уже довольно поношенные лодочки, и раздумывала, что делать. Это как смерть, размышляла она, суетишься, суетишься, а в результате — пустота.

Тем не менее ей пришло в голову (то было продолжение мыслей у кухонной раковины), что потеря всех земных благ может дать и обретения, которые она не дерзнула бы назвать духовными, но отнесла бы по части "выработки характера". Когда у человека выбивают почву из-под ног — вернее, оставляют ему только почву под ногами в буквальном смысле слова, в голове у него заводятся, ощущала она, благодетельные мысли о том, как он жил раньше. Ее, наверное, могла бы вызволить война, удар судьбы, не оставляющий выбора. Произошедшее не было столь ужасным бедствием, но она знала, что теперь все зависит от нее, от того, сумеет ли она извлечь нужный урок. Ходить в музеи, в картинные галереи, изучать историю Лондона (теперь существовали курсы для всего на свете) она за милую душу могла и раньше, до того, как у них с мужем украли абсолютно всё — правда, именно это "абсолютно всё" ее и стреножило. Теперь она могла занять положение "на старте". Словом, валяясь в бин-беге на голых досках того, что еще недавно служило ей гостиной, миссис Рэнсом осознала, что вовсе не чувствует себя несчастной, и сказала себе, что началась какая-то более реальная полоса и что скромная, менее изнеженная жизнь (не без комфорта, конечно) — это именно то, что им нужно.

Тут мысли ее прервал звонок.

— Меня зовут Бриско, — сказал голос в домофоне. — Городская служба...

— Мы за консерваторов.

— Да нет, — сказал голос, — из полиции. По поводу вашего шока. Грабежа.

Поняв, что прибыла социально-психологическая помощь и что ее прислала полиция, миссис Рэнсом ожидала увидеть фигуру более, что ли, респектабельную. Но в мисс Бриско не было ничего респектабельного — кроме имени, пожалуй, но от него она отделалась буквально с самого порога.

— Нет, нет, зовите меня Драсти. Меня все так зовут.

— Это крестное имя? — поинтересовалась миссис Рэнсом, впуская ее внутрь. — Или прозвище такое?

— Да нет. По-настоящему меня зовут Гризельда, но неохота людей смущать.

Неизвестно почему, но особа эта и впрямь была не Гризельда; правда, была ли она Драсти, миссис Рэнсом не взялась бы сказать, поскольку то была первая Драсти в ее жизни.

Гостья, большетелая девица, предпочевшая — и, видимо, мудро — рабочий халат платью, поверх него надела кофту, очень длинную и просторную, которая и сама по себе могла сойти за платье; из одного оттопыривающегося кармана выглядывали ежедневник и блокнот, другой был оттянут мобильным телефоном. Учитывая, что должность у нее была официальная, Драсти, как решила миссис Рэнсом, выглядела довольно-таки непрезентабельно.

— Так вы и есть миссис Рэнсом? Розмари Рэнсом?

— Да.

— А как к вам другие обращаются? Так и говорят Розмари?

— Да, пожалуй ("В той мере, в какой они вообще ко мне обращаются", — пронеслось в голове у миссис Рэнсом).

— Подумайте, а может, все же Роуз или Рози?

— О нет.

— Что, и муженек говорит Розмари?

— Нн-да, — подтвердила миссис Рэнсом. — В общем, да. — И пошла ставить чайник, предоставив Драсти возможность приступить к записи данных и ответу на "*Пункт 1-й.* Стало ли для вас ограбление серьезным ударом?"

Когда Драсти начинала работать в социально-психологическом консультировании, жертвы преступлений именовались "делами". Время это давно прошло, теперь они назывались клиентами, даже психокорректируемыми. Начать с того, что термины эти не предполагали ни тени сочувствия, и она их отвергала. Да и вообще, она больше не задумывалась над тем, как они называются. Это было так же неважно, как и то, какая именно беда с ними стряслась. Они представляли собой отдельную группу особей. Будь то квартирная кража, уличный грабеж или ДТП — результат был один и тот же: в ее руки попадали личности неадекватные. Но шанс стать — того и гляди — неадекватной личностью есть у каждого. Драсти ощущала, что теперь, когда она приобрела опыт, она — профессионал.

Чай они пили в гостиной, для чего каждая нырнула в свой бин-бег — миссис Рэнсом уже мастерски владела маневром погружения, а вот у Драсти скорее получился кувырок. Промокая чай с халата, она спросила: "Новые? Вчера у одной клиентки — у нее брат в коме — я видела примерно такие

же. Ну вот, Розмари, я хочу, чтобы мы попробовали все обговорить.

Миссис Рэнсом сомневалась в том, что *об*говорить и *по*говорить было совсем одно и то же. Первое звучало жестче, суше, повелительнее, чем второе, и потому замена Драсти одной приставки на другую не сулила ничего благотворного. "Зато более конструктивно", — возразила бы Драсти, решись миссис Рэнсом затронуть эту тему. Но этого не случилось.

Миссис Рэнсом приступила к изложению обстоятельств кражи, описанию масштаба потерь, но на Драсти все это произвело не слишком сильное впечатление, поскольку нынешний скудный быт Рэнсомов: бин-беги, складной карточный столик и тому подобное — казался ей не столько лишениями, сколько определенной эстетикой. Тут, конечно, было гораздо чище, чем у нее дома, но для своей квартиры она выбрала такой же минималистский стиль.

— Ваша обстановка похожа на прежнюю? — поинтересовалась Драсти.

— О, у нас было много всего. Полная чаша. Нормальный дом.

— Я знаю, вы очень страдаете, — посочувствовала Драсти.

— Вы хотите сказать, что я должна бы страдать? — не поняла миссис Рэнсом.

— Ну, страдаете из-за случившегося...

Поразмыслив немного, миссис Рэнсом заключила, что ее стоицизм — вопрос формулировки:

— Вы хотите сказать, что мне *причинили* страдание? Ну, не знаю, и да, и нет. Наверное, я уже привыкла.

— Привыкать слишком быстро не рекомендуется. Дайте себе время погоревать. Надеюсь, вы хоть иногда плачете?

— Вначале было дело. Но только вначале. И быстро прошло.

— А Морис?

— Кто именно?

— Мистер Рэнсом?

— А-а... нет. Вряд ли. И потом, — миссис Рэнсом понизила голос, словно собираясь поделиться важной тайной, — он же мужчина, понимаете.

— Нет, Розмари. Он личность. Можно только пожалеть, что он сейчас не позволяет себе расслабиться. Специалисты практически единодушно утверждают: если вы не даете своему горю выплеснуться наружу, впоследствии вы, скорее всего, заболеете раком.

— Боже мой! — вырвалось у миссис Рэнсом.

— Да-да, — подтвердила Драсти. — Мужчины переносят горе хуже, чем женщины. Может, ему полегчает, если я с ним поговорю?

— С мистером Рэнсомом? Нет, нет, — замотала головой миссис Рэнсом. — Он очень... застенчив.

— И все же, — гнула свое Драсти. — Думаю, я могу помочь *вам*... Вернее, мы можем помочь друг другу. — И она потянулась, чтобы похлопать миссис Рэнсом по руке, но оказалось, что не может дотянуться до нее, и вместо руки похлопала бин-бег.

— Говорят, люди чувствуют себя ущемленными, — сказала миссис Рэнсом.

— Да. Требуется время, Розмари. Требуется время.

— Мне оно не нужно. Я просто заинтригована.

"У клиента стадия отрицания", — записала Драсти, а потом добавила вопросительный знак. Миссис Рэнсом пошла выносить чашки.

Пока миссис Рэнсом не было, Драсти пришло в голову, что приобретенный ее клиенткой опыт можно изобразить в виде кривой научения и что, хотя, конечно, значения кривой могут быть и положительными, и отрицательными, на потерю имущества можно посмотреть как на своеобразное освобождение — "синдром полевых лилий" — так назвала это Драсти. "Не-собирайте-себе-сокровищ-на-земле"[1]. Хотя эта мысль уже посещала миссис Рэнсом, она отнюдь не сразу приняла ее, потому что Драсти назвала их добро *вещичками,* а вещичками, по мнению миссис Рэнсом, если что и можно было назвать, то разве что содержимое ее сумочки: губную помаду, компакт-пудру и другие пустяки, ни одного из которых она, между прочим, не лишилась. Но потом, поразмыслив, согласилась, что сбить в один ком ковры, шторы, мебель, ковролин и тройники с удлинителями и в самом деле было сподручнее. Но это, конечно, было не то слово, которое она рискнула бы испытывать на собственном муже.

Правду сказать (хотя она не призналась в этом миссис Рэнсом), совет этот Драсти дался нелегко. Чем больше людей с "синдромом полевых лилий" она встречала, тем меньше верила в его целительность. Ей было попались два-три клиента, клявшихся и божившихся, что шок от кражи открыл им глаза на жизнь, что отныне они не будут обременять себя ничем материальным, а будут *путешествовать* по жизни налегке и тому подобное. Но полгода спустя, во время контрольного визита, обнаруживалось, что дома их захламлены еще больше, чем раньше. Очень многие, пришла к выводу Драсти, способны отказаться от вещей; но вот чего они и впрямь сделать не в силах — это *не покупать* их.

1. Евангелие от Матфея. 6:19–21, 24.

Признавшись Драсти, что не особенно жалеет о своих пожитках, миссис Рэнсом сказала правду. О чем она действительно жалела — но не сумела бы это облечь в слова, — были не вещи сами по себе, а тайные связи между ними. Так, на столике в передней лежала зеленая шапочка с помпоном, которую миссис Рэнсом никогда не надевала, но всегда держала как напоминание о том, что нужно включить подогреватель в ванной. Теперь у нее не было зеленой шапочки с помпоном, как не было и столика, на котором она лежала (а уж то, что сохранился подогреватель, вообще следовало считать событием промыслительным). Но без шапочки она уже дважды забывала выключить подогреватель на ночь, и мистер Рэнсом как-то раз ошпарил себе руку.

Ему тоже пришлось отказаться от некоторых ритуалов. Так, он лишился маленьких кривых ножничек, которыми обычно подстригал торчащие из ушей волоски. И это еще далеко не все. Отнюдь не тщеславный, он все же носил небольшие усики, у которых было пренеприятное свойство рыжеть — склонность, которую мистер Рэнсом держал в узде, время от времени нанося на них немножко краски для волос. Краска эта хранилась в старом-престаром пузырьке: некогда попробовав подкрасить корни волос, миссис Рэнсом эту идею тотчас забраковала, но пузырек так и остался стоять в глубине шкафчика в ванной. Запиравший дверь ванной на ключ всякий раз, когда собирался подправить пострадавший участок, мистер Рэнсом никогда не признавался в совершаемом, а миссис Рэнсом, в свою очередь, никогда не подавала вида, что знает об этом. Но теперь шкафчик в ванной исчез, а с ним исчез и пузырек, поэтому со временем усы мистера Рэнсома стали заниматься тем самым рыжим пламенем, которое он так ненавидел. Можно было бы попросить жену купить новый пузырек, но это значило бы признаться в многолетних косметических ухищрениях. Другим выходом из положения было бы купить пузырек самому. Но где? Его парикмахер был поляком, чьего английского хватало лишь на то, чтобы спросить: “Снимем с боков и сзади?” Делу мог бы помочь догадливый аптекарь, но известные мистеру Рэнсому аптекари отнюдь не отличались догадливостью, а штат их состоял из молоденьких скучающих потаскушек, вряд ли готовых войти в положение немолодого поверенного и его наливающихся краской усов.

С огорчением наблюдая экспансию ненавистного цвета в зеркальце пудреницы — пудреницу миссис Рэнсом теперь держала в ванной в качестве единственного зеркала в доме, — мистер Рэнсом проклял бандитов, навлекших на него такое унижение, а лежавшая на раскладушке миссис Рэнсом размышляла о

том, что из постигших их утрат отнюдь не самой безболезненной были маленькие супружеские обманы.

Страховая компания, как узнала миссис Рэнсом, не соглашалась платить за прокат музыкального центра (который, по мнению страховщиков, не был предметом первой необходимости), но телевизор взять на прокат за их счет было можно. Поэтому однажды утром миссис Рэнсом пошла и выбрала самую скромную модель, какая только была в магазине, и заказала установку днем того же дня. Прежде она никогда не смотрела дневные программы: мешало сознание, что есть дела и поважнее. Но телевизионный мастер, уходя, оставил телевизор включенным: передавали ток-шоу, в котором расплывшаяся американская пара отвечала на вопрос чернокожей дамы в брючном костюме: как они налаживают сексуальные отношения?

Супруг, плюхнувшийся в кресло и державший ноги враскоряку, описывал, "чего именно — как он выразился — ждет от своего брака", настолько детально, насколько позволяла ему брючная дама, тогда как жена, сложившая руки и сжавшая колени и выглядевшая бы чопорной, если бы не тучность, говорила, что "не дает никаких советов, но муж не признает дезодорантов на рабочем месте".

— Возьмите на заметку язык тела, — посоветовала брючная, на что публика (озадачив миссис Рэнсом, которая знать не знала, что такое "язык тела") ответила хохотом и насмешками.

Чего только люди не делают ради денег, подумала миссис Рэнсом и выключила телевизор.

Следующим полуднем, придя в себя после дремы в бин-беге, она снова включила телевизор и обнаружила на экране точно такую же программу, с точно такой же бесстыдной парой, с точно такой же ржущей и глумливой публикой и с прохаживающейся между гостями ведущей с микрофоном в руках — на этот раз ведущая была белой, но столь же невозмутимой, как вчерашняя, и столь же безразличной к разнузданности гостей — даже, как показалось миссис Рэнсом, поощрявшей их в этой разнузданности.

Все эти телеведущие — миссис Рэнсом стала смотреть передачи регулярно — были крупные, наглые особы и, на взгляд миссис Рэнсом, беспредельно самоуверенные (они полагают, подумалось ей, что именно это и называется авантажность; она бы даже посмотрела это слово в словаре у мистера Рэнсома, но не была уверена в его написании). По именам их можно было принять за мужчин: Робин, Бобби, Трой и еще Тиффани, Пейдж, Кирби — какие ж это имена, удивлялась миссис Рэнсом.

Начать с того, что телеведущие и их публика объяснялись на языке, миссис Рэнсом малопонятном: "родительство однополых пар", "интимное взаимодействие", "приемы синхронизации возбуждения", "позиция сзади". То был язык откровенных признаний и безграничного панибратства. "Догадываюсь, к чему ты клонишь, – говорили они, хлопая друг друга по плечу. – Знаю, где собака зарыта".

В передаче фигурировала Фелисия, которой требовалось долгое и нежное соитие, и ее муж Дуайт, которому хотелось всего и сразу, но у которого отсутствовали необходимые навыки. По общему мнению, супругам необходимо было откровенно поговорить друг с другом, и здесь, перед этой глумливой, охочей до жареного публикой, они и решили это сделать; наконец, уже перед титрами, последовал поцелуй в диафрагму: чуть ли не повалившись друг на друга, они буквально склеились ртами под одобрительный гогот присутствовавших, в то время как ведущая глядела на них с грустной, мудрой улыбкой. Она сказала: "Спасибо всем", а пара все целовалась и целовалась.

К чему миссис Рэнсом никак не могла привыкнуть, так это к тому, как хладнокровно – без тени смущения – держались участники шоу и как никому из них никогда не бывало попросту стыдно. Даже если темой передачи была застенчивость, никто из приглашенных не бывал застенчив в том смысле слова, в каком понимала его миссис Рэнсом; никто не конфузился, не было недостатка и в беспардонных ораторах, готовых сорваться с места и похвастать парализующей их робостью и нелепыми последствиями, к которым приводили одолевающие их стеснительность и скромность. Сколь бы личной, даже интимной, ни бывала затронутая тема, никто из этих бодрых крикунов не испытывал ни малейшей неловкости. Напротив, они, казалось, соревнуются в том, кто сознается в более вульгарном и непристойном поведении; одно вопиющее признание затмевало другое, а публика отвечала на очередную исповедь все более дикими воплями и гиканьем, выкрикивая советы кающимся и подзуживая их, чтобы они выложили что-нибудь еще – покруче.

Изредка, правда, случалось, что кто-либо из аудитории не веселился, а возмущался и после какой-либо особо гнусной исповеди на миг бывал якобы искренне потрясен, но происходило это лишь потому, что ведущая, глядя из-за спины говорящего, строила осуждающую гримасу, чем наносила присутствующим оскорбление и вызывала их ответное возмущение. Ведущая была их сообщницей, думалось миссис Рэнсом, она была ничуть не лучше остальных, она даже готова была выйти

из роли, лишь бы напомнить участникам об их самых невероятных и непристойных выходках, в которых они признавались ей раньше, с глазу на глаз — в кажущемся уединении гримерки. Когда она принималась ворошить их прошлое, они изображали старательно продуманную пантомиму: опускали головы от стыда, прятали раскрасневшиеся лица в ладони, тряслись от неодолимого вроде бы смеха — чтобы показать, что они и не помышляли выкладывать на публике подобные тайны, а уж тем более перед телекамерой.

И все равно — миссис Рэнсом это чувствовала — они были лучше ее. Потому что никто из этих шумных, хихикающих (зачастую тучных) существ не терзался и тенью сомнения по поводу идеи, которая лежала в основе этих передач: все люди одинаковы. Поэтому тут не было места ни стеснению, ни сдержанности, и притворяться значило быть кичливым или лицемерным. Миссис Рэнсом сознавала, что первое, несомненно, относится к ней, а второе — пожалуй, к ее мужу.

Содержимое их квартиры было застраховано на 50 000 фунтов. Поначалу стоимость имущества была существенно меньше, но мистер Рэнсом как поверенный, а кроме того, как человек предусмотрительный позаботился о том, чтобы страховая премия росла вместе со стоимостью жизни. Этот скромный прирост стоимости предметов домашнего обихода, мебели, посуды, осветительного, кухонного оборудования и сантехники за все эти годы, соответственно, потихоньку увеличивался; стереосистема, кухонные приборы фирмы "Мэджимакс" (кухонный комбайн, кофейная машина и прочее), столовое серебро, набор посеребренных салатниц фирмы "Элкингтон и К°", салфетки для подносов и подставки под горячие блюда — вся та экипировка, к которой Рэнсомы были полностью готовы, но которой так и не сумели воспользоваться, все это преспокойно дорожало вместе с ростом цен. Добротные, неприметные, элегантные вещи, купленные в расчете на то, что будут использоваться по назначению, а не служить украшением, целехонькие — без щербинок и царапин, за долгие годы не пострадавшие от боя и пыли, ухоженные и тщательно начищенные, без малейших следов износа — все это тихо существовало себе изо дня в день вплоть до того вечера, пока не случилось страшное, и все это мирное сообщество предметов словно исчезло с лица земли, и то, что миссис Рэнсом скромно называла "наши вещи", испарилось навсегда.

Как бы то ни было, страховая компания закончила работу, и в положенное время прибыл чек на полную стоимость застрахованного имущества плюс непредвиденная прибавка, выплачиваемая при отсутствии предъявляемых ранее

имущественных претензий и предназначенная компенсировать потрясение жизненных основ и моральный ущерб.

— Этот излишек — за перенесенную травму, — сказала миссис Рэнсом, глядя на чек.

— Я предпочитаю называть это перенесенными неудобствами, — поправил ее мистер Рэнсом. — Нас, конечно, обокрали, но не под автобус же мы попали. В любом случае, лишние деньги придутся очень кстати.

Он уже продумывал план действий: он купит более мощный стереоцентр и сиди-плеер, который будет оснащен системой высококачественного цифрового звуковоспроизведения и сверхочистки тона, и все это пустит через пару мощных колонок из красного дерева ручной работы. Вот это будет Моцарт, какого он еще не слышал.

Миссис Рэнсом уютно расположилась в недорогом плетеном кресле-качалке, которое нашла пару недель назад в мебельном магазине на Эджвер-роуд. Это было заведение, куда до кражи ей бы и в голову не пришло зайти — с кричащими мебельными обивками, картинами, на которых кривлялись клоуны, с керамическими леопардами в натуральную величину по обе стороны от входной двери. Товары массового спроса, подумала бы она прежде, — какая-то часть ее существа и сейчас так думала, но магазин порекомендовал мистер Энвер, и кресло-качалка, которое она там купила, и в самом деле оказалось на редкость удобным и, в отличие от того, которое было у нее до кражи, в нем не болела спина. Теперь, когда появилась страховка, она собиралась завести второе такое же для мистера Рэнсома, но тем временем ей попался коврик со слоном, подходящий к ее креслу, и в свете латунной настольной лампы (из того же магазина) он мягко пламенел. Набросив на плечи то, что, по словам мистера Энвера, было афганским молитвенным ковриком и сидя посреди своей пустой гостиной, она ощущала, будто в центре, на полу, возник уютный заморский островок.

В данный момент островок мистера Рэнсома был далеко не столь уютен: он сидел на складном стуле за карточным столиком, на который миссис Рэнсом положила единственное пришедшее с дневной почтой письмо. Мистер Рэнсом взял его в руки. Почуяв запах карри, он спросил:

— Что у нас на ужин?

— Карри.

Мистер Рэнсом повертел конверт в руках — похоже на счет.

— Из чего карри?

— Из барашка, — отозвалась миссис Рэнсом, — с абрикосами. Я все думаю, белый — это слишком смело?

— Белый? — переспросил мистер Рэнсом и поднес письмо к свету.

— Ну, — сказала она неуверенно, — все выкрасить в белое сплошняком.

Мистер Рэнсом не отвечал: он читал письмо.

— Ты только не волнуйся, — сказал мистер Рэнсом жене, когда машина свернула по направлению к Эйлсбери[1]. — Наверное, у кого-то опять разыгралось чувство юмора. Очередная шутка.

По правде говоря, настроение у них было не ахти, пейзаж за окном тоже был не ахти; с тех пор как выехали, они не обменялись ни единым словом; на коленях у мистера Рэнсома лежало письмо с вычерченным карандашом маршрутом.

— По кругу первый съезд налево, — подумал мистер Рэнсом.

— По кругу первый съезд налево, — сказала миссис Рэнсом.

Утром он позвонил в управление складских помещений и разговаривал с какой-то девицей. Фирма называлась: "Грузоперевозки-хранение: Быстро-надежно" — в этих дефисах ему почудилось что-то зловещее; предчувствие не обмануло его.

— Алло, "Грузоперевозки-хранение: Быстро-надежно", Кристина Тоузби у телефона. Чем могу быть полезна?

Мистер Рэнсом попросил к телефону мистер Ролстона, чья подпись стояла в письме.

— В настоящее время мистер Ролстон находится в Кардиффе. Чем могу быть полезна?

— Когда он вернется?

— Не раньше следующей недели. Контрольная поездка по нашим складам. Чем могу быть полезна?

Вопреки настойчивым предложениям помощи, у Кристины было отлично натренированное равнодушие особы, чье внимание неизменно поглощено окрашиванием ногтей, и, когда мистер Рэнсом объяснил, что накануне получил таинственный счет на 344,36 фунтов за *хранение домашнего имущества – собственности мистера и миссис Рэнсом*, единственное, чего он удостоился в ответ, было: "Ну и что?" Он принялся излагать обстоятельства дела, но услышав, что имущество, о котором идет речь, может оказаться краденым, Кристина встрепенулась.

— Вынуждена перебить вас. Считаю это маловероятным, честно говоря. Я имею в виду, что "Быстро-надежно" существует с 1977 года.

Тогда мистер Рэнсом зашел с другой стороны:

1. Эйлсбери — город, входящий в состав Лондонского пригородного пояса.

— Вы случайно не знаете, нет ли среди этого имущества, которое у вас на хранении, старой стереосистемы?

— Боюсь, не смогу вам с этим помочь. Но если вы отдавали что-то на хранение в "Быстро-надежно", вам оформили накладную образца С47, и у вас должна быть копия. Такая желтенькая бумажка.

Мистер Рэнсом начал растолковывать, почему желтенькой бумажки у него нет, но Кристина перебила его:

— Ничего этого я не знаю и знать не обязана. Я тут в Ньюпорт-Пагнелл, верно? Это наш офис. А складские помещения — в Эйлсбери. В наше время хранилища могут находиться где угодно. На то и компьютеры. Но если кто может вам помочь в Эйлсбери, так это Мартин, и мне случайно стало известно, что сегодня он почти весь день на рабочем месте.

— Что ж, значит, мне нужно ехать в Эйлсбери, — сказал мистер Рэнсом, — просто чтобы удостовериться, что там ничего нет.

Кристина к этой идее отнеслась сдержанно.

— Остановить вас я не могу, только учтите, для посетителей там никаких удобств не предусмотрено. Это вам не собачий приют, — прибавила она таинственно.

Мистер Рэнсом сказал жене, что компания "Быстро-надежно" находится в бизнес-парке, и миссис Рэнсом, мало знакомая с обсуждаемым предметом, вообразила себе приятную сельскую местность, где парк — это настоящий парк, разбитый вокруг довольно импозантного здания, умело переоборудованного в соответствии с современными запросами; территория разделена между мастерскими, а конторы предусмотрительно скрыты в кронах деревьев. В самом сердце этого предпринимательского рая ей виделся загородный дом, вдоль террас расхаживают высокие женщины с папками в руках, а в раззолоченных залах под расписными потолками машинистки стучат по клавишам своих машинок — картина эта (попытайся она проследить ее истоки) брала свое начало в фильмах о войне, где во французских зáмках, захваченных высшим немецким командованием, кипела новая жизнь, которую вот-вот должно было прервать открытие Второго фронта.

Она не поделилась своими романтическими грезами с мистером Рэнсомом, что было к лучшему, ибо как секретарь ряда компаний он знал истинное положение дел и не оставил бы от ее мечтаний камня на камне.

Только когда она увидела, что машина едет по унылой, без единого дерева кольцевой дороге, вдоль которой тянутся какие-то фабрички и мелькают полосы жесткой травы,

пробивающейся сквозь бетон, миссис Рэнсом распростилась со своими видениями.

— Тут мало что напоминает о загородной жизни, — не выдержала она.

— Да и с чего бы? — удивился мистер Рэнсом и свернул к металлическим воротам в далеко не палладианском стиле.

— Это здесь, — сказала миссис Рэнсом, глядя на конверт.

Ворота являлись составной частью семифутового забора с косым навесом из колючей проволоки, отчего место это больше смахивало на тюрьму, чем на парк. К пустому бункеру была прикреплена сине-желтая металлическая пластина с планом расположения складов на территории. Мистер Рэнсом вышел из машины, чтобы отыскать строение 14.

— Вы находитесь здесь, — указывала стрела, к кончику которой кто-то пририсовал грубо намалеванные ягодицы.

Строение 14 было на несколько сот ярдов вдвинуто вглубь периметра: при соблюдении масштаба и если отсчитывать от ягодиц, оно стояло примерно на уровне пупка.

Мистер Рэнсом вернулся в машину и медленно повел ее в сгущающихся сумерках, пока не оказался перед низким широким зданием, похожим на ангар с двойными раздвижными дверями, выкрашенными в красное, и без какого-либо опознавательного знака, если не считать предупреждения о злых собаках. Рядом не было ни машин, ни какого-нибудь другого намека на человеческое присутствие.

Мистер Рэнсом надавил на раздвижные двери, не надеясь, что они поддадутся. Они и не поддались.

— Заперто, — констатировала миссис Рэнсом.

— Не скажи, — пробормотал себе под нос мистер Рэнсом и рванул вперед вдоль стены ангара, сопровождаемый не поспевающей за ним миссис Рэнсом, которая неуверенно ковыляла среди щебня, обломков кирпича и лоскутов колючей травы. Мистер Рэнсом ощутил под башмаком что-то скользкое.

— Осторожно, тут собачьи какашки, — предупредила миссис Рэнсом. — Они тут повсюду. — Шедшие вниз ступеньки вели к входу в подвал. Мистер Рэнсом подергал и эти двери. Тоже заперты. Наверное, котельная.

— Похоже на котельную, — заметила миссис Рэнсом.

Он вытирал подошву о ступеньку.

— Можно подумать, что их тут держат, чтобы мы следовали их примеру, — подумала вслух миссис Рэнсом.

— Кого? — спросил мистер Рэнсом, шаркая подошвой о редкую щетину травы.

— Сторожевых собак.

Супруги уже обошли ангар, когда впереди забрезжил свет из тусклого, забранного ребристым стеклом оконца. Верхняя его часть была приоткрыта на дюйм-другой — это явно был туалет, и миссис Рэнсом удалось разглядеть сквозь неровную поверхность стекла рулон туалетной бумаги на подоконнике. Это конечно было совпадение, но рулон был ярко-голубого цвета — цвета незабудок, который так любила покупать для своего туалета миссис Рэнсом и за которым ей порой приходилось побегать. Она прижалась лицом к стеклу, чтобы получше разглядеть рулон, но тут ей попалось на глаза кое-что еще.

— Глянь, дорогой, — обратилась она к мистеру Рэнсому, но он не реагировал. Он весь обратился в слух.

— Помолчи, — сказал он. Он узнал Моцарта.

Через щель туалетного оконца выплывал звучный, глубокий, великолепный, единственный в своем роде голос дамы Кири Те Канава.

"Per pietá, ben mio, perdona all'error d'un amante"[1], — пела она.

Голос несся в сыром сумеречном воздухе, взмывая над блоком 14 "Быстро-надежно", над блоком 16 "Клеи и адгезивы Крода", над блоком 20 "Стройматериалы и строительные герметики Ленсила" (блоки 17—19 сдаются в аренду).

"O Dio, — взывала дама Кири, — O Dio"[2].

Пению внимала и огибающая ангар дорожка, и низкорослые торчащие там-сям деревца, и грязный мелкий ручеек, петляющий в бетонном водосбросе и стекающий к ухабистому нижнему пустырю, где стояла убогая лошадка, уставившаяся на две бочки и столб.

Ощутив прилив сил благодаря голосу исполнительницы, не побоявшейся в свое время приехать с другого конца Земли, мистер Рэнсом вскарабкался по водосточной трубе и больно уперся коленками о карниз. Уцепившись одной рукой за трубу, другой он стал толкать окно внутрь и, выиграв дюйма два, засунул голову в щель как можно глубже, едва не съехав при этом с карниза.

— Поосторожнее, — забеспокоилась миссис Рэнсом.

Тут мистер Рэнсом громко закричал:

— Ау! Ау?

Моцарт смолк. Где-то в стороне проехал автобус.

В наступившей тишине мистер Рэнсом завопил вновь, на этот раз чуть ли не радостно:

1. "Пощади, мой хороший, прости за ошибку влюбленного..." (*итал.*)
2. О Боже... О Боже (*итал.*).

— Ау!

И сразу началось светопреставление. Залились лаем собаки, взвыла сирена, а ослепленные мистер и миссис Рэнсом оказались в световой ловушке: полдюжины софитов взяли на прицел их скорчившиеся тела. Оцепенев, мистер Рэнсом мертвой хваткой впился в окошко уборной, а миссис Рэнсом застыла на месте, прильнув как можно теснее к стене и шаря одной рукой по карнизу в надежде нащупать колено мистера Рэнсома (не выходя по возможности за пределы скромности), чье присутствие хотела ощутить.

И вдруг вся суматоха стихла так же внезапно, как поднялась: огни потухли, сирена отключилась, лай сменился редким ворчанием. Трясясь на карнизе, мистер Рэнсом услышал звук раздвигающихся дверей и неторопливые шаги в переднем дворике.

— Прошу прощения, ребята, — произнес мужской голос. — Грабители. Такое дело, приходится принимать меры, чтоб обнаружить и запугать их.

Миссис Рэнсом вглядывалась во тьму, но все еще ослепленная софитами, ничего не могла разглядеть. Мистер Рэнсом съехал по водосточной трубе и стал рядом с ней; она взяла его за руку.

— Сюда, чуваки и чувихи. В эту сторону.

Мистер и миссис Рэнсом перешагнули через клочок травы и ступили на бетон, где на фоне открытых дверей стоял молодой человек.

Ошеломленные, они проследовали за ним в ангар: на свету супруги являли собой жалкое зрелище. Миссис Рэнсом хромала: у нее сломался каблук, на чулках поехали стрелки; у мистера Рэнсома зияла дыра на колене, к туфлям прилипло собачье дерьмо, а на лбу, в том месте, где он прижимался лицом к оконной раме, протянулась длинная грязная полоса.

Молодой человек улыбнулся и протянул руку:

— Морис. Розмари. Привет! Я Мартин.

У него было приятное открытое лицо, и, несмотря на небольшую бородку — а, по убеждению мистера Рэнсома, обладатели их все как один смахивали на отравителей, — для кладовщика он в любом случае был одет невероятно элегантно. Правда, его головной убор был из тех, какие прежде носили только американские игроки в гольф, но теперь такие носили все; в заднюю выемку был продет схваченный резинкой хвостик, и, как у всех молодых в последнее время, подол рубашки сзади был выпростан наружу. Особый же шик, на взгляд миссис Рэнсом, ему придавал элегантный темно-вишневый кардиган, очень напоминавший вязаный жакет, кото-

рый она купила мистеру Рэнсому на прошлогодней распродаже у "Симпсонов" на Пиккадилли. На шее у Мартина висел свободно повязанный желтый шелковый шарф с лошадиными головами. Миссис Рэнсом когда-то выбрала точно такой же мистеру Рэнсому, но муж надел его всего раз, так как счел, что выглядит в нем простецки. В этом же молодом человеке не было ничего простецкого, вид у него был стильный, и ей подумалось, что, если когда-нибудь они получат свои вещи назад, она откопает в шкафу тот шарф и заставит мужа сделать еще одну попытку.

— Следуйте à moi[1], — сказал молодой человек и вывел их в холодный коридор с голым полом.

— Мне так приятно видеть вас наконец, — сказал он, оглянувшись, — хотя, учитывая обстоятельства, я чувствую, что мы уже давно знакомы.

— Какие такие обстоятельства? — спросил мистер Рэнсом.

— Еще немножко терпения, — успокоил его Мартин.

Мистер и миссис Рэнсом ожидали в темноте, пока молодой человек возился с замком.

— Я сейчас немного проясню обстановку, — пошутил он, и комнату залило светом.

— Входите, — сказал он и засмеялся.

Усталые, грязные, полуослепшие от яркого света, мистер и миссис Рэнсом сделали шаг вперед и... очутились в собственной квартире.

Все было точно так, как в тот вечер, когда они пошли в оперу. Ковер, софа, стулья с высокими спинками; точь-в-точь их кофейный столик, фанерованный ореховым шпоном, с резными бочка́ми и витыми ножками, со свежим номером "Граммофона" на столешнице. Не было забыто и вышивание миссис Рэнсом — оно лежало на краю дивана, куда она положила его без четверти шесть, перед тем как пошла переодеваться в тот поистине незабываемый вечер. Здесь на кофейном столике стоял стакан, из которого мистер Рэнсом выпил капельку чего-то, что должно было придать ему сил во время первого действия "Cosi" и край которого (миссис Рэнсом провела по нему пальцем) все еще оставался липким.

Стоявшие на каминной полке старинные дорожные часы, которые подарили мистеру Рэнсому на двадцатипятилетие службы у "Селви, Рэнсома, Стила и К°", пробили шесть,

1. За мной (*франц.*).

но миссис Рэнсом не поняла, были ли это тогдашние шесть или сегодняшние. Лампы горели как в тот вечер.

— Я знаю, нельзя попусту жечь электричество, — имел обыкновение говорить мистер Рэнсом, — но свет может отпугнуть случайного вора.

На столике в коридоре лежала вечерняя газета: мистер Рэнсом оставил ее для миссис Рэнсом — обычно она читала газету за кофе утром следующего дня.

Если не считать картонной тарелки с остатками недоеденного холодного карри, которую Мартин аккуратно задвинул ногой под диван, пробормотав "Прошу прощения", всё, каждая мелочь, были на своем месте; казалось, Рэнсомы вернулись к себе, в свою квартиру в Нэсби-мэншнз, на Сент-Джонз-Вуд, а не попали в ангар, в промзону на окраине черт знает чего.

От дурного предчувствия, с которым миссис Рэнсом выезжала днем, не осталось и следа; она ощущала одну только радость; счастливая, она бродила по комнате, улыбалась и издавала "ахи!" и "охи!", беря в руки то одну, то другую милую сердцу вещицу, порою протягивая ее мужу, чтобы и он мог ею полюбоваться. Мистер Рэнсом, со своей стороны, также был растроган, особенно когда увидел свой старый сиди-плеер, старый верный сиди-плеер, как он был склонен думать о нем сейчас, далеко не чудо света — что верно, то верно, — а почтенный старичок, но все равно преданный и старомодный; да, приятно было видеть его снова, и мистер Рэнсом даже дал послушать миссис Рэнсом обрывочек "Cosi".

Наблюдая за этим "воссоединением семьи" с улыбкой чуть ли не горделивой, Мартин спросил:

— Всё в порядке? Я старался сохранить всё как было.

— О да, — отозвалась миссис Рэнсом, — идеально.

— Поразительно, — вырвалось у ее мужа.

Миссис Рэнсом кое-что припомнила:

— Я оставила жаркое в духовке.

— Да, — сказал Мартин. — Я съел его с удовольствием.

— Оно не пересохло?

— Самую малость, — заверил ее Мартин, провожая Рэнсомов в спальню. — Наверное, надо было поставить на тройку.

Миссис Рэнсом, кивая в знак согласия, заметила на туалетном столике обрывок бумажного полотенца (ей вспомнилось, что у них тогда кончились "Клинекс"), которым она промокала помаду — снимала излишек с губ — три месяца тому назад.

— Кухня, — объявил Мартин, как будто они могли не найти туда дорогу: кухня была точно там, где ей и следовало

быть, только керамическая форма для жаркого, теперь пустая и вымытая, стояла на сушилке.

— Не знал точно, куда ее поставить, — сказал Мартин извиняющимся тоном.

— Всё в порядке, — заверила его миссис Рэнсом. — Я держу ее здесь, — она открыла шкафчик рядом с раковиной и отправила туда форму.

— Я так и думал, но не хотелось рисковать. — Мартин засмеялся, и миссис Рэнсом засмеялась в ответ.

Мистер Рэнсом нахмурился. Молодой человек держался довольно вежливо, хотя и не без фамильярности, однако все это веселье начинало отдавать бесстыдством. В конце концов, речь шла о преступлении, и отнюдь не мелком; здесь находилась похищенная собственность — как она тут оказалась?

— Чаю? — спросил Мартин.

— Спасибо, нет, — ответил мистер Рэнсом.

— С удовольствием, — ответила его жена.

— Нам нужно поговорить, — произнес Мартин.

Миссис Рэнсом никогда не доводилось слышать эту фразу в реальной жизни, этот молодой человек предстал перед ней в новом свете: она догадывалась, что́ у него на уме. Догадывался и мистер Рэнсом.

— Давайте, — сказал мистер Рэнсом решительно, усаживаясь за кухонный стол и намереваясь сделать первый ход: бросить в лицо этому безмерно самоуверенному молодому человеку вопрос, что́ все это значит.

— Возможно, — сказал Мартин, ставя перед миссис Рэнсом чашку чаю, — вы сами захотите мне сказать, *что* все это значит. При всем уважении, как говорится.

"Это уж слишком", — подумал мистер Рэнсом.

— Возможно, — взорвался он, — при всем уважении, это вы мне скажете, с какой стати вы надели мой вязаный жакет.

— Ты его почти не носил, — сказала миссис Рэнсом. — Чудесный чай.

— Не в этом дело, Розмари. (Мистер Рэнсом очень редко называл ее по имени — только когда хотел, так сказать, зарезать без ножа.) А также мой шелковый шарф.

— Ты его вообще не надевал. Говорил, что у тебя в нем простецкий вид.

— А мне он потому и нравится, — подхватил Мартин радостно. — Пошловат. Однако все хорошее когда-нибудь кончается, как известно. — И он неторопливо (и без тени раскаяния, как отметил про себя мистер Рэнсом) снял с себя кардиган, развязал шарф и положил то и другое на стол.

Надпись на футболке Мартина, которая раньше лишь мелькала сквозь прикрывавшую ее одежду, теперь, освободившись от камуфляжа, бесстрашно предстала во всей своей красе: "Приспичило? Надевай 'Джиффи'[1]!" А в скобках: "иллюстрация сзади". Мистер Рэнсом тотчас передвинулся на край стула, чтобы загородить от жены оскорбляющее взор зрелище, миссис же Рэнсом немного откинулась на своем стуле назад.

— На самом деле, — сказал Мартин, — мы воспользовались лишь одной-двумя вещами. Началось с вашего коричневого пальто, которое сначала я примерил просто смеха ради.

— Смеха ради? — переспросил мистер Рэнсом: комическая сторона этого предмета его гардероба до сих пор была ему неведома.

— Да. Но теперь я полюбил его. Оно потрясающее.

— Оно вам велико, — пробурчал мистер Рэнсом.

— Знаю. Потому и потрясающее. Клио считает, что у вас по-настоящему хороший вкус.

— Клио? — спросила миссис Рэнсом.

— Моя подруга.

Но, заметив, что у мистера Рэнсома от злости глаза лезут на лоб, Мартин пожал плечами:

— В конце концов, вы сами дали нам зеленую улицу.

Он отправился в гостиную, вернулся с папкой и положил ее на кухонный стол.

— Может, вы объясните мне, — сказал мистер Рэнсом с пугающим спокойствием, — по какой причине наши вещи находятся здесь?

И Мартин объяснил. Только объяснение это мало что дало, и, когда он закончил, дело почти не продвинулось вперед.

Однажды, примерно месяца три тому назад ("15 февраля", — подсказала миссис Рэнсом), он пришел на работу и, открыв двери, обнаружил всю их мебель в том виде, в каком она стояла в Нэсби-мэншнз и в каком стоит сейчас здесь: ковры на полу, лампы включены, тепло, запах готовящейся еды из кухни.

— Я хочу сказать, — сказал Мартин мечтательно, — *настоящий дом.*

— Но вы, безусловно, должны были понимать, что это, мягко говоря, нечто аномальное?

— В высшей степени аномальное, — подтвердил Мартин. — Обычно вещи кладут в ящики, упаковочные клети, потом в контейнер, его запечатывают и держат на задней площадке,

1. Фирма по производству латексных изделий.

пока не затребуют владельцы. У нас хранятся горы всевозможной мебели, но за полгода я не вижу ни одного кресла.

— Но зачем наши вещи свалили сюда? — спросил мистер Рэнсом.

— Свалили? — обиделся Мартин. — Вы это называете "свалили"? Это прекрасно, это поэзия.

— В каком смысле? — спросил мистер Рэнсом.

— Так вот, когда я в тот день пришел на работу, я увидел на столике в коридоре конверт...

— Я всегда кладу туда почту, — вставила миссис Рэнсом.

— ...конверт, — повторил Мартин, — в котором было 3 ооо фунтов наличными в уплату за два месяца хранения — выше наших обычных тарифов, призна́юсь вам. И еще, — прибавил он, — вынимая листок из папки, — там было вот это.

То был листок календаря "Кулинарные изделия Делии Смит" с рецептом жаркого, которое миссис Рэнсом готовила в тот день и оставила томиться в духовке. На обороте было написано: "Все должно быть в точности, как есть". И в скобках: "Не стесняйтесь пользоваться". То, что в скобках, было подчеркнуто.

— Поэтому что касается вашего пальто, шарфов и прочего, я полагал, — Мартин запнулся, затрудняясь в выборе нужного слова, — что у меня есть имприматур[1]. (Он учился — правда, недолго — в Уорикском университете.)

— Но это мог написать любой, — возразил мистер Рэнсом.

— И вложить в конверт три тысячи фунтов наличными? — спросил Мартин. — Ну нет. К тому же я произвел проверку. Ньюпорт-Пагнелл не в курсе. Кардифф... Лидс... Я все проверил через компьютер — и всюду ничего. Я подумал: ну что ж, Мартин, добро уже тут. За все пока уплачено, почему бы тебе не пожить, как дома? Так я и сделал. Да, а что касается сиди-дисков, я позволил себе внести в коллекцию некоторое разнообразие. Я так понимаю, вы любите Моцарта?

— Я по-прежнему придерживаюсь той точки зрения, — произнес, еле сдерживаясь, мистер Рэнсом, — что вы могли приложить больше усилий, чтобы навести справки, прежде чем свободно распоряжаться чужим имуществом.

— Согласен, ситуация необычная, — не стал возражать Мартин. — Только зачем бы я стал это делать? Я обязан был почуять недоброе?

Мистер Рэнсом услышал и был возмущен этой — совершенно не к месту — вопросительной интонацией, с которой

1. От *лат.* imprimatur — букв.: дозволено к печати.

Мартин (да и вообще молодежь) часто завершали сказанное. Он уже не раз слышал ее от своего мальчишки-рассыльного, только не предполагал, что это дошло и до Эйлсбери. ("Куда вы идете, Фостер?", "Так время ланча?") Это звучало вызывающе, хотя трудно было сказать почему, и неизменно приводило мистера Рэнсома в дурное расположение духа (что, собственно, и побуждало Фостера это делать).

Мартин же, со своей стороны, вроде бы не замечал того раздражения, которое он вызывал у мистера Рэнсома, и его безмятежность, совершенно незыблемую, тот приписал наркотикам. Сейчас Мартин уютно расположился в кухне, и, пока мистер Рэнсом сновал по квартире, выискивая следы поломок, разрушений или хотя бы износа, с удовольствием болтал с миссис Рэнсом, которую он называл теперь Розмари.

— Ему бы немного повеселеть, — сказал ей Мартин, в то время как мистер Рэнсом с шумом рылся в буфетах.

Миссис Рэнсом не была уверена, что "повеселеть" и "расслабиться" было одно и то же, но ход его мыслей уловила и в ответ улыбнулась и кивнула.

— Это было все равно что играть "в папу-маму", — признался Мартин. — Мы с Клио обычно снимаем жилье над химчистками.

Миссис Рэнсом подумала, что Клио, наверное, чернокожая, но решила не спрашивать.

— На самом деле, — сказал Мартин, понизив голос, потому что мистер Рэнсом пересчитывал винные бутылки в стеллаже кладовки, — благодаря этой истории между нами все тоже получшало. Перемена обстановки — знаете ли, способствует взаимоотношениям.

Миссис Рэнсом понимающе кивнула — в дневных телепередачах эту тему поднимали постоянно.

— Хорошая кровать, — шепнул Мартин. — Матрас — как это говорится? — принимает форму тела. — Мартин мягко вильнул бедрами. — Понимаете, что я хочу сказать, Розмари? — Он подмигнул.

— Ортопедический, — поспешила объяснить Розмари. — У мистера Рэнсома больная спина.

— У меня бы она, наверное, тоже заболела, если бы я поспал на нем подольше. — Мартин похлопал ее по руке. — Шутка.

— Чего я не понимаю, — сказал мистер Рэнсом — между тем рука Мартина все еще лежала на руке его жены (чего мистер Рэнсом тоже не понимал), — чего я не понимаю, так это того, как получилось, что перевезший сюда наши вещи, кто бы он ни был, точно запомнил, где что стояло.

— Вот уж не проблема, — Мартин вышел в холл и вернулся с альбомом для фотографий. Этот альбом мистер Рэнсом купил жене в подарок в ту пору, когда настаивал на том, чтобы она завела себе хобби. Он купил ей и фотоаппарат, с которым она так и не научилась обращаться, поэтому и аппарат, и альбом остались без применения. Только теперь в альбоме было полно фотографий.

— Снято на "Полароид". Что может быть лучше? — похвастался Мартин.

В альбоме было по дюжине фотографий каждого помещения, снятых в тот самый богатый событиями вечер; общий вид каждой комнаты, обстановка, каминная полка крупным планом, все приборы и бумаги на письменном столе крупным планом; каждая комната, каждая горизонтальная поверхность были запечатлены самым тщательным образом, как если бы ассистент кинорежиссера — будь эта квартира местом действия фильма — готовился к съемке.

— А как же фамилия и адрес? — спросил мистер Рэнсом.

— Нет ничего проще. Откройте... — начал Мартин.

— Любой ящик, — присоединилась к Мартину миссис Рэнсом.

— Столько снимков, — задумалась она. — Кто бы ни были эти люди, денег у них куры не клюют. Какая красота получилась, правда?

— Но тут и правда красиво. Нам будет всего этого очень не хватать.

— И дело не только в том, что все наши вещи стоят на месте, — подтвердил мистер Рэнсом, — но и в том, что комнаты расположены в нужном порядке.

— Перегородки, — сказал Мартин. — Они запаслись перегородками.

— Но потолка тут нет, — возликовал мистер Рэнсом. — С этим они не справились.

— Зато справились с люстрой, — возразила жена. И в самом деле, люстра свисала с подвесной балки.

— Что ж, не думаю, что нам следует затягивать этот процесс дольше необходимого, — заявил мистер Рэнсом. — Я свяжусь со своей страховой компанией и сообщу им, что наша собственность нашлась. Они, в свою очередь, свяжутся с вами на предмет вывоза и возврата имущества. Вроде бы никаких недостач нет, но на этой стадии ничего нельзя утверждать окончательно.

— О нет, недостач нет, — сказал Мартин. — Может, не хватает одной-двух мятных шоколадок "Доброе утро ", но это я легко восполню.

— Нет-нет, в этом нет необходимости, — запротестовала миссис Рэнсом. — За счет заведения, — сказала она и засмеялась.

Мистер Рэнсом нахмурился и, когда Мартин вышел за бланками накладных, прошептал миссис Рэнсом, что все надо будет отдать в чистку.

— Я и думать боюсь о том, что тут делалось. На твоем туалетном столике какая-то грязная бумага, я почти убежден, что на ней следы крови. И, сдается мне, они спали в нашей постели.

— Мы обменяемся квитанциями. Одна — для вас. Другая — для меня, — сказал Мартин. — Вы говорите "владелец", если человек жив? А если он умер?

— После него остается собственность, значит, он собственник, — сказал мистер Рэнсом категорическим тоном.

— Собственность, — повторил Мартин. — Хорошее слово.

Мартин стоял во дворике, смотрел, как они уходят; на прощание он расцеловал миссис Рэнсом в обе щеки. Их сын был бы такого же возраста, подумала миссис Рэнсом, — если бы у них был сын.

— Я чувствую себя членом семьи, — сказал он.

Да, подумалось мистеру Рэнсому, будь у них сын, он был бы таким же. Действовал бы на нервы, вызывал бы недоумение. Давал бы понять, что он умнее. Они с женой не могли бы и шагу ступить без его ведома.

Наконец, мистеру Рэнсому удалось обменяться с Мартином рукопожатием.

— Все хорошо, что хорошо кончается, — с этими словами Мартин похлопал его по плечу. — Удачи!

— Откуда нам знать, что он не в сговоре с остальными? — сказал мистер Рэнсом, уже сидя в машине.

— Он не того типа, — возразила миссис Рэнсом.

— Вот как? А что это за тип такой? Разве ты встречалась с чем-либо подобным ранее? Или слышала о чем-либо подобном? Какого типа человек требуется для такой ситуации, вот что хотелось бы знать.

— Мы немного превышаем скорость, — перебила его миссис Рэнсом.

— Я, разумеется, заявлю в полицию, — решил мистер Рэнсом.

— Они и раньше не проявили интереса, а уж теперь не проявят и подавно.

— Кто ты такая?

— В каком смысле?

— Я поверенный. А ты кто? Эксперт?

Некоторое время они ехали молча.

— Я, само собой, потребую компенсации. За моральный ущерб. За причиненное беспокойство. За неудобства. Все это имеет денежное выражение и должно быть учтено при окончательной оценке.

Мысленно он уже писал соответствующее письмо.

В положенное время содержимое квартиры вернулось в Нэсби-мэншнз. К одному из ящиков была прикреплена записка: "Не стесняйтесь пользоваться. Мартин", — и в скобках: "Шутка". Мистер Рэнсом настаивал на том, чтобы все вернулось на свои места; это было бы труднодостижимо, если бы не подсказки в фотоальбоме миссис Рэнсом. И все равно бригада, расставлявшая мебель, в тщательности не шла ни в какое сравнение с побывавшими тут грабителями, а уж о скорости и говорить нечего. Но вот квартира была убрана, приведена в порядок, покрывала выстираны, все, что нужно, побывало в химчистке или было пропылесосено — место действия постепенно приобретало прежний вид, и жизнь вернулась к тому состоянию, которое раньше миссис Рэнсом считала нормальным, — *раньше*, но не теперь.

В самом начале "восстановительного периода", когда мистер Рэнсом ушел в контору, миссис Рэнсом решила испытать плетеное кресло-качалку и коврик в нынешних, куда менее спартанских условиях, перенеся и то и другое в холл; но, хотя кресло оставалось ничуть не менее удобным, чем раньше, все это казалось тут неуместным — у нее даже возникло чувство, будто она сидит в вестибюле торгового центра. Поэтому она перетащила кресло в комнату для гостей, где порой его проведывала: садилась поразмышлять о жизни. Но нет, по-старому не получалось, и в конце концов она отдала его сторожу, который с трудом, но все-таки втиснул его в свою комнатушку за котельной, где в настоящее время пытался постичь Джейн Остен.

Мистеру Рэнсому повезло больше, чем жене: хотя ему и пришлось возвратить страховой компании выданный ему чек, он уведомил компанию, что заказал новые колонки (которых не заказывал), за что ему полагалось соответствующее возмещение, что и было своевременно сделано и позволило приобрести поистине ультрасовременное оборудование.

В течение нескольких последующих месяцев следы недолгого пребывания Мартина и Клио временами всплывали на поверхность: пустой пакетик от презервативов, засунутый под матрас, косынка, застрявшая в щели у боковушки дивана, кусок чего-то твердого и коричневого в серебряной фольге, обнаружившийся в одной из стоявших на камине

безделушек. Миссис Рэнсом осторожно понюхала его, затем надела резиновые перчатки и бросила в унитаз, решив, что именно там ему самое место. Прежде чем предмет нехотя соскользнул вниз, воду пришлось спускать несколько раз — миссис Рэнсом тем временем сидела на краю ванны, ожидая, пока вновь и вновь наполнится бачок, и удивляясь тому, как эта штука попала на камин. Розыгрыш, небось, но не из тех, какими стоило делиться с мистером Рэнсомом.

Кроме того, часто попадались чужие волосы — длинные и светлые, явно принадлежавшие Мартину, и курчавые, более темные, обладательницей коих, видимо, была Клио. Волоски встречались с разной частотой — распределение их между гардеробом миссис Рэнсом и мистера Рэнсома было неравным, ему, как она предполагала, они не попадались вовсе, иначе бы он не преминул доложить ей об этом.

Она же встречала их повсюду — на свои платьях, пальто, белье, то были и волосы Мартина, и волосы Клио, коротенькие и длинные; так что она не могла взять в толк, что они такое творили, выходившее за рамки половых различий и поведенческих норм. Надевал ли Мартин ее трусики себе на голову (на одной паре она обнаружила три волоска); были ли резиновые вставки на ее бюстгалтере и раньше так растянуты, как теперь (к лифчику пристали два волоска — светлый и темный)?

Сидя вечером напротив мистера Рэнсома (он был в наушниках), она без всякого раздражения и даже с легким волнением размышляла о том, что к ее белью прикасался чужой человек. А может, и два чужих человека. "Не хочешь же ты сказать, что это в самом деле был кто-то чужой?" — съязвил бы мистер Рэнсом, но то был лишний довод, чтобы держать язык за зубами.

Потом возникло еще одно напоминание о недавнем прошлом, которое они вынуждены были пережить, пусть и вследствие случайного стечения обстоятельств. Как-то субботним вечером после ужина мистер Рэнсом надумал записать трансляцию "Похищения из сераля" на Радио-3. Миссис Рэнсом, решив, что в субботний вечер по телевидению едва ли покажут что-то стоящее, села читать роман о каких-то малозанимательных любовных изменах, совершавшихся под сенью Котсуолдских холмов. Он вставил кассету, которую считал новой, но включив центр, с удивлением услышал раскаты безудержного смеха. Миссис Рэнсом подняла на него глаза. Он слушал достаточно долго, чтобы разобрать, что смеявшихся было двое, мужчина и женщина, и так как замолкать они явно не собирались, он решил остановить запись,

но миссис Рэнсом сказала: "Не нужно, Морис. Оставь. Тут может крыться ключ к разгадке".

Так они сидели и слушали, а смех все не смолкал и не смолкал, пока минуты через три-четыре он не начал ослабевать, затихать, и тот из них, кто все еще смеялся, стал прерывисто дышать, хватать ртом воздух, пока вздохи постепенно не превратились в стоны, вскрики; затем последовали ритмичные всасывающие звуки, столь же жесткие и целенаправленные, сколь расслабленными и бесцельными были прежние. В какую-то секунду микрофон явно пододвинули ближе, чтобы лучше запечатлеть происходящее: звук издавало что-то такое сырое и влажное, казалось, с человеком не соотносимое.

— Булькает, — сказала миссис Рэнсом, — как заварной крем на плите. — Но она-то знала, что крем тут ни при чем. Приготовление заварного крема требует гораздо меньше усилий, к тому же он не издает одобрительных возгласов, да и стряпухи не вопят, когда он наконец начинает вскипать.

— Мы не хотим слушать это, правда? — сказал мистер Рэнсом и включил Радио-3, попав как раз на почтительный шумок зала перед появлением на сцене Клаудио Аббадо[1].

Позже, когда они уже легли спать, миссис Рэнсом сказала мужу:

— Я полагаю, нам лучше вернуть эту кассету.

— Почему? — возразил мистер Рэнсом. — Кассета принадлежит мне. Да это и невозможно. Я сделал запись поверх той.

Это была неправда. Мистер Рэнсом и впрямь хотел сделать запись поверх прежней, но понял, что, когда бы он теперь ни поставил кассету, он всегда будет вспоминать, что́ на ней было раньше, и это опошлит любую, самую величественную музыку. Поэтому он отнес пленку в мусорное ведро. Но, поразмыслив немного — миссис Рэнсом тем временем чистила зубы в ванной, — он вернулся и стал рыться в картофельных очистках и мокрых чайных пакетиках, пока, отодрав прилипшую к кассете помидорную кожицу, не извлек ее и не спрятал в книжный шкаф за томом, на корешке которого было написано *Жюльен*[2] и что-то дальше мелкими буквами; то был тайник, где он хранил пачку непристойных фотографий: наследие некоего грязного бракоразводного процесса в Эпсоме, который он вел

1. Клаудио Аббадо (р. 1933) — дирижер итальянского происхождения.
2. Жан Люсьен Адольф Жюльен (1845—1932) — французский музыковед, среди прочих композиторов писавший и о композиторе Антонио Саккини.

несколько лет тому назад. Книжный шкаф, как и все остальное, конечно, побывал в Эйлсбери, но был возвращен в первозданном виде: должно быть, Мартину обнаружить тайник не случилось.

На самом же деле тайник, конечно же, был обнаружен: как раз над этими снимками они с Клио больше всего и хохотали на той кассете.

Снимки эти не стали секретом для Мартина, не были они секретом и для миссис Рэнсом, которая как-то днем, обведя шкаф рассеянным взглядом, задумалась, что бы такое приготовить на ужин, и тут ей попался на глаза корешок *Жюльен... Саккини,* в названии ей почудилось что-то кулинарное: жюльен... цуккини, что ли? Она потом аккуратно вернула снимки на место, но каждые несколько месяцев проверяла, лежат ли они еще там. Удостоверившись, что снимки никуда не делись, она чувствовала себя спокойнее.

Поэтому теперь, когда мистер Рэнсом сидел в своем кресле и слушал через наушники "Волшебную флейту", на самом деле то вовсе не была "Волшебная флейта". Он бездумно глядел на свою читающую жену, а уши его были полны стонами и воплями Мартина и Клио, которые все не унимались и не унимались. Сколько бы раз мистер Рэнсом ни слушал кассету, он не переставал испытывать удивление: то, что два человеческих существа могут отдаваться друг другу и своему чувству так безраздельно и так откровенно, выходило за пределы его понимания; фантастика, да и только.

Слушая запись так часто, он выучил ее наизусть не хуже Моцарта. Научился узнавать долгие втягивания воздуха, которыми Мартин отмечал завершение некой неведомой позиции (Клио, опираясь на ладони, стояла на коленях, Мартин пристроился сзади), после чего томное andante (тихие мяукающие женские звуки) разгонялось до ударного allegro assai (оба кричали во весь голос), сменялось еще более неистовой кодой, а затем внезапным rallentando ("Нет, нет, еще нет, — кричала она, а потом: — Да, да, да"), после чего слышалось сопение, пыхтение и, наконец, наступал сон. Мистер Рэнсом, человек, начисто лишенный воображения, пришел, однако, к выводу, что, собрав коллекцию подобных записей, можно было бы составить из них сексуальный аналог "Каталога Кёхеля"[1], воссоздав стилистическое развитие сексуального акта, его раннюю, сред-

1. Список всех произведений Моцарта, составленный Людвигом фон Кёхелем в 1862 г. и опубликованный под заголовком "Полный хронологический и тематический каталог музыкальных произведений Вольфганга Амадея Моцарта".

нюю и позднюю стадию, и весь терминологический аппарат моцартовского музыковедения можно было бы использовать для этих новых, бьющих наотмашь ритмов.

Вот о чем думал мистер Рэнсом, сидя напротив жены, которая совершала вторую попытку одолеть Барбару Пим. Она знала, что Моцарта он не слушает, хотя никаких внешних признаков этого не было и, уж конечно, ничего столь вульгарного, как вздутие в районе ширинки. Нет, просто на лице мистера Рэнсома было написано напряжение (то есть нечто, совершенно противоположное тому выражению лица, с которым он слушал своего любимого композитора) — то была сосредоточенность, как будто он надеялся, что если будет слушать очень внимательно, то сможет открыть нечто новое — то, что раньше от него ускользало.

Миссис Рэнсом и сама слушала время от времени эту кассету, но поскольку у нее такого удобного прикрытия, как Моцарт, не было, сеансы прослушивания приходились на послеполуденные часы. Став на домашнюю стремянку, она вытаскивала *Жюльен* и доставала из глубины кассету (фотографии казались ей такими же дурацкими и смехотворными, как Мартину с Клио). Затем, налив себе капельку шерри, садилась послушать, как они занимаются любовью, удивляясь и после дюжины прослушиваний длительности и упорному характеру процесса, а также его грубому и неблагозвучному завершению. После чего шла и ложилась на кровать, думая, что это та самая кровать, где все это происходило, и снова вспоминала прослушанное.

Если оставить в стороне эти робкие и редкие эмпиреи, жизнь в общем и целом вернулась на круги своя. Правда, порой укладываясь в постель или медля утром подняться на ноги, миссис Рэнсом испытывала подавленность, и ей казалось, что она опоздала на автобус — правда, что это был за автобус и куда он направляется, она бы сказать затруднилась. Перед тем как они побывали в Эйлсбери и им вернули мебель, она, как ей казалось, убедила себя, что ограбление — счастливый случай и каждый день приносит новый урожай скромных приключений: визит Драсти, походы к мистеру Энверу, поездка на Эджвер-роуд. Сейчас, окопавшись вновь среди своих пожитков, миссис Рэнсом боялась, что ее вылазкам пришел конец, жизнь вернулась в нормальное русло, но эта жизнь больше не доставляла ей ни радости, ни удовольствия.

Сильнее всего скука разбирала ее в дневные часы; она, конечно, продолжала смотреть телевизор, но уже не удивлялась, как прежде, тому, до чего доходят люди, и даже слегка завидовала им (как Мартину и Клио). Она так привыкла к те-

левизионному способу изъясняться, что однажды с языка у нее соскользнуло предательское словцо — в автобусе № 74 произошла *свара*, вырвалось у нее.

— *Свара?* — встрепенулся мистер Рэнсом — Где ты набираешься таких слов?

— А что? — невинно спросила миссис Рэнсом. — Так нельзя сказать?

— Это слово не из моего лексикона.

Миссис Рэнсом пришло в голову, что сейчас самое время обратиться за психологической помощью: если раньше речь шла о доброй воле, то теперь в этом есть необходимость, и она попыталась дозвониться Драсти по телефону горячей линии.

— Извините, но мисс Бриско в настоящее время не может ответить на ваш звонок, — раздалась автоматическая запись, в которую тотчас ворвался живой женский голос:

— Алло, Мэнди у телефона. Чем могу быть полезна?

Миссис Рэнсом ответила, что ей нужно с кем-нибудь из дежурных поговорить: к ней неожиданно вернулось украденное имущество. "У меня очень неоднозначные чувства по этому поводу", — сказала она и попыталась объяснить, в чем их неоднозначность.

Мэнди задумалась.

— Не знаю, можно ли считать такое синдромом посттравматического стресса, — сказала она. — Только я бы на это не рассчитывала. Сейчас сверху на нас давят, приближается конец финансового года, да и вообще этот синдром относится к изнасилованиям, убийствам и тому подобному. А нам сюда звонят люди, которым плохо, потому что они побывали у зубного врача. Может, вам кажется, что мебель стала грязная?

— Нет-нет. На всякий случай мы все отдали в чистку.

— Что ж, если у вас сохранились квитанции, я могу позвонить на Бикертон-роуд и настоять, чтобы вам хотя бы частично возместили расходы.

— Нет, не надо. Думаю, я справлюсь.

— Ну, ведь это в конце концов нам всем и приходится делать, правда?

— Что именно? — не поняла миссис Рэнсом.

— Справляться, дорогая. Не в этом ли смысл жизненной игры? Судя по тому, что вы рассказали, у вас было какое-то *щадящее* ограбление.

Мэнди была права, именно в его *щадящем характере* и крылась проблема. Будь это обычное ограбление, пережить его было бы легче. Даже при полном исчезновении абсолют-

но всего, что только у них было, миссис Рэнсом сумела бы примириться, увидеть в этом что-то хорошее, даже обрадоваться этому. Но полное исчезновение всего-всего в сочетании с идеальным воссозданием и возвратом утраченного — вот что не давало покоя. Кому до такой степени вчистую понадобилось их обокрасть, а обокрав, — восстанавливать обстановку с такой безупречной точностью? Миссис Рэнсом казалось, что обокрали ее дважды: сначала, когда она потеряла вещи, а потом, когда у нее отняли возможность стать выше потери. Это было нечестно, бессмысленно, она подумала, что, наверное, именно это и имеют в виду, когда говорят: "лишено всякой логики".

Рэнсомы редко получали письма. Порой приходила открытка из Канады, где у мистера Рэнсома были родственники со стороны матери; родственники старались поддерживать отношения, миссис Рэнсом писала им в ответ что-нибудь такое же пустопорожнее, как и они: "Привет, мы всё там же", — сообщали из Канады, "Вот и мы тоже", — отвечала она. Обычно же по почте приходили счета и деловая корреспонденция, и, вынимая письма из ящика внизу, в вестибюле, миссис Рэнсом даже не трудилась их просматривать, а прямо так, неразобранными, выкладывала на столик в коридоре, откуда мистер Рэнсом забирал их и читал перед ужином. В означенное утро она уже завершала привычное действо, когда заметила письмо из Южной Америки, причем адресованное не мистеру М. Рэнсому, а мистеру М. Хэнсону. Однажды такое уже было, и миссис Рэнсом бросила тогда это заблудившееся письмо в ящик сторожа, а к письму прикрепила записку, адресованную и сторожу, и почтальону, с просьбой быть в будущем повнимательнее.

Миссис Рэнсом — она стала хуже, чем раньше, переносить суету, которую муж подымал по пустякам, — не захотелось действовать по прежнему сценарию, и потому она отложила письмо в сторону, чтобы после ланча подняться на девятый этаж, найти дверь мистера Хэнсона и подсунуть письмо под нее. Будет, по крайней мере, повод прогуляться.

На самый верх здания она подымалась в последний раз несколько лет тому назад. Она знала, что там делается ремонт, и мистер Рэнсом даже не удержался и послал владельцам дома жалобу на шум, который производят рабочие, и на грязь в лифте. Жильцы постоянно появлялись и исчезали, и всегда кто-нибудь что-нибудь перестраивал — миссис Рэнсом приучилась относиться к этому, как к чему-то неизбежному. И все же, когда она робко вышла из лифта, ее поразило обилие воздуха и пространства — казалось, она попала в здание совре-

менной постройки, такой светлой, ярко освещенной и огромной оказалась лестничная площадка. В отличие от темных, поцарапанных дверей и рам красного дерева у них на этаже, тут все деревянные части были очищены и высветлены, и если у них пол был затянут оранжевым покрытием в пятнах и рытвинах, то здесь лежал толстый дымчато-голубой ковер, омывавший стены и гасивший звуки шагов. В крыше имелся восьмиугольный стеклянный фонарь, а внизу — гармонирующая с ним восьмиугольная софа. Все это больше походило на холл гостиницы или ультрасовременной больницы, чем на многоквартирный жилой дом. Причем перемены касались не только отделки. Миссис Рэнсом помнила, что раньше тут размещалось несколько квартир, сейчас же оставалась только одна — от прежних входных дверей не осталась и следа. Она поискала табличку на этой единственной двери, но ни имени, ни почтового ящика не было. Она наклонилась, чтобы подсунуть письмо из Южной Америки под дверь, но мешал толстый ковер — письмо застревало в щели. Камера видеонаблюдения, не опознанная ею и принятая за светильник, беззвучными рывками двигалась над ее головой, как какая-то неповоротливая рептилия, пока миссис Рэнсом не попала наконец в ее поле зрения. Миссис Рэнсом безуспешно пыталась придавить ворс, когда послышалось слабое жужжание, и дверь бесшумно отворилась.

— Входите, — произнес чей-то бесплотный голос, и, держа перед собой письмо, как пригласительный билет, миссис Рэнсом переступила через порог.

В холле никого не было, и она задержалась в нерешительности, услужливо улыбаясь на случай, если кто-нибудь за ней наблюдает. Холл по форме был такой же, как в их квартире, но в два раза больше и оформлен точь-в-точь, как вестибюль: такое же высветленное дерево и стены в легкой ряби. Они, наверное, сняли стену, догадалась она, и присоединили соседнюю квартиру, нет, соединили, все квартиры — весь верхний этаж превратили в одну квартиру.

— Я принесла письмо, — сказала она несколько громче, чем требовалось. — Его положили в наш ящик по ошибке.

В ответ ни звука.

— По-моему, оно из Южной Америки. Из Перу. На ваше имя, если вы Хэнсон. В общем, — сказала она, отчаявшись, — я положу его и пойду.

Она уже было собралась положить письмо на куб из прозрачного перспекса, который приняла за стол, когда услышала сзади утомленный выдох, и, обернувшись, увидела, что входная дверь закрылась. Но как только одна дверь — за ее

спиной — затворилась, дверь, находившаяся перед ней, с тихим вздохом открылась; в нее она увидела еще один дверной проем с верхней перекладиной, и там, держась за нее, висел молодой человек.

Он подтягивался на перекладине с виду без особого труда и вслух считал подъемы. На нем были серые спортивные штаны, наушники и — более ничего. Он досчитал до одиннадцати. Миссис Рэнсом пережидала, все еще держа письмо в руке и не зная, куда деть глаза: прошла целая вечность с тех пор, как она видела так близко столь юное и столь обнаженное существо — его штаны так низко сползли на бедра, что заметна была тонкая льняная дорожка волос, взбегающая к пупку по впалому животу. Он устал под конец, и два последних подтягивания — девятнадцатое и двадцатое — дались ему с немалым усилием; почти выкрикнув "Двадцать!", он остановился, задыхаясь и одной рукой все еще держась за перекладину; наушники сползли на шею. Легкая поросль выглядывала из подмышек, редкие волоски виднелись и на груди; а сзади, как у Мартина, был хвостик, но подлиннее и завязанный узлом.

Миссис Рэнсом подумалось, что за всю свою жизнь не видела никого прекраснее этого юноши.

— Я принесла письмо, — начала она снова. — Оно попало к нам по ошибке.

Она протянула конверт, но молодой человек даже не шевельнулся, и миссис Рэнсом оглянулась, ища, куда бы его положить. Посреди комнаты стоял длинный банкетный стол, а у стены — софа, почти такой же длины; только эти два предмета миссис Рэнсом назвала бы мебелью в собственном смысле слова. По комнате были разбросаны несколько ярких пластиковых кубов, которые могли служить столами или табуретами. Стояла тут и высокая стальная пирамида с прорезями, которая, видимо, была обычной лампой. Была тут и допотопная детская коляска с белыми ободами шин и огромными изогнутыми рессорами. На одной из стен висел хомут для ломовика, на другой — широкополая мужская шляпа с пером, а рядом — огромная, крупным планом фотография Ланы Тёрнер[1].

— Она была кинозвездой, — сказал молодой человек. — Это оригинал.

— Да, я помню, — ответила миссис Рэнсом.

— Вы знали ее?

— Нет-нет. Да и вообще, она была американкой.

1. Лана Тёрнер (1921—1974) — голливудская кинозвезда.

На полу лежал пушистый белый ковер, на котором, как ей подумалось, нельзя сделать и шагу, не наследив, но она не заметила ни единого пятнышка. И тем не менее, на взгляд миссис Рэнсом, все это как-то не сыгрывалось в единое целое. Из-за того, что одна стена была стеклянная и выходила на террасу, казалось, что перед вами не комната, а скорее недооборудованная витрина универмага; рулон твида был небрежно брошен на стол, что требовало какого-то объяснения.

Молодой человек заметил ее взгляд.

— Все это печаталось в журналах, — сказал он. — Садитесь. — И он взял у нее письмо.

Он сел на один конец софы, она — на другой. Сел с ногами, но, если бы она села так же, как он, между ними все равно оставалось бы много места. Он посмотрел на конверт, разок-другой повертел, не вскрывая.

— Оно из Перу, — пояснила миссис Рэнсом.

— Да, — ответил он, — спасибо. — И разорвал пополам.

— Там могло быть что-то важное, — забеспокоилась миссис Рэнсом.

— Там всегда что-то важное, — подтвердил молодой человек и бросил обрывки на ковер.

Миссис Рэнсом посмотрела на его ступни. Они были так же совершенны, как и каждый миллиметр его тела: ногти длинные, ровно обрезанные, квадратные, пожалуй, выразительные даже, а не кривые и уродливые, как у нее или мистера Рэнсома. Пальцы ног, если бы можно было собрать их в щепоть, выглядели так, словно ими можно было действовать не хуже пальцев рук — может быть, даже играть на музыкальном инструменте.

— Я никогда не встречала вас в лифте.

— У меня есть ключ. Поэтому лифт не останавливается на других этажах. — Он улыбнулся. — Это удобно.

— Но не для нас, — не удержалась миссис Рэнсом.

— Что есть, то есть, — он засмеялся, но без тени обиды. — Я за это плачу.

— Я не знала, что такое возможно, — удивилась миссис Рэнсом.

— Не для всех.

Миссис Рэнсом подумала, что он, наверное, певец, но почувствовала, что, если спросит, он перестанет обращаться с ней как с равной. Еще она подумала, не принимает ли он наркотики. Молчание явно не смущало его, на своем конце софы он откинулся на спину с улыбкой — он чувствовал себя совершенно свободно.

— Мне пора, — сказала миссис Рэнсом.

— Почему?

Он потрогал у себя под мышкой и махнул рукой в сторону комнаты.

— Это все ее.

— Чье?

Он указал на порванное письмо.

— Это она переделала все это. Она интерьерный дизайнер. Или недавно была дизайнером. Теперь у нее ранчо в Перу.

— Крупный рогатый скот?

— Лошади.

— О, — восхитилась миссис Рэнсом. — Это прекрасно. Немногие на такое способны.

— На что "такое"?

— Сначала быть интерьерным дизайнером, а потом... потом разводить лошадей.

Он задумался над сказанным:

— Нет, она всегда была такой. Очень порывистой, понимаете. — Он обвел взглядом комнату. — Вам нравится?

— Ну, немного странно, — призналась миссис Рэнсом. — Но обилие пространства мне нравится.

— Да, пространство потрясающее. Невероятное.

Миссис Рэнсом не совсем это имела в виду, но о понятии пространства была наслышана немало, поскольку это бесконечно муссировалось в дневных телепередачах, где речь шла о том, как остро нуждаются люди в пространстве, как важно, чтобы у них не было недостатка в личном пространстве и как ни в коем случае нельзя нарушать границы чужого пространства.

— Она тут все переделала, — сказал он, — а потом конечно въехала сюда.

— И вы почувствовали, — сказала миссис Рэнсом, — и вы почувствовали, что она вторглась в ваше пространство (фраза эта в ее устах звучала так натужно, как если бы то были ее первые слова на языке урду).

В знак согласия он направил в ее сторону одну из своих несравненных стоп.

— Вот именно. Вот именно. Взять, к примеру, эту дерьмовую коляску...

— Я помню такие, — подтвердила миссис Рэнсом.

— С виду это, конечно, *коляска*, — кипел он, — но откуда мне было знать, что это только *с виду* коляска и что находится она тут не как коляска, а как *артобъект*. И что стоять она должна ровно на этом дерьмовом месте. И из-за того что я сдвинул ее, кажется, на полдюйма, мадам озверела. Стала грозить, что все отсюда вывезет. До нитки. Как будто мне не все равно. А, в общем, все это уже история.

Поскольку *мадам* была в Перу, миссис Рэнсом подумала, что это уже отчасти и география, но вслух ничего не сказала. А вместо этого кивнула и изрекла:

— У мужчин свои потребности.

— Вы правы.

— Вам больно?

— Мне *было* больно, — сказал молодой человек, — но я отвлекся. Думаю, правильно.

Миссис Рэнсом с мудрым видом закивала в ответ.

— Она расстроилась? — спросила она, чувствуя, что очень хочет потрогать его за ногу.

— Послушайте, эта женщина всегда была чем-то расстроена. — Он посмотрел в окно.

— Когда она вас бросила?

— Не помню. Потерял счет времени. Месяца три назад, может, четыре.

— В феврале, — подсказала миссис Рэнсом. Это был не вопрос, а утверждение.

— Да, в феврале.

— Хэнсон, Рэнсом, — проговорила она. — Не так уж похоже, но, думаю, если вы из Перу...

Он не понял — да и как ему было понять? — поэтому она рассказала ему все, начав с начала: как они вернулись из оперного театра, как вызвали полицию, как совершили марш-бросок в Эйлсбери... — всю историю от и до.

Когда она смолкла, он сказал:

— Да-а, похоже на Палому. Она может выкинуть такое. Чувство юмора у нее своеобразное. Вот вам и Южная Америка.

Миссис Рэнсом закивала, как будто любые несуразности в ее рассказе можно было отнести за счет особенностей территории и общеизвестного непостоянства ее обитателей: колдовская сила пампас, протяженность Амазонки, ламы, пираньи — что значило какое-то ограбление в Северном Лондоне в сравнении с подобными явлениями? И все же одна вещь не давала ей покоя:

— Но кто мог все это перенести и расставить с такой точностью?

— О, это очень просто. *Рабочие сцены*, так сказать. Техобслуга.

— Техобслуга? — не поняла миссис Рэнсом. — Чернорабочие, что ли?

— Нет, ребята, которые разъезжают с музыкальными ансамблями и готовят площадки к концертам. Поработали отмычкой. Сделали снимки. Разобрали мизансцену в вашей

квартире, собрали ее в Эйлсбери. Наверное, в команде был и декоратор. Чем-нибудь похожим они все время занимаются. Никаких проблем, никаких забот... при условии, что вы платите как следует. — Он подмигнул. — Во всяком случае, — он обвел взглядом скудную обстановку своего жилища, — тут им особо трудиться бы не пришлось. У вас в квартире так же просто?

— Не совсем, — замялась миссис Рэнсом. — В нашей... потруднее.

Он пожал плечами:

— Она могла заплатить. Она богатая. В любом случае, — сказал он, поднявшись с софы и взяв миссис Рэнсом за руку, — мне очень жаль, что вы из-за меня настрадались.

— Нет, — возразили миссис Рэнсом, — это было не так плохо. Сначала — немного чудно́, но я старалась найти во всем этом что-то положительное. И, мне кажется, я в результате повзрослела, понимаете?

Они стояли рядом с коляской.

— У нас тоже была такая. Когда-то, — миссис Рэнсом тронула коляску. — Очень недолго. — Она не касалась этой темы тридцать лет.

— У вас был ребенок?

— Его бы звали Доналд, — продолжала миссис Рэнсом, — но до имени дело не дошло.

Не поняв, что́ означает это признание, молодой человек тронул рукой свой сосок и пошел провожать ее в вестибюль.

— Спасибо, что объяснили мне тайну, — сказала она и легко коснулась (это был самый смелый поступок в ее жизни) его обнаженного бедра. Она готова была к тому, что он отпрянет, но ничего подобного — в его повадке ничего не изменилось, он улыбался и держался совершенно раскованно. Но, должно быть, тоже почувствовал, что ситуация требует чего-то особенного, потому что взял ее руку, поднес к губам и поцеловал.

Как-то днем несколько недель спустя миссис Рэнсом на подходе к Нэсби-мэншнз — она возвращалась с покупками — заметила фургон у крыльца, а пересекая нижний вестибюль, обратила внимание на молодого человека, у которого на голове красовалась широкополая шляпа с пером, а на шее висел хомут. Впереди он толкал коляску.

— Он что, переезжает? — полюбопытствовала она.

— Да, — тот облокотился на коляску. — Опять.

— И часто такое происходит?

— О чем вы, леди? Этот парень переезжает, как другие по нужде ходят. А это все — он показал на коляску, хомут, шля-

пу — отправляется на свалку. Похоже, мы теперь будем китайцами.

— Давайте, я вам помогу, — и с этими словами миссис Рэнсом забрала у него ручку коляски, которая застряла в дверном проеме, свезла ее по пандусу, и, дожидаясь, пока он отправит остальное добро в фургон, стояла и слегка покачивала ее.

— Немало годков прошло с тех пор, как вы возили такую же, — сказал он, забирая у нее коляску.

Она поднялась со своими покупками на крыльцо и оттуда наблюдала, как он перекладывает мебель одеялами, а про себя думала, не один ли это из тех "рабочих сцены", что перевозили их пожитки. Она не стала рассказывать мистеру Рэнсому, что́ привело к краже. Прежде всего потому, что он непременно поднял бы шум, настаивал бы на том, что должен подняться наверх и сам поговорить с этим молодым человеком. ("Наверняка он в этом замешан", — заявил бы он.) Эту встречу миссис Рэнсом не могла вообразить себе без величайшего смущения. Когда фургон тронулся, она помахала на прощанье и пошла наверх.

Вот и конец истории, думала миссис Рэнсом, и так бы оно и было, если бы однажды воскресным днем, месяца два спустя, с мистером Рэнсомом не случился удар. Она была в кухне, ставила тарелки в посудомоечную машину, но, услышав звук падения, поспешила в комнату и нашла своего мужа на полу — он лежал у книжного шкафа, сжимая в одной руке кассету, в другой — фотографии сексуального содержания, а том *Жюльен* валялся в раскрытом виде рядом. Мистер Рэнсом был в сознании, но не мог ни говорить, ни двигаться.

Миссис Рэнсом все сделала правильно: подсунула ему под голову подушку, укрыла пледом и лишь потом стала дозваниваться до Скорой помощи. Ей хотелось верить, что, несмотря на тяжелое состояние, ее расторопность и самообладание произведут впечатление на ее распростертого на полу мужа, но, ожидая пока ее соединят с нужными инстанциями, она не замечала в его глазах ни тени одобрения и благодарности — один лишь животный страх.

Не будучи в состоянии привлечь внимание жены к кассете, которую он сжимал в руке, или хотя бы ослабить хватку, ее беспомощный муж следил за тем, как быстро она собрала фотографии, и что-то в глубине его сознания отметило, как мало интереса или удивления вызвала у нее эта стародавняя непотребщина. Наконец она опустилась рядом с ним на колени (снизу уже завывала сирена "скорой помощи", мчавшейся мимо парка) и вытащила из его бескровных пальцев кассету, а затем бездумно, не придавая этому ни малейшего

значения, сунула ее в карман передника. На секундочку она задержала его руку (все еще судорожно сжимавшую отсутствовавшую теперь греховную кассету) и заметила, что в глазах у него теперь, пожалуй, читается не ужас, а пришедший на смену стыд; поэтому она улыбнулась, сжала ему руку и сказала: "Все это не имеет никакого значения" — но тут позвонили медики.

Мистеру Рэнсому не удастся весело распрощаться с этой историей: будучи человеком непрошибаемым, он, в отличие от жены, не изменился под влиянием происшедших событий и не созрел как личность. Будь у него собака, его, может быть, удалось бы представить в более благоприятном свете, но как ни близко находился Нэсби-мэншнз от парка, запереть собаку в четырех стенах было невозможно; ему могло бы помочь хобби, но только не Моцарт, потому что погоня за совершенным звучанием лишь усиливала его педантизм и недостаток человеческого тепла. Нет, чтобы научиться принимать вещи такими, как есть, ему лучше было бы заниматься чем-нибудь менее упорядоченным — скажем, фотографией или акварелями; семья тоже стала бы менее упорядоченной, и, хотя, кажется, только миссис Рэнсом горевала о потере малютки Доналда (а, уж конечно, в роли отца мистер Рэнсом был бы не подарок), сын заставил бы его повернуться лицом к жизни и как-то к ней приспособиться: чистота и порядок — единственное, что имело значение для мистера Рэнсома в нынешнем его возрасте. Такому человеку никогда не выйти из своего кокона — он приговорен, как в нашем повествовании, а будь в доме ребенок, глядишь, не было бы и кокона.

Безъязыкий, лежал он сейчас в отделении интенсивной терапии, и слово "кокон" довольно точно описывало его положение. Откуда-то со стороны до него доносился голос жены, звучавший близко, но в то же время как бы издалека и к тому же слегка резонировавший — казалось, само его ухо было коконом, а он находился внутри него. Медсестры уверяли миссис Рэнсом, что он, несомненно, слышит ее, но боясь, что он может не выжить не столько из-за инсульта, сколько из-за сопутствующих стыда и унижения, все силы она сосредоточила на том, чтобы уладить недоразумение хотя бы в этой области. Если мы добьемся большего взаимопонимания по части секса, думалось ей, может быть, инсульт будет вспоминаться потом как благословение.

Чувствуя себя глуповато, поскольку беседа поневоле была односторонней, миссис Рэнсом стала разговоривать со своим бесчувственным мужем, или, вернее, — нашептывать

ему что-то на ухо, ведь в палате были и другие больные, так что уголком левого глаза мистер Рэнсом видел слегка припудренный изгиб ее двигающейся из лучших побуждений щеки.

Она говорила ему, что много лет знает о его, как она выразилась, "дурачествах", что ему нечего стыдиться, и что это в конце концов просто секс. Внутри своего кокона мистер Рэнсом силился понять, что значит "стыдиться", он больше не был уверен даже в том, что такое "знать", а уж "секс" было словом и вовсе непостижимым — слова теперь существовали отдельно от своих значений. Из желания проявить чуткость по поводу "дурачеств" мужа миссис Рэнсом почти исчерпала весь известный ей запас слов, обозначающих эмоции; никогда особо не распространявшаяся на эту тему, она вдруг ощутила ограниченность своего словаря. Но ее подгоняла мысль, что мистер Рэнсом, хоть и онемел, но мучается, и, значит, им необходимо поговорить. Поэтому, легко сжимая его вялую руку в своей, она стала шептать ему нечто на языке, которым, как она сейчас поняла, ей лишь предстояло овладеть, чтобы ее больше не могли застать врасплох такого рода обстоятельства.

— Мне трудно подобрать слова, Морис, — начала она. — Нам, тебе и мне, всегда нелегко было общаться, но мы научимся, клянусь тебе. — Прижав губы к его окаменевшему уху, она видит крупным планом жесткие коротенькие седые волоски, которые он регулярно подстригал кривыми ножничками во время своих тайных уединений в запертой на ключ ванной. — Сестры уверяют меня, что ты снова научишься говорить, Морис; я буду учиться вместе с тобой, и мы научимся разговаривать друг с другом.

Слова вихрились вокруг его уха и, неузнанные, текли мимо. Миссис Рэнсом говорила медленно. Так кормят младенца кашкой: после каждой ложки вытирают ротик; вот и миссис Рэнсом освобождала его ухо от засыхающей корки непонятых слов, как от несъеденной кашки. Нужно отдать ей справедливость — она твердо держалась своей линии.

— Я никого не собираюсь осуждать, Морис, кто я такая, чтобы судить других? — И она рассказала ему, как тайком тоже слушала кассету. — Но в будущем, Морис, я думаю, мы будем слушать ее вместе, это станет частью нашего общего освоения супружеских навыков... потому что, в конце концов, дорогой, брак — это выбор поведения, и, чтобы что-то получить от него, нужно что-то в него внести.

Слова катились и катились; еще недавно такая несловоохотливая, миссис Рэнсом теперь владела целым словарем

нежности и заботы, щедро вливаемым ею в мужнино ухо. Она говорила о том, что́ их ожидает впереди, о сексе, который может быть радостным и свободным до самой могилы, она набрасывала контуры будущего, частью которого будет все вышеперечисленное, и, как только он встанет на ноги, они будут сидеть рядом, и это будет лучшее время, потому что они будут касаться друг друга.

– Мы никогда не обнимались, Морис. Мы должны почаще обниматься впредь.

Опутанного разнообразными трубками и подсоединенного к монитору мистера Рэнсома хворого не легче было обнять, чем мистера Рэнсома здравствующего, поэтому миссис Рэнсом удовлетворилась тем, что чмокнула его в руку. Но поделившись с ним своим образом будущего, полного прикосновений, разговоров, совместных действий, она надумала увенчать дело прослушиванием "Cosi". Это может подействовать, надеялась она.

Поэтому очень осторожно, чтобы не сдвинуть с места многочисленные проводки, которые служат отнюдь не вратами удовольствия, миссис Рэнсом бережно надевает наушники ему на голову. Прежде чем сунуть кассету в плеер, она подносит ее к его немигающим глазам.

– "Cosi", – тщательно выговаривает она, и погромче: – Моцарт?

Она нажимает клавишу, следя за неподвижным лицом мужа в ожидании какого-нибудь отклика. Такового нет. Она чуть-чуть прибавляет звук, но – несильно, примерно mezzo forte. Мистер Рэнсом, который слышал слово "Моцарт", но не знает, человек ли это, предмет ли, а может, даже говорящий попугай, внутренне сжимается под валом обрушившихся на него звуков, лишенных всякого образа и смысла и совершенно посторонних ему, как листья на дереве, только на этом его дереве листья превращаются в звуки и кто-то в самой его кроне (это дама Кири) пронзительно визжит. Мешает. Пугает. Оглушает.

Видимо, осознав с ужасом, что Моцарт не помогает, или же не дождавшись какой-либо реакции, она в качестве последнего средства прибавляет звук, и в ушах мистера Рэнсома шум превращается в вибрацию – именно эта вибрация и довершает дело; короче говоря, что-то происходит у него в голове, тончайший мешочек, куда по капле сочится кровь, вдруг лопается, и мистер Рэнсом слышит, что уши его наполняет грохот, куда более громкий и повелительный, чем музыка, какую он когда-либо слышал в жизни; следует короткое andante, он тихо кашляет и умирает.

Миссис Рэнсом не сразу понимает, что помертвевшая рука мужа становится еще мертвее; поглядев на него или даже прикоснувшись к нему, трудно заметить какие-либо изменения. Впрочем, изображение на экране монитора теперь не такое, как раньше, но миссис Рэнсом в экранах мониторов не разбирается. Поскольку Моцарт не помог, она снимает наушники с головы мужа, и только когда она отделяет легкомысленные проводки от жизненноважных, она видит, что экран и впрямь выглядит как-то иначе, чем раньше, и зовет медсестру.

Брак нередко представлялся миссис Рэнсом чем-то вроде вводного предложения в скобках, поэтому справедливо, что сказанное ею сестре тут тоже стоит в скобках ("По-моему, он умер"), из-за этого последнего коротенького предложения в скобках закрываются и большие скобки. Сестра проверила монитор, грустно улыбнулась, ласково тронула миссис Рэнсом за плечо, задернула занавеску вокруг койки и в последний раз оставила мужа и жену наедине. Итак, закрылись скобки, которые открылись тридцать два года тому назад. В Нэсби-мэншнз миссис Рэнсом вернулась вдовой.

Здесь наступает подобающая случаю пауза. Поскольку телевизор выдрессировал миссис Рэнсом, она знала, как следует переносить жизненные утраты и как горевать, поэтому она выдержала положенную паузу: дала себе поскорбеть вволю, примириться с потерей — в общем, с точки зрения вдовства не сделала ни одного неверного шага.

Когда она оглядывается на прошлое, ей кажется, что кража и все с ней связанное были, так сказать, годами учения. Теперь, думает она, пора и приступить.

Жан-Люк Утерс

Путешествие с Люком

Роман

Перевод с французского Ирины Волевич

> Мы, как всегда, совершили путешествие
> в дальние пределы того, что на самом
> деле было путешествием вглубь себя.
>
> Виктор Сегален[1]

Мысль о том, что я могу стать отцом, никогда не приходила мне в голову. Вплоть до того осеннего вечера, когда Жюли объявила, что беременна. И тщетно я озирался в поисках того, кому предназначалась сия новость, она явно была адресована мне, Мариану. "Я беременна": эти два слова превратили меня в самца-производителя. Какая-то частица моего организма — крошечная, ничтожная, парочка молекул, чуточка ДНК, в общем, даже не знаю точно, что именно, — уже прокладывала себе путь в плоском животе Жюли, который в настоящий момент не выдавал ровно никаких видимых признаков беременности. Производитель, самец, чье назначение — продолжение рода, — так

Le voyage de Luca de Jean-Luc Outers © Actes Sud, 2008
© Ирина Волевич. Перевод, 2012
1. Виктор Сегален (1878–1919) — французский поэт эпохи позднего символизма. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

это называлось в словаре. Мысль о воспроизведении самого себя казалась мне чудовищной, безобразно претенциозной: дать жизнь другому существу, которое также потом должно стать самим собой. Жюли сунула мне под нос склянку с мутной жидкостью, в которой колыхался какой-то коричневатый кружок. Тест "Predictor". Итак, этот безжалостный приговор имел форму круга.

Вместо того чтобы заключить Жюли в объятия, испуская крики радости и бессвязные восклицания вперемежку с неудержимыми всхлипами, я размышлял — молча и хладнокровно. О перевернутой странице, о безвозвратно утерянном прошлом. Наша связь принимала трагический оборот. Теперь мы несли ответственность за нас обоих. Никогда уже не суждено нам пребывать в беззаботной неге быстротекущих дней. Никогда не суждено уйти, прикрыть за собой дверь, забыть обо всем, что было между нами. Я думал о своей жизни так, словно она мне больше не принадлежала, и даже не заметил, что Жюли плачет. Соленая влага струилась из ее глаз.

Жюли молчала, предоставив слово слезам: ее слезные железы взялись превращать эмоции в соленую воду. Именно благодаря им, этим железам, и родился язык знаков. Ее разочарование было, видимо, огромно: она-то уже считала, что ее жизнь вступила в новую фазу, как вдруг заподозрила, что мои мысли заняты крахом наших отпускных планов. Отчасти она была права: я действительно думал совсем о другом, правда, не о будущих каникулах (о них вопрос уже не стоял) и даже не о прежних, которые мы проводили в походах через пустыни, почти на сто процентов импровизированных и щедрых на множество самых разнообразных сюрпризов, например, на периодическую нехватку воды (Господи, опять я о воде!).

Нет, думал я скорее о своем дедушке, бывшем деревенском учителе, а ныне пенсионере: его ужасно волновал вопрос отношения церкви к проблеме сожительства и беспорядочных половых связей. Забегая вперед, скажу, что несколькими неделями позже, услышав эту новость, он долго обнимал меня, и не было на свете человека счастливей его. Думаю, он радовался тому, что наш род наконец обрел продолжателя и теперь можно спать спокойно, или же попросту не представлял себе другого счастья.

Так сколько же времени прошло с того момента, как прозвучали два роковых слова? Убей бог, не помню. Долгие минуты, показавшиеся часами. Я витал в каком-то вневременном пространстве, где моя жизнь проходила перед моим

мысленным взором как кинолента, состоящая из отдельных кадров. И еще как череда наших недавних объятий. Одно из них было из ряда вон выходящим. Жюли тогда по-королевски властно взяла на себя руководство нашими действиями. Я же всецело подчинился ее рукам, ритму ее дыхания, вплоть до того мгновения, когда она, конвульсивно содрогаясь, бессильно упала на постель. Неужели зародыш был обязан жизнью тому поистине божественному соитию? Вполне допускаю. Я даже и подумать не смел, что такое может произойти в результате другого, обыденного, акта. Сперматозоидам, выпущенным на волю в избыточном количестве, требовался сверхмощный возбудитель, который направил бы их в нужном направлении во время нашей горячечной схватки. Короче, проще было поверить в это. И тот факт, что один из них достиг цели, объяснялся отнюдь не случайностью, а исключительным напряжением воли. Жюли, даже в яростном апогее своих безумств, прекрасно сознавала, что́ делает, — теперь это было яснее ясного. Она, и только она, дала сигнал к отправлению.

Я почувствовал, что настал момент, когда необходимо что-то ответить, разбить лед молчания. Но что можно сказать после такой затянувшейся паузы, не вызвав подозрений в лицемерии?! Слишком поздно для демонстрации восторга и блаженства, для того, чтобы вместе с Жюли воспарить на седьмое небо от счастья. В сущности, все и так было уже сказано. Жюли вполне верно оценила это молчание, хотя и воздержалась от ехидных комментариев типа: "И это вся твоя реакция?"

Я попытался вспомнить тот момент, когда мы впервые заговорили о рождении ребенка. Это было в конце одного ужина, сопровождавшегося довольно щедрыми возлияниями. К тому времени мы жили вместе уже четыре года. "Я хотела бы родить от тебя ребенка", — сказала она, отпив глоток вина; правда, я не поручусь за точность цитаты: возможно, она выразилась осторожнее, намеками. Мой ответ, если не ошибаюсь, был весьма уклончивым, вполне в нормандском духе: "Почему бы и нет... впрочем, у нас еще вся жизнь впереди". Честно говоря, я ничего не знаю о нормандцах и еще меньше об их ответах на жизненно важные вопросы. Но одно могу сказать вполне определенно: я не ответил "нет". Напротив, у меня вырвалось коротенькое "да", крошечное словцо с непредсказуемыми последствиями, микроскопическое, как зародыш, невидимый на этой стадии развития даже на экране во время УЗИ, так что вряд ли кто-то способен предсказать его судьбу. На любом языке слово

"да" звучит сухо и четко, как смертельный выстрел. Уж не потому ли мы с Жюли, не желая произносить или слышать его, отказались от торжественного свадебного "да" под бесстрастным взором мэра? И ведь всего-то две буковки, но сколько же невероятных последствий они таят в себе! У того, кто их произнесет, нет ни малейшего шанса вывернуться (мол, я сказал "да", но это значит "нет") или отложить решение ("мне бы хотелось серьезно обдумать это"). И все же, как ни смотри, в моем робком "да" звучала просьба об отсрочке. "Осужден на отцовство с отсрочкой исполнения приговора", — можно ли представить себе подобное наказание и судью, способного его огласить?!

Однако, в данном случае, об отсрочке и речи не было: ведь, судя по словам Жюли, я уже стал отцом этого жизнелюбивого зародыша, ловящего голоса внешнего мира. Ибо восприятие начинается со звука — так разъяснит мне позже врач. И с этой точки зрения, мое "вступление в отцовскую должность" оказалось отнюдь не блестящим: ледяное молчание вместо праздника светомузыки. "Тишина на площадке, снимаем!" — возглашал режиссер нашей жизни. Жизнь зародыша только-только началась, а наша собственная все еще пыталась удержаться на прошлых позициях.

Ожидание счастливого события — именно так язык трактует неминуемость рождения. С самого момента зачатия слух о нем расходится неприметно, подобно волне грядущего счастья. Любовь дарит нам немало чудес, и одно из них — способность превращать одиночество живых существ в нерушимый союз под названием "семья". Семья — детище одной-единственной силы, любви. Я плохо представлял себе, как меня будут осаждать на каждом шагу вопросами по поводу "ожидания счастливого события", смешанными со знаками симпатии, поздравлениями и ободрениями, то есть полной противоположностью соболезнованиям, которые шепчут с поникшей головой, после похорон, сжимая в ладонях руку скорбящей вдовы. И еще менее того я представлял, как буду рассыпаться в благодарностях, приклеив на лицо широкую улыбку, соответствующую ситуации, скромно отвечая: "О, я, знаете ли, ни при чем, моей заслуги тут почти нет", и думая при этом о настоящем герое дня, сперматозоиде, из последних сил достигшем финиша своего безумного пути. Вот кто, черт возьми, великий триумфатор, так зачем же приписывать мне его подвиг?!

Видимо, Жюли больше ничего не ждала от меня — ни слова, ни хотя бы знака, — потому что занялась мытьем посуды, то есть довольно шумной процедурой, возвестившей о воз-

врате к реальной действительности. Она даже разбила не то чашку, не то тарелку, словно желая подчеркнуть, что "перерыв кончился" и пора перейти к другим темам. В совместной жизни мужчины и женщины посуда не имеет себе равных по способности создавать напряженную атмосферу в доме. Немытая тарелка, мозолящая глаза, может спровоцировать целую серию драм, а осколки битой посуды куда более красноречивы, нежели выстрелы. И это не считая чашек, обладающих даром летать, как на крыльях. Когда они в конце полета разбиваются вдребезги, громкость спора обычно на порядок возрастает. У каждого предмета сервиза есть своя собственная коротенькая мелодия, свой темп. Вот почему я исподтишка следил за Жюли, полоскавшей фарфор в пенистой воде. "Знаешь, я этого не ожидал, но это хорошая, просто прекрасная новость", — промямлил я наконец как последний дурак. И обнял ее, прижав к себе чересчур пылко.

Я присутствовал на одном из тех судьбоносных совещаний, где объявляется, что "спасти мир от гибели может только наше неотложное вмешательство", как вдруг вошедшая секретарша шепнула мне на ухо: "Ваша жена просила передать, что она вызвала такси и уехала в роддом". Если я правильно понял, у нее внезапно отошли воды, ускорив наступление "счастливого события". Именно в эту минуту председатель оглашал список капиталовложений, необходимых для строительного проекта, по грандиозности замысла сравнимого разве что с египетскими пирамидами, перечисляя при этом все риски данной деятельности, которые считал огромными. Я оцепенел от ужаса. Председатель не замедлил увидеть мое побелевшее лицо, и, пока я пытался перевести дух, начал заверять меня, что названные риски вполне естественны, фирма уже сталкивалась с подобными проблемами, например, в Конго, где проект завершился трагической развязкой в виде национализации. В данном же случае речь шла не столько о сложностях с капиталовложениями, сколько о know-how[1]. А в этой области наша группа компаний, даже с учетом конкуренции со стороны японцев, вполне хорошо себя зарекомендовала. В конце концов, я собрал свои бумаги и встал из-за стола под изумленным взглядом председателя, который напомнил об *исключительной* важности нашего совещания. Я рассыпался в извинениях, намекнув на такие же, не зависящие от меня, *исклю-*

1. Технологии (*англ.*).

чительные обстоятельства. Никогда не забуду, как я стою и произношу со сдержанной дрожью в голосе эти слова — "не зависящие от меня обстоятельства", — которые в любой ситуации производят должный эффект. Итак, я ринулся к выходу из офиса и заметался по близлежащим улицам в поисках своей машины. Поскольку я долго ездил по кругу, отыскивая место для парковки, то напрочь забыл, где она стоит, и в конце концов схватил первое попавшееся такси.

Роддом находился в квартале бедноты и выглядел так, словно его брали штурмом беременные женщины арабского и турецкого происхождения; казалось, они сговорились рожать все одновременно. Мне никогда не приходило в голову, что роды могут быть коллективными, — правда, в этой области я был еще новичком. Мне вспомнилась Венеция, где мы с Жюли отмечали нашу первую годовщину совместной жизни. Сидя на Фондамента Нуове[1], мы следили за водным дефиле гондол скорой помощи "Голубого креста", доставлявших то больного мужчину, то беременную женщину к причалу, откуда санитары, облаченные в блестящие оранжевые комбинезоны (уж не работали ли они по совместительству лыжными тренерами?), везли их в отделение скорой помощи госпиталя Сан-Джованни-э-Паоло. Я бы хотел, чтобы Жюли тоже поплыла в роддом в гондоле. Застряв в толпе изнемогающих рожениц, я и представить себе не мог иного средства передвижения: казалось, всем этим беременным, окружавшим меня, остался только один выход — достичь своей цели по воде, в лодке.

Через некоторое время мне удалось протиснуться, в свой черед, к окошку приемного покоя, где нам приказали ждать, когда освободится предродовая палата. Ибо перед родами женщине еще предстоит как следует потрудиться, ответили мне на мой недоуменный вопрос. Честно говоря, пока что никакого такого "труда" я не наблюдал: Жюли спокойно ждала, сидя в кресле. Наконец подошла медсестра, которая посоветовала нам вернуться сюда попозже, часа через два, когда рассосется толпа. "Но ведь у меня отошли воды!" — взволнованно сообщила Жюли, однако сестра успокоила ее: шейка матки раскроется еще не скоро. Мы не заставили себя упрашивать и пошли обедать в марокканский ресторанчик, расположенный в этом же квартале.

Там нам подали кускус — наверное, последний, сказал я себе, чьи запахи достигнут носика младенца в материнском

1. Набережная в Венеции (*итал.*).

чреве, где ему осталось пребывать еще несколько часов. Кускус мы выбрали острый, чтобы заранее приохотить ребенка к средиземноморской кухне. Похоже, именно пряный аромат этой последней трапезы, которую он должен был унюхать in utero[1], и внушил ему неодолимую тягу к андалузским и марокканским берегам, проявившуюся с отроческих лет.

Мы ели молча, мысленно сплоченные коротеньким отрезком времени, что отделял нас от новой неведомой жизни. Неужели через два, три или четыре часа крошечное существо, согнутое в три погибели в своем тесном обиталище, появится на свет и будет жить среди нас? Для меня этот факт представлял собой самую непостижимую из всех тайн. Жюли держалась абсолютно безмятежно, и это тоже было для меня загадкой, если подумать, что ждало ее впереди. Впрочем, на той сцене, где ей предстояло выступить, все роли были распределены заранее, и моя состояла в дежурстве за кулисами или в суфлерской будке — при условии, конечно, что мне дадут текст пьесы. После обеда мы дошли до роддома пешком, степенным шагом, словно возвращались домой после воскресной проповеди. Затем Жюли торжественно усадили в кресло на колесах и повезли в кабинет гинеколога. Осмотр показал, что ребенок перевернулся. Врач объяснил, что ягодичная позиция очень осложняет роды. Я тотчас подумал: уж не острый ли кускус стал причиной этого "переворота"? Но гинеколог заверил меня, что младенец мог принять такое положение несколько дней назад; он употребил слово "революция", в старину как раз и означавшее этот самый "переворот". Итак, младенец не стал дожидаться появления среди людей, чтобы осуществить данную "революцию". Этот негодник готовился явиться на свет не по правилам, а ногами вперед. Вообще-то, выражение "ногами вперед" обычно применимо к уходу из жизни. Не по этой ли причине я уловил на лице гинеколога выражение озабоченности, выдававшее его минутную панику? Судя по его виду, он явно опасался печального исхода. Мне представилась жутковатая картина: врач идет по натянутой проволоке, жонглируя жизнью и смертью. Он куда-то позвонил и попросил срочно прислать ассистента. Ну и дела: эти роды начались с призыва о помощи.

Однако явился не один ассистент, а целых трое; они ввалились в родильную палату, где под наблюдением акушерки и должно было совершиться священнодействие, называемое

1. В материнском чреве (*лат.*).

родами. И только после них настал черед торжественного выхода на сцену нашего гинеколога — так и хочется сказать, под приветственные крики толпы, ибо в комнате, смежной с родильной, собралось довольно много народу. Атмосфера накалялась. Я думал о крошечном существе, чья жизнь висела на волоске. "Где ты?" — позвала Жюли, непременно хотевшая, чтобы я от нее не отходил, тогда как я, наоборот, предпочел бы стоять подальше, за спинами ассистентов. "Помассируйте ей шею сзади", — велела мне акушерка; тем временем, чей-то голос (кажется, гинеколога) приказывал Жюли тужиться. Что она и делала, причем, на ее лице отражались все муки Дантова ада. Я и сам судорожно выдыхал воздух, в такт с ней. Но потом все-таки не выдержал и сбежал в дальний угол. В палате, залитой слепяще-ярким светом, стоял многоголосый крик. И вдруг из чрева Жюли показалась крошечная ножка. Младенец, подобно космонавту, совершившему посадку на Луне, высунул ее наружу, в неизвестность (мол, посмотрим, что там такое!), перед тем как рискнуть второй ногой, то есть сделать коротенький человеческий шажок. Однако в этом первом движении и в самом деле таились все мыслимые опасности. Спустя минуту, ножка сменила цвет. Из розовой она сделалась синей, как на полотнах Пикассо, знаменитого предшественника Жюли, придумавшего эту метаморфозу восемьдесят лет назад. Именно этот момент и выбрало мое тело, чтобы рухнуть на холодный плиточный пол. Один из ассистентов отволок меня в соседнее помещение и уложил на койку.

Когда я пришел в себя, младенец уже надрывно плакал, и в его голоске звучала вся мировая скорбь. Миг назад он покинул безмолвную тьму материнской утробы, откуда его вытолкнули под безжалостный свет комнаты, в которой царило лихорадочное напряжение. Что ж вы хотите — люди плачут и по менее веским причинам. Может быть, именно поэтому первый крик новорожденного звучит лишь единожды. Потом о нем забывают — так забывают мертвые языки, на которых никто больше не говорит. Это был мальчик. Его окунули в таз, чтобы смыть кровь и слизь, а заодно освободить от плаценты, этой нежнейшей оболочки, в которой он пребывал целых девять месяцев. Исходивший от него солоноватый запах навел меня на кощунственную мысль о том, что произведение на свет младенцев имеет нечто общее с дефекацией. Но я постарался скорее выбросить из головы это ужасное сопоставление. Интересно, подумал я, какого же цвета бывают новорожденные у краснокожих, если даже этот родился почти багровым? Крошечное тельце корчилось так, словно пыталось совершить еще один "переворот". Увы, время переворотов минуло для не-

го безвозвратно. Теперь младенец мог выразить свое отвращение к этому миру лишь этими судорожными корчами.

Я совсем забыл о Жюли, изнемогавшей от перенесенных мучений. Она потребовала, чтобы ребенка положили ей на грудь. Я услышал, как она нашептывает ему нежные словечки, чтобы успокоить, и младенец, привыкший к ее нежному воркованию, которое доносилось к нему извне долгие девять месяцев, тотчас перестал кричать. Тут Жюли заметила и меня. "Посмотри, какой он хорошенький! Где же ты был все это время?" Она даже не видела, как я грохнулся в обморок. И это легко понять: в тот момент у нее хватало других дел. В ответ я только сказал, что она держалась просто великолепно, скромно умолчав о своей слабости, впрочем, вполне в данной ситуации простительной.

Жюли переложили на каталку и отвезли в палату, где нас оставили наедине. В ее измученных глазах читалось счастье свершения. Этого ребенка мы с ней зачали вместе — что правда, то правда, — но именно она носила его во чреве девять месяцев подряд, перед тем как произвести на свет в обстоятельствах, казавшихся мне подлинно апокалипсическими. Жюли сжала мою руку, словно хотела приобщить меня к своему подвигу, тогда как моя заслуга, если вдуматься, была совсем невелика. Всего лишь способность к соитию... хотя, надо сказать, вполне эффективная и осуществленная в нужный момент. Ну да ладно, я великодушно решил оставаться на вторых ролях.

Итак, теперь у нас был ребенок. Но покамест еще безымянный. Во-первых, мы не знали, кто родится, мальчик или девочка: Жюли отказалась делать УЗИ и узнавать пол ребенка заранее; ей хотелось, чтобы это оставалось тайной до последней минуты. Во-вторых, по поводу имени мальчика мы с ней вели нескончаемый и безрезультатный спор. Жюли раз и навсегда решила, что это будет Леопольд, — так звали ее деда, горячо любимого и, вдобавок, гениального изобретателя, который прославился тем, что получил патент на новый тип герметичных колпачков для тюбиков с зубной пастой. Я же, со своей стороны, считал это имя прискорбно банальным; вдобавок, оно слишком уж напоминало о королевской семье[1]. И потому выдвинул другое предложение — назвать ребенка Гедеоном[2].

Жюли воздевала глаза к небу. Тщетно я пытался объяснить ей, что Гедеон, даже в своей пернатой ипостаси, все же

1. Имя Леопольд носили несколько королей Бельгии.
2. Селезень Гедеон — популярный персонаж комиксов (1923), а затем и мультфильмов, созданных известным французским художником-анималистом Бенжаменом Рабье (1864–1939).

был милым, преданным и остроумным созданием (иначе говоря, обладал лучшими человеческими качествами, представляя собой идеальный пример антропоморфизма), что людям давно следовало бы брать пример с животных; она даже слушать меня не желала, замкнувшись в своем непробиваемом упрямстве. Короче, пришлось срочно закрыть эту тему и подыскать другой вариант. Ибо нужно с первых же минут, как заявила Жюли, обращаться к младенцу по имени, иначе не миновать психических отклонений, проблем с самоидентификацией и так далее.

Пробежавшись по списку имен, которые показались нам обоим невыразительными, мы выбрали из них, в качестве приемлемого компромисса, только одно — Люк. "Да, Люк годится! — воскликнула Жюли. — Можно даже звать его Лука, на итальянский манер", — добавила она, уносясь мыслями в Тоскану. И верно, имя Люк подходило нашему сыну так, словно его подобрал "по мерке" какой-нибудь вдохновенный лингвист. "Но почему нам не приносят нашего Люка? — обеспокоилась Жюли. — Уже целый час прошел, как мы его ждем. Сходи за ним, милый, я умираю от нетерпения".

И вот я, облеченный столь почетной миссией, побрел, сам не зная куда, по тускло освещенным коридорам роддома. Было уже одиннадцать вечера. И ни души кругом, чтобы указать мне путь к злополучной родильной палате. В конце концов, я решил сменить свои бесплодные метания на методичный поиск, начав, как положено, с первого этажа, однако там все двери были крепко заперты. Поднявшись на второй, я приоткрыл одну из дверей и обнаружил за ней палату, уставленную кувезами[1], в которых спали скрюченные, как креветки, недоношенные младенцы. Досрочно изгнанные из рая материнского чрева, они явно готовились протестовать на глазах мировой общественности против этого злодейского акта. Причем с использованием любых доступных им средств, подобно взрослым, которым остается лишь голодовка или захват фабрики как способ борьбы с несправедливостью. Я ходил между ними в поисках Люка, с ужасом понимая, что неспособен его узнать. Кроме того, наш Люк вовсе не был недоношенным, и его ни в коем случае не могли поместить в эту палату (черт возьми, я уже начал нервничать!). Итак, я отвесил общий прощальный поклон этим очаровательным крошкам, среди которых, вполне вероятно, дремали будущие сопрано мирового класса или лауреаты Нобелевской премии по физике, — почему бы и нет?!

1. Инкубатор для недоношенных детей.

Уже и не помню, сколько времени я блуждал по коридорам этого роддома, прежде чем отыскал родильную палату, признав ее по кошмарной обморочно-зеленой окраске стен. В соседней с ней комнате горел свет. Врач-педиатр мыл и пеленал младенца. Вернее, их — младенцев — было двое, они лежали бок о бок. Я представился и изложил цель своих поисков: мне нужно доставить Люка матери. Обычно новорожденных различают по браслетикам с фамилией. И я сильно обеспокоился, не увидев таковых на ручках обоих младенцев. Но педиатр вполне уверенно, без малейших колебаний, указал мне, который из них наш. "Вы точно знаете?" — умоляюще спросил я, чувствуя, что сам никак не способен узнать Люка. По правде говоря, я и рассмотреть-то его толком не успел, когда он заливался плачем в тазике, во время первого купания. "Это наверняка ваш сын, и не сомневайтесь!"

— Вы сознаете, какие последствия может иметь эта ошибка? — воскликнул я, бросая взгляд на второго ребенка, казавшегося мне более привлекательным.

— Да не переживайте вы так. Ему, конечно, следовало надеть браслет, но сегодня мы приняли столько родов, что израсходовали все запасы. И с люльками та же история. Ни одной свободной во всем роддоме. Я при всем желании ничем не могу вам помочь. Сходите-ка на пятый этаж, в хирургию, — может, там найдется?

— А вы, я надеюсь, никуда отсюда не уйдете?

— Нет-нет, я вас дождусь, будьте спокойны.

Пятый этаж, освещенный все теми же мертвенно-тусклыми лампами, насквозь пропах хлоркой. Но и здесь, как в других местах, я не встретил ни одной живой души. Что касается люлек, я обнаружил их великое множество в одной из палат, однако все они были заняты младенцами, на вид куда более крепенькими, чем их недоношенные собратья, только с тугими повязками на ручках, ножках, головках или туловищах, свидетельствующими о различных патологиях, которые потребовали хирургического вмешательства. Зато теперь они как бы уравнялись в правах, и ничто уже не указывало на незначительность или неизлечимость их увечий. Дежурная сестра спросила, что мне здесь понадобилось: время посещений давным-давно истекло. "Люлька, мне нужна люлька", — ответил я, изложив ей свои трудности молодого (очень молодого) отца семейства, которые, похоже, даже взволновали ее, несмотря на поздний час. Однако свободной люльки все равно не нашлось, все они были заняты. "Ну и ну, — подумал я, — видать, здесь одни рождаются, а другие — оперируют, как на конвейере". Медсестра повела меня в соседнюю темную ком-

нату, нечто вроде кладовой. Там она достала с полки картонную коробку, вывалила из нее содержимое — кажется, сухофрукты, — и застелила дно пеленками, соорудив из них нечто вроде матрасика. "Ну вот, держите, — сказала она, вручив мне коробку, — это, конечно, не царское ложе, но хотя бы на одну ночь решит вашу проблему".

Я кубарем скатился по лестнице на второй этаж, где нашел своего педиатра, который так и не сдвинулся с места. Бросив смеющийся взгляд на мою "люльку", он бережно уложил в нее Люка. Меня вновь пронзило ужасное подозрение: теперь мне почудилось, что этот ребенок выглядит лучше своего соседа. Но делать было нечего. Вот она жизнь, иди знай...

Врач вложил драгоценную коробку в мои простертые руки, посоветовав держать их строго горизонтально. Люк спал крепким сном. Он был совсем легонький, легче воздуха, — казалось, вот-вот взлетит, как шарик; да и то сказать, весил он всего три кило двести. Я осторожно согнул руки, чтобы держать его поближе к груди. И вот в эту самую минуту меня пронзило странное чувство: я понял, что это крошечное создание, посапывающее у меня на руках, и есть сама жизнь, и эту жизнь подарил ему я. Когда-то я получил этот простой дар от своего отца и теперь, в свой черед, передал его моему сыну, продлив таким образом нескончаемую цепь бытия. Так вот что значит быть отцом — получить эстафетный факел жизни и нести его во тьме времен, чтобы вручить следующему поколению. "Люк... Эй, Люк, ты слышишь меня, мой ангел?" Зная свою чувствительность, я понял, что сейчас расплачусь, и действительно залился слезами под бесстрастным взглядом врача, говорившим: "Все они одинаковы!"

— Не заставляйте ждать молодую мать, она, наверное, уже извелась от нетерпения, время-то позднее, — сказал он мне вместо прощания. И верно: была уже половина первого ночи.

Я отправился к лифтам — эдакий ночной доставщик таинственной коробки, испещренной по всей своей длине штампованными марками сухофруктов.

Все младенцы — и это общеизвестно — приятно пахнут молоком. Наш Люк не лишал себя удовольствия одарять этим ароматом тех, кто осыпал его поцелуями, гладил ему животик или шутливо покусывал за попку. Я просто обожал эти "плотские" ласки и с удовольствием вдыхал его молочный запах. Однако очень скоро Люк дал нам понять, что — нет, материнским молоком он больше питаться не намерен, выражая свой протест криками отвращения, конвульсивной икотой и поно-

сом. Таким образом, молоко стало для него первым аллергеном в мире, и нам нечего было предложить ему взамен. Впрочем, кое-что все-таки нашлось: соевое молоко марки "Nutricia", продаваемое исключительно в аптеках. Зверек, отвергнувший "животное" питание, без всяких угрызений совести обратился к растительному. В результате маршруты наших первых путешествий с Люком неизменно включали в себя посещение аптек, снабжавших нас этим необходимым продуктом в виде растворимого порошка. Ибо теперь мы окончательно установили, что все другое ему предлагать бесполезно.

Соевое молоко марки "Nutricia" может оказаться редким, а то и вовсе недоступным товаром, в зависимости от того, в каком месте вы его ищете. Мы этого даже не подозревали вплоть до того апрельского утра, когда собрались сесть, все трое, в самолет, летевший в Нью-Йорк. Нас занимала совсем другая проблема: мы были сильно озабочены перевесом багажа при посадке и даже представить себе не могли, что проблема с молоком марки "Nutricia" будет долгие месяцы отравлять нам существование во время американского вояжа. Откуда нам было знать, что это путешествие, затеянное с целью сменить обстановку, такое желанное, так тщательно подготовленное, превратится в лихорадочные поиски аптек, импортирующих в Америку соевое молоко марки "Nutricia"?!

Мне и Жюли еще не было и тридцати лет, когда у нас обоих одновременно зародилась и стала медленно созревать мысль отрясти с ног прах своих офисов на какое-то время, ограниченное, конечно, но достаточное для исследования новых неведомых далей. Мы мало что знали об окружающем мире, и Америка манила нас по той единственной причине, что нужно было пересечь ближайший к нам океан, дабы в нее попасть. У супружеских пар есть одно странное свойство: иногда обоим супругам приходят в голову совершенно одинаковые мысли. В одно прекрасное воскресное утро мы с Жюли проснулись с общим замыслом: оставить между Бельгией и нами бескрайний океан. Причем на довольно продолжительный период.

Перед тем как пуститься в это грандиозное путешествие, мы собрали и упаковали несколько книг, наши любимые диски и нужную одежду. Эти вещи, плюс коробки с памперсами и молоком "Nutricia", и составили наш багаж. Обняв друзей так, словно прощались с ними навеки, мы приобрели все виды страховок, какие только нашли в страховых компаниях. Так, например, в случае нашей кончины вышеуказанные

компании были обязаны доставить на родину наши тела за свой счет. Мы опросили всех, кто хоть что-нибудь знал об Америке, и каждый просветил нас в меру своей компетентности. Мы приучили себя к мысли, что в этом путешествии встретим чужие дороги, города, деревни и океаны, чужие языки и обычаи. Жюли мечтала о пустынных пляжах. Она даже уложила в чемодан, поверх других вещей, свой купальник, чтобы он был под рукой. Каждый день мы читали и повторяли вслух английские разговорные фразы из учебника Assimil. Мы отметили на карте все пункты, в которых собирались остановиться на денек, на неделю или еще дольше. Мы подчеркнули в своих адресных книжках имена людей, с которыми свели мимолетное знакомство во время прошлых путешествий и которые теперь могли бы приютить нас. Мы собрали и подсчитали все свои денежные ресурсы. Мы зорко следили за курсом доллара и заранее капитулировали перед бесчисленными проблемами, которые следовало уладить до отъезда. Мысль о том, что нужно еще что-нибудь завершить, будь то даже жизненный этап, с каждым днем казалась нам все более нереальной.

Таможенница, досматривающая багаж, подняла скандал при виде коробов с памперсами, которые мы везли с собой, да они и впрямь составляли целый штабель. Достаточно пройтись по гипермаркету, чтобы понять, сколько места занимают эти огромные упаковки. Ни один изобретатель — даже сам Леопольд, гениальный дедушка Жюли, — не додумался создать прессованные или вакуумные памперсы (в общем, что-то в этом роде, я не специалист), чтобы свести их к разумному объему, а не воздвигать целые крепости — прямо-таки государство в государстве! — на полках магазинов. Именно это я и пытался объяснить чиновнице, которая отказывалась понимать, зачем мы тащим через всю Атлантику такую пропасть памперсов, которые в Америке продаются на каждом шагу по той простой причине, что их как раз там и изобрели. “Ну, конечно, стоит ли после этого удивляться, что они так богаты!” — ехидно ответил я этой даме (тон препирательств заметно повысился). Что и говорить, в далеком прошлом остались те времена моего детства, когда розовые фургончики фирмы “Poupons-Langes”[1] каждый четверг с утра подъезжали к дому и увозили корзины использованных полотняных пеленок, с тем чтобы в следующий четверг вернуть их заказчику чистенькими, благоухающими

1. Здесь: пеленки для младенцев (*франц.*).

стиральным мылом, прокипяченными в баках, из которых вырывались в небо над городом белые клубы дыма. Да, те благословенные времена, когда младенцы ежедневно выбирали себе папу, давно миновали[1]. "Нынче все у нас одноразовое, — заметил я чиновнице, — шариковые ручки, зажигалки, фотоаппараты, даже пеленки. И все это придумали американцы. Благодаря им наша планета скоро превратится в гигантскую помойку". Очередь пассажиров позади нас быстро росла, и я спиной ощущал их раздражение. Наконец, таможеннице это надоело, и она предложила мне компромисс — плату как за перевес; сумма была весьма скромная, и я заплатил, скрежеща зубами от ярости.

Из-за этого инцидента я совершенно забыл про своих родителей, родных Жюли и нескольких друзей, которые приехали в аэропорт, чтобы проводить нас, выразить свою любовь и ободрить перед этим "прыжком в неизвестность". "Мы же только в Америку летим, а не на Луну", — успокоил я свою мать, которую явно пугал наш отъезд. Нам с Жюли пришлось пройти через неизбежную процедуру объятий, поцелуев и даже слез (ох, уж эти матери — ужасно ведут себя при расставании!). Разумеется, Люк был главным объектом внимания, он переходил из рук в руки, осыпаемый поцелуями и ласковыми словечками. Казалось, вокруг него вьется целый рой пчел, в чьем шумном гудении смутно угадывалось нежное сюсюканье, причмокивание, уменьшительные имена. А он, точно дирижер, управляющий этой какофонией, щедро, с сияющим видом дарил всем подряд широкие улыбки, милые гримаски, слюни и, главное, свой сладкий молочный запах, не обращая никакого внимания на коробки с памперсами, уплывавшие от него по конвейерной ленте в чрево самолета.

Молоко и пеленки составляют багаж всех младенцев, путешествующих по свету. Эту поклажу таскают за ними повсюду: так в старину возили провиант в армейском обозе, на лошадях или на ослах. "Боинг-747", чей багажный отсек был битком набит нашими драгоценными запасами, стремительно несся по лазурному небосводу, и мы вместе с ним. Люк крепко спал то на руках у Жюли, то на моих, пересекая, как ни в чем не бывало, часовые пояса, рассекавшие эфир, и даже не подозревая, что после каждого такого пояса он молодеет на целый час. Это путешествие назад во времени, про-

1. Намек на выборы Папы в Ватикане: по традиции, после голосования кардиналов, в зале растапливают камин, и толпа, ожидающая на площади, узнает по дыму из каминной трубы, что новый Папа избран.

длись оно еще немного, грозило вернуть его к отправной точке, то есть в материнское чрево. Уж не эта ли сказочная перспектива так убаюкивала его в голубых высях небесных? А может, это ватные облачка, стелившиеся под нашим самолетом пушистой белой периной, помогали нам с Люком воспарить в сладкое царство грез? И пусть у нас под ногами бушевал седой океан, пусть в его глубинах завязывались невидимые глазу сражения не на жизнь, а на смерть между рыбами, водорослями, моллюсками и головоногими — все это пока интересовало Люка так же мало, как войны между людьми. Он спал сладким сном праведника, не думая ни о беге времени, ни о судорогах мира.

Сон, как говорят, есть выключение сознания. Но что такое сознание младенца? Всего лишь способность узнать лицо или руку, протянувшую соску, мелодию колыбельной или дребезжание погремушки? Зато сон уносит ребенка в другой мир — мир, недоступный пониманию взрослых, ибо со временем он стирается из их памяти, оставляя за собой лишь обрывки смутных воспоминаний о теплых источниках, о чистом воздухе, о земле и огне. Люк крепко прижимал к груди свои крошечные стиснутые кулачки, словно вход в иной мир требовал от него наивысшей концентрации усилий. Он путешествовал в царстве тьмы.

Жюли тоже уснула. Люк довел ее до самых ворот потайного сада, куда был открыт доступ лишь ему одному. А дальше его мать могла только бессильно смотреть, как ее дитя, ведомое чьими-то дружескими руками, исчезает вдали. По крайней мере, именно так я расценивал вздохи и легкие стоны, которые Жюли испускала во сне: легко ли мельком увидеть рай за высокими стенами и запертыми воротами, зная, что туда не суждено попасть?! Иногда она бормотала сквозь сон какие-то невнятные слова, выражавшие ее горе: она не могла последовать за Люком. Подготовка к отъезду и сам отъезд, этот напряженный период, когда нужно было собрать все, включая необходимую энергию, вконец измучили ее. Теперь она восстанавливала силы.

В общем, такова разница между сном младенцев и сном взрослых: первые исследуют неведомые области, вторые накапливают энергию, растраченную на благо первых. Одна сторона наслаждается, вторая восстанавливается. Именно этим можно объяснить тот факт, что малые детишки засыпают в любой момент, в любом месте и любой позе — сидя, лежа, свернувшись комочком, в машине и в коляске, в тишине или гаме, им все безразлично. Они спешат попасть в свой заповедный мир, так с какой стати дожидаться ночи или пре-

словутого "тихого часа"? Но если ребенок упрямится, не желая идти спать, это означает одно: заповедный мир стал ему недоступен. И, напротив, внезапно разбудить младенца — это все равно что грубо оторвать крестьянина от земли; такое или вовсе невозможно или же сопровождается оглушительным ревом. Примите мой совет: никогда не будите своего ребенка, если он крепко спит, иначе спровоцируете дикий скандал либо страшную месть. Однажды я проделал такой эксперимент с Люком. Больше это не повторится. Теперь я, обжегшись на молоке, дую на воду — кажется, так гласит пословица. Взрослый человек тратит на сон примерно третью часть суток. Младенец же бодрствует максимум несколько часов в день, успевая за это время жадно пососать грудь да бросить взгляд по сторонам. Стоит ему убедиться, что всё по-прежнему, всё на своих местах — материнская грудь и прочее, — и бай-бай, друзья! Он смыкает веки, сосет соску и вновь уносится в известные лишь ему одному края, чтобы нежиться в их мягких мхах и лишайниках. Скорей туда, не терять ни минуты! Может быть, это и есть начало осознания того, что зовется временем?

Мне очень хотелось последовать его примеру и также забыться сном. Но одному из нас необходимо было бодрствовать, образно говоря, "стоять на страже", подобно часовому на посту, готовому отразить любую, самую невероятную опасность. Мне казалось, что в этом отныне и состоит моя миссия: быть начеку, оберегать наше маленькое племя. Ведь, что ни говори, люди — те же млекопитающие, а значит, всегда должны быть настороже!

Нью-Йорк — город младенцев. В нем чувствуешь себя крошечным. Это начинается еще с аэропорта, где тебя передают с рук на руки, с одного контроля на другой, засыпая вопросами типа: "And why? And that? And why that? And how? And where? And with who? How much time?"[1] А что это за штабель коробок? Памперсы? But why? Ну-ка, откройте мне их все! Там нет ничего, кроме памперсов? Are you sure? Let me see[2]. Соевое молоко? Но ведь в Америку запрещено ввозить пищевые продукты!

— Говорят, в Соединенных Штатах невозможно найти молоко марки "Nutricia".

— В Соединенных Штатах можно найти всё.

1. А зачем? А это? А зачем это? А сколько? А что здесь? А для кого? А на какой срок? (*англ.*)
2. Вы уверены? Дайте-ка посмотреть! (*англ.*)

— Но наш ребенок не может питаться ничем, кроме этого.

— Не волнуйтесь. В США есть a lot of babies[1]. Думаю, что и соевое молоко здесь тоже найдется.

— Но это медицинское предписание. Вот, взгляните!

— Очень сожалею, но элементарные правила гигиены это воспрещают. Памперсы — так и быть, ОК, но соевое молоко — no, it must stay here[2].

Таможенник был чернокожим и оттого казался менее строгим, хотя, в общем-то, как посмотреть. Я думал об Африке, которую его предки покинули, переплыв океан в тесных трюмах, чтобы по прибытии столкнуться с белыми церберами. Наверное, им тогда пришлось совсем уж несладко. Африка... там, куда ни глянь, кишат малые детишки. И многие из них умирают сразу после рождения. Может, это из-за нехватки соевого молока? Неужели наш таможенник забыл свою Африку, увлеченно проштамповывая наши паспорта и кучу всяких вопросников? Тот, в котором мы клялись, что не принадлежим к коммунистам и не провозим огнестрельное оружие, был зеленого цвета. Второй, голубой, по словам таможенника, свидетельствовал о том, что мы везем памперсы, то есть *импортируем* памперсы. И он вручил мне квитанцию, подтверждающую оплату налога на импорт. "Скажи мне кто-нибудь, что в один прекрасный день я стану импортером памперсов, я бы не поверил", — со вздохом шепнул я Жюли, которую явно забавляла эта сценка: "Ты должен потребовать комиссионные!"

— Я вижу, тебе очень весело! — ответил я, начиная нервничать. Люк тоже считал, что процедура слишком затянулась. И объявил об этом, завопив на языке, который нельзя было назвать ни французским, ни американским, — на универсальном языке младенцев, не требующем переводчика. И почему на международных симпозиумах не прибегают к этому языку, понятному всем людям на свете?! Тогда не было бы проблем с переводом и взаимопонимание между народами стало бы на порядок лучше. Таможенник прекрасно понял Люка. У него наверняка тоже были дети. Он ускорил ритм своей "штемпелевки", уподобив его лихой барабанной дроби. Жюли даже начала мерно покачиваться, словно под звуки тамтама. А я вспомнил Макса Роуча, нависшего над своими тарелками[3]. Наконец, мы вышли на свободу.

1. В США много младенцев (*англ.*).
2. Нет, оно останется здесь (*англ.*).
3. Роуч Макс (1924–2007) — американский джазовый перкуссионист и композитор.

Общеизвестно, что по Нью-Йорку ходят, задрав голову. По крайней мере, в первые дни. Вот и Люк, угнездившись в своей складной колясочке, во все глаза смотрел на верхушки небоскребов. Через несколько лет, конструируя дома из "Лего", он будет строить их в виде высоченных башен с крышами, исчезающими в облаках: нужный эффект достигался тем, что на последние этажи шли белые детали. "Почему они такие высокие?" — удивлялась Жюли. "Может, из-за проблем с ключами", — однажды предположил я. Жюли прекрасно знала, что я имел в виду: мы только и делали, что ругались по поводу утерянных или неведомо куда заброшенных ключей. Потеря ключей, особенно если она повторяется регулярно, может спровоцировать жестокие семейные драмы, доходящие даже до разрыва или развода. Может быть, ньюйоркцы, большие растеряхи, отличались большей, нежели другие люди, пагубной склонностью к утрате ключей, выливавшейся в массовые разрывы между парами, вследствие чего возникал бешеный спрос на новое жилье — сущее эльдорадо для торговцев квартирами в небоскребах. Число квартир возрастало, соответственно увеличивалось число ключей, а стало быть, и шансы их потерять — уж не это ли стало причиной нью-йоркской гигантомании? Показательный феномен! "Разумеется, это всего лишь моя гипотеза", — объяснил я Жюли, которая слушала меня, раскрыв рот от изумления.

Президент Рональд Рейган только что счастливо избежал попытки покушения на свою жизнь. Все ежедневные газеты печатали на первой полосе фотографию, где он, поникнув, висел на руках своих телохранителей в позе, которую, должно быть, не раз принимал в вестернах, исполняя роли второстепенных персонажей. Не прошло еще и двадцати лет после убийства Джона Кеннеди, и вот кто-то решил повторить этот злодейский акт по каким-то неведомым соображениям. Интересная страна: в ней избавляются от президентов, как в кино — от докучливых посетителей. Телевизоры в витринах магазинов без конца повторяли hijacking[1], чтобы зрители не упустили ни одной подробности этого события.

Мы брели по улицам, куда глаза глядят, в полном восхищении; Люк сидел в своей колясочке, попеременно бодрствуя и засыпая. Интересно, что он думал об этих невероятных видениях, ведь до сих пор он только и знал что свою комнату, свой дом, ясли и булочную, да пару улиц в Брюссе-

1. Здесь: сцена покушения (букв.: захват транспортного средства) (*англ.*).

ле. Он питал слабость к такси, особенно желтым: завидев такое еще издали, он указывал на него пальчиком и долго следил за его извилистым пробегом по длинным улицам Манхэттена.

Башни-близнецы World Trade Center озаряли своими серебристыми бликами downtown[1]. Казалось, они будут стоять там вечно, как воплощение силы, властвующей над миром. Мы ступили на Бруклинский мост, висевший над Ист-Ривер. Люк в своем легком экипажике, тряско катившем по деревянным планкам дорожки для пешеходов (и бегунов-любителей), испускал восторженные крики, заглушаемые гулом автомобилей, мчавшихся внизу, у нас под ногами. Я насвистывал "Take a walk on the wild side"[2]. Мы шли спиной к Манхэттену и через каждые сто шагов оборачивались, чтобы еще раз с изумленным восхищением полюбоваться грандиозной панорамой, которая разворачивалась все шире и шире по мере нашего удаления — этим скопищем башен-небоскребов, выстроенных руками человека у кромки воды. Именно на этом фоне мы по очереди фотографировали Люка, восседавшего на своем "троне", словно султан из "Тысячи и одной ночи". А фотография Жюли, со смехом облокотившейся на перила моста, — классика жанра! — до сих пор стоит в своей узенькой рамочке на столе моего кабинета.

Мы поселились в Бруклине на Кэролл-стрит, недалеко от Проспект-парка, в квартире, предоставленной нам друзьями друзей; хозяев мы, честно говоря, никогда не видели, но мысленно благословляли каждое утро. На столе в гостиной они оставили нам послание с пожеланиями приятно провести время и хозяйственными инструкциями по поводу газа, плиты, горячей воды, розеток, душа, а главное, ключей. Чтобы попасть в квартиру, следовало использовать семь или восемь ключей, с которых невозможно было сделать дубликаты. Два (или три?) открывали дверь подъезда, два других — двери холла, последние три служили сезамом для бронированной двери квартиры. Ключи эти, неизвестных в Европе моделей, были оснащены какими-то пружинами и поворачивались то по часовой стрелке, то против. Основная часть послания как раз и относилась к этой процедуре с ключами, здесь же прилагались рисунки и стрелки. В первые дни мы тратили не меньше получаса, что-

1. Центр города (*англ.*). Действие романа происходит в 80-х гг. прошлого века.
2. Песня американского рок-музыканта и автора песен Лу (Льюиса Элана) Рида (р. 1942).

бы разрешить эту сложную задачу. Сразу же по приезде, после короткого совещания, было решено, что хранение драгоценного сезама возьмет на себя Жюли: только ее сумка могла выдержать такую тяжесть. И когда Жюли покидала квартиру, тщательно заперев за собой каждый замок, она с видом тюремщицы опускала тяжелую связку на дно своей сумки, где они издавали металлическое звяканье, хорошо знакомое всякому опытному зеку.

Нам требовалось не меньше часа, чтобы проехать на метро в центр Манхэттена. Мы освоили и длинные, и короткие маршруты. Люк не боялся оглушительного грохота поездов, и ничто не развлекало его больше, чем эскалаторы, спускавшие нас в недра земли. Однажды во время прогулки по Канал-стрит в Чайнатауне Люк заприметил живых омаров на витрине рыбной лавки. Я купил парочку, и мне упаковали их в целлофановый пакет, налив на дно немного воды. Жюли обожала омаров. А Люк обожал знакомиться с новыми существами. С трудом втиснувшись в переполненный вагон и проехав в давке несколько станций, я уловил какие-то подозрительные шорохи, исходившие из моего пакета. Клешни омаров продырявили целлофан, смертельно напугав нескольких пассажиров, и вода струилась на пол вагона. Раздались истерические крики. Пришлось нам выйти из поезда и срочно искать надежный пакет, который выдержал бы атаки омаров. Дома мы выпустили их на пол, и Люк завороженно смотрел, как они ползают друг за другом, пока Жюли кипятила воду. Погрузившись в кипяток, эти чудища начали менять цвет, становясь из черных оранжевыми. Такого Люк не видывал даже во сне. Жюли едва успела схватить его за руку, которую он решил сунуть в кипящую воду. Вот так воспитание Люка начиналось с самых простых запретов.

Наши запасы памперсов таяли, как снег на солнце. Я уже приметил в нашем квартале два-три магазина, выставивших у входа огромные коробки. Другой проблемой стало для нас соевое молоко. Отчаявшись найти за океаном марку "Nutricia", мы решили поэкспериментировать с другими видами молока, давая их пробовать малышу одно за другим. Но как только Люк выражал отвращение либо поворотом головы, либо позывами к рвоте, мы тотчас предавали эту марку забвению и мчались в аптеку за новой. Аптека работала по принципу самообслуживания, то есть свободного доступа к товарам, и это позволяло таким привередливым клиентам, как я, сравнивать различные марки. После многочисленных проб и ошибок, молоко "Intensive", кажется, удостоилось благосклонности Люка. Мы вздохнули с облегчением.

Я регулярно покупал в ближайшем киоске газету "Village Voice" — не для того чтобы узнавать о состоянии здоровья Рональда Рейгана (который быстро восстановился и никогда еще не демонстрировал такого прилива энергии), — но чтобы изучать рубрику объявлений. Внимательно просмотрев множество разделов "Car & van", я понял, что наконец-то напал на истинную редкость: некий человек продавал свой "Camper Volkswagen", full equipment[1], модель 1971 года, и всего-то за две тысячи долларов. Я поспешил сообщить Жюли о такой удаче, и она согласилась, что надо ковать железо, пока горячо.

Машина отвечала нашим пожеланиям буквально во всех отношениях. Ее владелец тоже. Это был почтенный пожилой человек, который за десять предыдущих лет объездил на своем выносливом "фольксвагене" пустыни Аризоны и Невады, западное побережье, Калифорнийскую бухту в штате Вашингтон, словом, проделал длинный путь вдоль Тихого океана по суше, как другие проделывают тот же маршрут по морю, на каботажных суденышках. И все это даже без кондиционера. Хозяин с величайшим сожалением расставался со своим верным другом и признался нам, со слезами на глазах, что это была лучшая пора его жизни, а теперь, увы, пришло время "перевернуть страницу". На первый взгляд желтый "Camper VW" с белой выпуклой крышей имел сходство с фургоном "Мороженое", из тех, что в летние месяцы стояли на наших улицах, зазывая покупателей веселым наигрышем через рупор. Судя по высоте машины, она была легкой добычей ветров. Наш ветеран, словно угадав мои сомнения, не стал делать тайны из максимальной скорости своего трейлера: пятьдесят пять миль в час, иными словами, примерно восемьдесят восемь километров. Но это только чуть-чуть меньше дозволенной скорости на автотрассах, заверил он меня. А как в горной местности?

— Ну... пыхтит, конечно, но всегда забирается наверх.

Посещение этого домика на колесах окончательно убедило нас в его достоинствах: раковина, холодильник, двухконфорочная газовая плитка, сиденья, превращаемые в двуспальное ложе, а под самой крышей — багажный отсек и маленький диванчик — подходящее гнездышко для Люка. Единственное, что слегка охладило наш энтузиазм, это счетчик пробега: он показывал какие-то астрономические циф-

1. Раздел "Автомобили и фургоны". Трейлер модели "фольксваген" с полным оборудованием (*англ.*).

ры: по словам продавца, вещь вполне обычная для США, по чьим бескрайним просторам непрерывно разъезжают любители путешествий. Сделка была заключена тут же, на месте. Я расплатился с ним наличными.

Оставалось уладить проблемы со страховкой и регистрацией. Эти процедуры заняли всего несколько дней. Мой отец еще дома советовал нам записаться в Американский автомобильный клуб AAA, который мог произвести ремонт машины в любом месте страны, особенно, если она не новая, настойчиво сказал он. Я представлял себе его выражение лица при виде нашей "рухляди", которую мы поспешили купить, обойдясь даже без экспертизы автомеханика. Служащий бюро регистрации, очень любезный господин, который считал Бельгию соседкой Югославии, спутав нашу страну с Албанией, спросил меня о цели путешествия. По правде говоря, мы и сами не очень-то ее знали. Я перечислил названия нескольких штатов, первых, которые пришли мне в голову: Теннесси, Флорида, Южная Дакота, Луизиана, Нью-Мехико, Аризона, Калифорния, Орегон, Вайоминг, Огайо... Записав их все, служащий разложил на столе целую кипу дорожных карт и, отметив автотрассы желтым маркером, посоветовал нам следовать по этому маршруту, чтобы объехать всю Америку. Beautiful, but it's a long way[1]. Он вручил нам карты, добавил к ним путеводитель по национальным паркам — идиллическим уголкам для отдыха под открытым небом — и, сделав "козу" Люку, пожелал ему приятного путешествия по-французски, с жутким американским акцентом.

Словом, все шло прекрасно, как вдруг одно событие, в общем-то, вполне предсказуемое, нарушило наши и без того не слишком определенные планы: Жюли потеряла свою сумку. Она, конечно, просто оставила ее где-то, но знать бы, где именно! Мне тут же представились эти драгоценные ключи, покоившиеся на дне сумки и, как следствие, крепко запертые двери квартиры. Теперь мы трое осуждены ночевать под открытым небом или в каком-нибудь случайном приюте. Собственно, такая констатация обычно сопровождается ступором, коротким или затянувшимся в зависимости от размеров катастрофы, когда вдруг чудится, что все сгинуло: мир, люди, время. Эдакий миг затишья перед бурей. И лишь спустя какое-то время после этого страшного мгновения пустоты в сознании медленно восстанавливается порядок вещей. Жюли благора-

1. Красиво, но это очень долгий путь (*англ.*).

зумно молчала, ожидая начала урагана. Внутри у меня все кипело, но я силился сохранять внешнее невозмутимое спокойствие в духе дзен: что толку вступать в бессмысленные свары, давать волю необузданной ярости! Такую линию поведения я рекомендую всем, кто стал, подобно мне, жертвой неприятного сюрприза, не будучи его виновником. Заверяю, что они об этом не пожалеют, тогда как бурная реакция (резкие замечания, оскорбления, пощечины) чревата необратимыми последствиями. Долгое молчание куда более красноречиво, нежели перебранка. Ибо супружеская пара подобна акробату на проволоке: малейший толчок грозит нарушить хрупкое семейное равновесие. И я это отлично сознавал.

Как же найти пропавшую сумку или, вернее, как попасть в дом? Я прикидывал, где можно заночевать: в Центральном парке (нет, в апреле ночи еще прохладные!), в каком-нибудь захудалом отелишке, в приюте для бездомных? Попутно я думал о том, как хозяева квартиры, которые столь любезно предоставили ее нам, совершенно незнакомым людям, примут новость (интересно, какими словами сообщить им об этом?) о потере своих *недублируемых* ключей. Неужели им придется взламывать замок за замком, дверь за дверью? Или, может, взрывать каждую из них? Хороши же будут наши друзья, столь опрометчиво порекомендовавшие своим нью-йоркским знакомым "молодую бельгийскую семью, спокойную и симпатичную"!

Я не помнил себя от злости. Жюли осторожно высказала предположение: может, она забыла сумку в фургоне, во время осмотра? Стоило бы позвонить его пожилому владельцу. Увы, старичок с сожалением объявил, что обшарил машину сверху донизу, но ничего не обнаружил. Люк молча, беспомощно наблюдал за нами. Мы с Жюли одновременно подумали об одном и том же: молоко и памперсы остались в этой чертовой, надежно запертой квартире. Нет, рано еще впадать в панику, нужно действовать методично. Жюли перебрала в памяти все места, где она побывала: бакалею, аптеку, скамью в Проспект-парке. Мы обошли их в обратном порядке. В аптеке ничего не нашлось, в бакалее тоже, а в Проспект-парк даже ходить не стоило. Полиция квартала отнеслась к нашей беде с вежливым скептицизмом. За последнее время кражи сумок опять участились, а уж сумка, забытая на улице, представляла для воров более чем легкую добычу. Так что нам посоветовали поставить на ней крест.

От Люка начал исходить подозрительный запашок. Мы вернулись в аптеку, чтобы купить молоко и памперсы ("А у вас нет коробок поменьше?"). Как раз рядом мы углядели

отель, в котором, судя по облупленному фасаду и сонному портье за стойкой, дела шли не блестяще. Нам повезло, там были свободные места. Обстановка номера подтверждала общее грустное впечатление. Туалеты находились в другом конце коридора. Жюли кинулась туда, чтобы перепеленать Люка. Мы получили короткую передышку.

Потратив несколько дней на звонки в Брюссель, мы наконец смогли поговорить с нашими друзьями, но выяснилось, что они не имеют ни малейшего понятия, где могут обретаться их нью-йоркские знакомцы, злополучные хозяева квартиры. Тогда мы предприняли систематические розыски в том же доме, набирая внизу у подъезда номера всех квартир подряд и каждый раз сообщая в интерфон о нашем несчастье и его кошмарных последствиях; так продолжалось до тех пор, пока мы не обнаружили родителей наших благодетелей, у которых — о, чудо! — были вторые ключи. Очарованные воркованием Люка, они категорически отказались от возмещения убытков, понесенных из-за пропажи ключей. Тщетно я настаивал, они ничего не желали слышать. Мы осторожно открыли дверь квартиры, чтобы провести в ней ночь, последнюю ночь в этом городе. Внутри всё было в порядке, всё на местах: наши чемоданы, соевое молоко, коробки с памперсами. Отсутствовала только сумка Жюли — теперь она вела свою самостоятельную жизнь. Мы без сил рухнули на постель и заснули.

Мои нью-йоркские ночи были полны странными сновидениями: то нескончаемой скачкой по бескрайним равнинам, то лифтами, застрявшими между этажами в необитаемом небоскребе, то младенцами, брошенными на произвол судьбы на подвесных мостах. И, однако, этой ночью я услышал вовсе не во сне, а наяву, как в замке входной двери тихонько поворачивается ключ — сперва в одну сторону, потом в другую, как будто вор, похититель сумки и умелый профессионал (а мне было ясно, что за бронированной дверью притаился именно он), тоже прочитал инструкцию хозяев квартиры относительно способа проникновения в нее. Меня парализовал страх. Сердце неистово заколотилось в груди. Я судорожно стискивал руку крепко спавшей Жюли. Внезапно в гостиной вспыхнул свет, и я услышал, как там ставят на пол тяжелые вещи. Кто-то ходил взад-вперед по комнате, до меня доносились громкие голоса. Воры (а их было как минимум двое) действовали с наглой уверенностью.

Миг спустя эта парочка вошла в спальню и испуганно остановилась при виде другой пары, расположившейся в их постели. Начались взаимные представления. Оказалось, что

это хозяева квартиры, друзья наших бельгийских друзей. Они вернулись из отпуска, полагая, что мы уже уехали. И тут я понял, что мы и в самом деле провели здесь на один день больше, чем хотели, из-за прискорбной истории с ключами, в которую я благоразумно не стал посвящать их с порога. "Пожалейте нас, не все плохие новости сразу!" — было написано на их огорченных лицах. После коротких переговоров, когда Жюли наконец-то проснулась (кажется, я не говорил, что спит она крепко, пушками не разбудишь!), хозяева, смирившись с ситуацией, попросили нас оставаться на месте, то есть в их спальне: не стоит затевать переход в другую комнату в такой поздний час, они переночуют в маленьком кабинете рядом. Но там спал Люк! Ужаснувшись, я вскочил на ноги. Младенцев будить нельзя, я уже разъяснял это элементарное правило. Люк поднял дикий рев. "Зачем меня вырвали из сна, из моего заповедного рая?" — вопил он на своем универсальном языке. В общем, это был настоящий бедлам среди чемоданов — наших, широко распахнутых, которые мы уже начали упаковывать, и хозяйских, которые они отперли в этой суматохе, чтобы найти пижамы и зубные щетки. Вопли Люка усугубляли этот хаос, точно оглушительное звуковое сопровождение к фильму-апокалипсису. Жюли взяла его на руки, пытаясь убаюкать. Я рассыпался в извинениях.

На следующее утро, закрыв наши чемоданы, я вручил хозяевам ключи, со стыдом признавшись, что это не их связка. На их лицах я прочел огорчение, которое объяснялось, как они сказали, невозможностью изготовить дубликаты этих ключей, а в Нью-Йорке необходимо иметь только такие модели. Возмещение убытков? Нет, оно им не нужно, ведь продублировать ключи все равно нельзя. Они просто оставят у себя ключи родителей, чтобы пользоваться двумя комплектами. "Это правильно, две связки лучше, чем одна, иначе есть риск, что одному из вас придется ждать другого, со всеми вытекающими отсюда неприятными последствиями", — сказал я, поблагодарив их за любезный прием.

Теперь мне оставалось только забрать "фольксваген". Старик отмыл его до немыслимого блеска. Ярко-желтые борта машины сверкали в сером утреннем мареве. Он помог мне установить номерные знаки и дал последние инструкции относительно газового баллона, соединенного с плиткой. Баллон находился под шасси, поэтому следовало избегать выбоин на дороге и переездов вброд. Я сел за руль, и мотор завелся буквально с пол-оборота. Что ж, начало хорошее. Я в последний раз помахал рукой бывшему владельцу машины и заметил, что старик плачет.

Машина произвела большое впечатление на наших новых друзей. Жюли радушно предложила им осмотреть ее внутреннее "убранство": холодильник, газовую плитку, раковину, кран — все это блестело, как новенькое. И, кроме того, было весьма функционально. Когда Жюли разложила задние сиденья, превратив их в кушетку, она невольно вскрикнула: ее сумка — да-да, та самая сумка! — лежала там, завалившись между подушками. А в ней нашлись ключи — боже, какое счастье! Она вручила их владельцам торжественным жестом, свойственным разве что коронованным особам. Я тотчас представил себе королеву Англии, возвращающую греческому правительству фризы Парфенона, похищенные некогда ее послом лордом Элджином. Все мы облегченно вздохнули. Остатки возникшей между нами неловкости испарились в лазурном небе. Даже облака, и те растаяли в этот миг. Идеальная погода для тех, кто отправляется странствовать по дорогам. Жюли пригласила Ральфа и Джессику в Брюссель. Ведь путешествуют же они изредка по Европе? Она записала наш адрес и телефон на клочке бумаги и со словами "You are welcome!"[1] расцеловала их обоих. Люку, уже пришедшему в себя после ночного кошмара, тоже досталась его доля поцелуев.

Две руки, дружно машущие на прощанье, — таков был последний образ тех, кого мы отныне будем звать своими нью-йоркскими друзьями. Пока наша машина осторожно спускалась по крутой Кэролл-стрит, Жюли внимательно изучала карту города, из которого мы надеялись поскорее выбраться.

О временах года мы знаем главным образом то, что они всегда возвращаются. Весна уже близилась к лету, и солнце неуклонно всходило на голубом небосклоне все выше и выше. Ближе к осени оно постепенно начнет снижаться и только после зимнего равноденствия воспрянет и снова засияет в зените. Вот и наше путешествие мы замыслили таким образом, чтобы объехать по кругу всю страну и в один прекрасный день вернуться к отправной точке, то есть в аэропорт Кеннеди, и сесть в самолет до Брюсселя. Дата отъезда была открытой и зависела лишь от состояния нашего банковского счета. По моим подсчетам, мы могли бы, не пускаясь в безумные траты, продержаться около полугода. Помимо идеи кругового маршрута, никаких определенных планов мы не строили и сознательно стремились только к одному — попасть на юг, забыть об унылой бельгийской слякоти. Что ка-

1. Добро пожаловать к нам в гости! (*англ.*)

сается солнца, то оно уже светило нам прямо в лицо, и его ультрафиолетовые лучи пронизывали наши черные очки.

Автострады в городских предместьях образуют самые невероятные сплетения. Мы мчались по мостам, виадукам, развязкам, которые делили поток машин на четыре основных направления. Дорожные указатели, которые должны были ориентировать автомобилистов в этой путанице, сообщали только номера шоссе, замалчивая их названия. Сначала мы долго ездили по кругу, сбитые с толку этим потоком цифр. Затем, положившись на случай, выбрали одну из дорог, вроде бы ведущую на юг. "Фольксваген", если судить по счетчику, старательно придерживался пятидесяти миль в час. Другие машины шли почти на такой скорости или чуть быстрее. В общем, даже с учетом обгонов грузовиками и пикапами, мы на нашем бело-желтом "старичке" выглядели вполне достойно.

Люк спал на заднем сиденье. Позже мы экспериментальным путем установили, что одно только урчание мотора нашего трейлера способно почти мгновенно действовать на его детский организм как снотворное, и не отказывали себе в удовольствии прибегнуть к этому средству всякий раз, как Люк трудно засыпал.

По прошествии двух или трех часов мы свернули с шоссе: Жюли обнаружила на карте название не то города, не то поселка, где было бы неплохо остановиться. Ей захотелось белого вина, и она уже мечтала о том, как будет смаковать его, сидя на террасе кафе. Увы, это место не имело ничего общего ни с городом, ни с деревней. Несколько заправок, кафе с фастфудом, супермаркеты, торгующие продуктами, электробытовой техникой, мебелью и всякой мелочью, несколько домиков с пристроенными гаражами в окружении подстриженных газончиков — вот и все, что мы увидели в этом населенном пункте, о котором столь любезно проинформировала нас дорожная карта. О белом вине на террасе оставалось только мечтать.

Мы постояли там, растерянно глядя на автомобилистов, которые заправляли свои машины, а потом теми же движениями заправлялись сами, купив на drive-in[1] гамбургеры и тут же сунув их в рот. Американское "I am full" означает, что человек наелся, что он пресыщен. "Нет, спасибо, я больше не хочу вашей восхитительной утки в меду, I am full". В Америке поесть и заправиться бензином — суть два равнознач-

1. Заведение, которое обслуживает клиента, находящегося в своем автомобиле (кафе, банк и т. п.) (*англ.*).

ных действия. Хотя почему два: по сути, просто единое целое. Именно это и почуяли опытные градостроители, которые придумали объединить жратву и горючку на широких площадках автостоянок.

"А что, если устроить небольшой пикничок?" — предложила Жюли в качестве лекарства от охватившего нас оцепенения. Жюли не имеет себе равных в искусстве превращать в праздник неприятные бытовые или погодные обстоятельства, тогда как я, напротив, готов покорно сдаться. Итак, мы ринулись в атаку на ближайший супермаркет, торгующий замороженными продуктами. В соседнем магазине мы купили хлеб, свежие овощи, колбасу и бутылку воды; увы, белого вина там не оказалось, но что делать, спасибо за все остальное.

Мы распаковали наши сокровища на площадке для отдыха, рядом с автотрассой, где любителей пикников ожидали деревянные столы. Кроме нас, тут никого не было. Жюли мигом приготовила роскошные сандвичи с ветчиной, помидорами и авокадо. Люк хотел только одного — своего соевого молока. Вскоре за соседний стол уселась еще одна семья: отец, мать, тучная женщина, и весьма упитанные детишки. Пока глава семейства раздавал банки с пепси-колой, остальные вскрывали огромные пакеты с чипсами и попкорном. Не успели мы их рассмотреть, как они уже погрузились в машину и укатили прочь. Эта мгновенная остановка в пути была сделана с одной лишь целью — заправиться. Все в конечном счете упирается в вопрос скорости. Именно это — скорость, с которой совершаются обыденные движения, — и определяет разницу между обществами. Когда-нибудь, вполне возможно, и мы, подгоняемые срочными делами, начнем питаться так же, как они, даже не заметив этого, одним махом покончив с самим понятием трапезы.

Мы вновь отправились в путь, предварительно уложив остатки нашего пиршества в миниатюрный холодильник с лампочкой-миньоном, слабо освещавшей его изнутри, как только открывалась дверца; это приводило Жюли в полный восторг: так радуются маленькие девочки, которым подарили игрушечную кухню, они счастливы, что могут хозяйничать, подражая маме. Жюли воспринимала наше путешествие как возврат к детству, возможность посещать незнакомые края, разводить костры, устраивать привал под открытым небом — короче, делать все, чем запомнились ей семейные каникулы, проводимые на лоне природы, на берегу океана, вместе с ее родителями и шестью братьями и сестрами.

Хотя было всего пять часов дня — "pm", как здесь говорили, — Жюли пыталась отыскать на карте национальный

парк, где можно было бы отдохнуть и заночевать. Мы находились недалеко от Вашингтона, и она указала мне выезд на автотрассу. Следуя ее инструкциям, мы покинули "городскую" зону и начали подниматься по серпантину на холм, густо заросший дубами и лиственницами. Вход в парк находился на самой вершине. Сторож вручил нам план местности, предоставив самим выбрать место стоянки. В это время года, сказал он, посетителей бывает мало, разве что на уик-энд. Поездив минут десять, мы отыскали площадку, где действительно никого не было. Она была разделена на шесть отдельных пронумерованных участков, каждый со столом и грилем. Жюли была на верху блаженства. Ни одной живой души, кругом только нескончаемый лес да озеро внизу, под склоном. Она усадила Люка в удобное детское креслице, чтобы он тоже мог наслаждаться пейзажем, и он тотчас начал испускать восторженные крики, указывая пальчиком на вещи, которые не видел никто, кроме него.

Пока Жюли готовила ему место для ночлега под крышей трейлера, я пошел прогуляться, чтобы размять ноги и набрать хвороста для костра.

Пламя с треском взвилось к небу в ту минуту, когда солнце посылало нам свои прощальные лучи. Люк без умолку лопотал что-то невнятное, завороженно созерцая пляску огненных языков. Жюли достала из холодильника баранину на ребрышках и кабачки. Уже стемнело, и я поставил на стол зажженную газовую лампу. Наше кухонное оборудование было довольно незатейливо и состояло из кастрюль, сковородок, нескольких тарелок, приборов и стаканов, способных выдержать тяготы долгого пути. Именно так Жюли задумала это путешествие: объехать всю Америку, останавливаясь где душе угодно, распаковывая каждый вечер наш походный скарб, разводя огонь на закате и ночуя под открытым небом, когда наступит жара. Жмурясь от удовольствия, она смаковала каждый кусочек слегка обжаренного на костре мяса. Люк, совсем обессилевший от бурных чувств, вызванных открытием новых земель, крепко заснул. Я уложил его в крошечную постельку, похожую на капсулу "шаттла" (за вычетом электронного оборудования). Если он откроет глаза, то сможет увидеть нас в узкое оконце.

Мы улеглись на траву бок о бок, ослепленные звездами, сверкавшими в чистом темном небе. Я без труда нашел Большую Медведицу, Малую Медведицу и Полярную звезду; на этом мои познания созвездий заканчивались. "Вообще-то, карта звездного неба под этими меридианами не очень отличается от нашей", — сказал я Жюли. Объяснялось это тем,

что в данный момент мы странствовали примерно на тех же широтах. Подобную картину можно было наблюдать в Брюсселе шесть-семь часов назад, конечно, при условии, что облака и дожди не подпортили праздник. А к этому часу там, в старушке-Европе (как ее здесь называли), восходящее светило уже должно было озарять горизонт...

На рассвете, с первыми лучами солнца, природа пробудилась от сна. В лесу уже вовсю кипела жизнь. Какое имя подобрать этим птичьим трелям, цоканью белок, треску ветвей? Вчера мы уснули под открытым небом, вдоволь насладившись созерцанием звезд. В лесной ложбине еще стелился ватный туман. Продрогнув от влажной ночной свежести, я сбегал в машину за одеялом. Жюли плотно закуталась в него и приникла ко мне. Но вскоре утренний свет окончательно прогнал сон. Люк тоже открыл глаза и подал голос, требуя, чтобы мы вернулись к дневным заботам. Мы молча выпили горячий кофе, еще не стряхнув с себя опьяняющую истому этой волшебной ночи. Похмелье — кажется, так называют момент, когда действительность вступает в свои права после ночных безумств, связанных с выпивкой или любовью. На будущее учтите это и соблюдайте осторожность, любуясь ночным небосводом, — принимайте его в умеренных дозах.

Итак, мы снова пустились в путь, сами не зная зачем и с сожалением покинув этот затерянный рай, где деревья шептались с небом. Отныне, держа курс на юг, мы каждый вечер поступали точно так же: даже не глядя на часы, разбивали лагерь, как только видели, что солнце клонится к горизонту. Люк уже свыкся с мыслью, что жить — значит каждое утро ехать куда-то по дорогам в поисках нового места для ночлега. По вечерам он возвращался на свой "чердак" в трейлере, где его ждало уютное гнездышко, единственное место, служившее спокойной гаванью для его утлого кораблика.

Кроме соевого молока, которое Люк требовал теперь только в конце дня, он начал питаться овощными пюре в баночках, особенно пристрастившись к морковному, которое обильно размазывал по щекам. Он очень рано решил самостоятельно пользоваться ложкой, хотя с трудом находил рот. Иногда, несмотря на крайнюю сосредоточенность, ему изменяла координация движений, и он подносил ложку ко рту, одновременно крепко сжимая губы. Эти жесты, которые мы, взрослые, делаем неосознанно, показались мне весьма сложными при виде мордашки Люка, украшенной оранжевыми морковными или зелеными капустными разводами овощного пюре. Может, он решил вступить на тропу войны? Или скорее досрочно стал адептом боди-арта, пре-

вратив свое лицо в полотно для ярких овощных красок? Не знаю, обязан ли он художественными талантами, которые проявил впоследствии, этому младенческому периоду, когда неустанно размалевывал себе щеки.

Мы ехали все дальше и дальше, в самую глубинку Америки, встречая на своем пути лица и тела, которые иногда внушали страх; и вот однажды устроили стоянку в природном парке, недалеко от Читтануги, на границе Теннесси и Алабамы; этот лес рассекала бурлящая речка, которая тащила по течению ветви деревьев и прочий лесной мусор. Пока я, по нашему вечернему обычаю, собирал хворост для костра, разомлев в теплом воздухе и рассеянно витая мыслями где-то далеко, к нам явился нежданный посетитель — собака, решившая, видимо, обследовать наш лагерь. С виду это был лабрадор или помесь лабрадора с кем-то еще, может быть, с овчаркой. Бежевая шерсть пса с черной манишкой на шее не оставляла сомнений по поводу его беспородности; к тому же он явно был бесхозным.

Костер уже разгорался, постреливая искрами; Жюли принесла из холодильника продукты и накрыла на стол; наш гость улегся неподалеку в ленивой позе, характерной для собак, когда они чуют еду. Он умильно поглядывал на нас троих, свесив уши, в терпеливом ожидании и с верой в будущее, особенно в то, которое благоухало на гриле; по всей видимости, его ничуть не беспокоил тот факт, что он бродит неприкаянным в этом враждебном лесу. Люк первым выказал ему свою симпатию, подобравшись ползком к тому, кого счел сотоварищем по способу передвижения. Пес, занятый созерцанием мяса на гриле, позволил гладить себя по спине и голове и отвернул морду только тогда, когда Люк нацелился пальчиком в его правый глаз. Мы с Жюли наблюдали эту сценку, и трогательную и забавную, с легкой опаской: вдруг собака покажет зубы, хотя, судя по ее виду, это было маловероятно.

Мы отдали псу остатки ужина, и он, отойдя подальше, принялся грызть лакомую мясную кость; таким образом, еды, предназначенной для двоих, хватило и на третьего сотрапезника, если можно так назвать собаку, — что делать, иногда одиночество пробуждает в людях и такие добрые чувства. Жюли собралась было уложить Люка спать в его гнездышке, но на сей раз он подчинился неохотно, настолько его возбудило это вечернее знакомство. Ничего удивительного, ведь ему впервые случилось завести себе друга, такого же четвероногого, как он сам.

На следующее утро мы обнаружили пса тут же, возле переднего колеса; в его взгляде угадывался легкий упрек. Проснув-

шийся Люк с восторгом встретил его, выразив свою радость целой серией "ав-ав!", "там ав-ав!" За прошедшую ночь он освоил новый, собачий язык. Я отправился в сторожку парка, чтобы объявить о появлении бродячей собаки. Сторож пришел в замешательство: никто не сообщал ему о потере. Как же быть? Он ничего не мог нам посоветовать, разве что позвонить в полицию, а впрочем, и это было не обязательно, мы могли просто-напросто оставить ее там, где нашли, иными словами, еще раз бросить. Лес большой, пускай живет здесь, будет охотиться на грызунов, а то вон как расплодились...

Нельзя было оставить пса на произвол судьбы — решиться на такую крайность мог бы только совсем уж бессердечный человек. И вот, несмотря на сомнения Жюли, было решено, что другого выхода у нас нет, придется взять его с собой; мы устроили ему лежанку, постелив одеяло на пол возле заднего сиденья: таким образом, Люк мог сверху любоваться его бежево-черной спиной.

Вопреки страхам Жюли, пес оказался вполне приятным попутчиком: большую часть пути он спал, а на остановках выбирался из машины, чтобы размять лапы и справить нужду, помечая нашу дорогу своими запахами. По всей видимости, прежние хозяева у него были замечательные.

К вечеру мы прибыли в Луизиану, совершенно разбитые от долгой езды. Здесь стояла влажная жара. Мы встали лагерем между старицами, и собака завалилась в траву, дыша так надсадно, словно пробежала весь этот путь. Пока она каталась в сухой траве, играя с Люком, Жюли выяснила, что это "девочка". Значит, теперь не годилось звать ее псом, и я предложил дать ей имя, только вот вдохновение мне изменяло. "А что, если назвать ее Пятницей? — предложила Жюли. — Как у Робинзона!" И в самом деле, почему бы и нет?!

Стоит вам присвоить кому-нибудь имя, даже если речь идет о животном, происходит странная вещь: это существо начинает вам принадлежать; в каком-то смысле одно только имя создает между ним и вами некую духовную связь. Вот почему скотоводы никогда не дают имен животным, которых выращивают на мясо. Нам пришлось смириться с неизбежным: Пятница стала *нашей* собакой. Люк придумал ей уменьшительное имя — Пять. "Пять-Пять!" — верещал он, ползком пускаясь за ней вдогонку или барахтаясь вместе с ней на траве и обхватывая руками за шею. Едва открыв глаза поутру, он уже звал свою подружку: "Пять!"

Путешествия чреваты неожиданными встречами. Вот и Пятница подарила нам такую встречу, оставив неизгладимый след в наших странствиях. Мало того что она совершенно

очаровала Люка, довольно скоро по ее вине между мной и Жюли возникли трения. Стоило нам где-нибудь остановиться, как Пятница считала своим долгом заявить о своих правах на это место. Выскочив из машины, она начинала разминаться после долгого утомительного бездействия: носилась взад-вперед, как угорелая, неумолчно гавкала, кидалась в подлесок, откуда доносился еще более громкий лай, которым она оповещала кротов, сурков, ондатр, белок и всевозможных пернатых, что отныне это ее владения, и пусть все об этом знают. Жюли с детства привыкла наслаждаться мирной, безмятежной тишиной окружающей природы, и теперь, когда она с восторгом открывала для себя новые чудесные пейзажи, этим радостям положил конец оглушительный шум и переполох, который устраивала наша неугомонная спутница, помечая *свою* территорию. Увы, мне, как и Жюли, не удавалось заставить Пятницу помолчать или хотя бы умерить свой пыл.

Но главной бедой оказалась вода. Как все лабрадоры или их дальние родственники, Пятница обожала воду. Она была страстной купальщицей. Страдая от жары, она чуяла любую воду, вблизи или вдалеке, будь то пруд, лужа или река, и тотчас устремлялась к ней. Возвращалась она мокрая и энергично встряхивалась, обдавая нас брызгами с головы до ног. Вначале мы только смеялись, не говоря уж о Люке, который хохотал взахлеб. Но с течением времени нам это надоело и стало раздражать, особенно когда вода из какой-нибудь грязной лужи оставляла на одежде подозрительно пахнущие следы.

Лежа возле заднего сиденья на своем одеяле, превращенном в собачью подстилку, она распространяла по всему салону запах мокрой шерсти. Тщетно мы опускали стекла на ходу, запах не исчезал. Хочу напомнить, что "фольксваген" был и нашим домом, в частности, нашей спальней, и нам приходилось ночевать в этих малоприятных испарениях. Мы, не сговариваясь, видели одни и те же сны, где неизменно тонули в зловонных болотах. Скоро вся наша одежда, посуда и даже холодильник насквозь пропахли тиной. Терпению Жюли пришел конец. Люк, не понимая надвигавшейся драмы, продолжал спокойно дышать этим нездоровым воздухом.

Мы были вынуждены бежать из Нового Орлеана, из города, который, однако, нам очень понравился: его Французский квартал, дома в колониальном стиле с ажурными коваными балконами, негры, лениво дремлющие на порогах деревянных хижин, в тени раскидистых деревьев, саксофонисты на перекрестках, рассылающие свои звонкие рулады на все четыре стороны, — все это было замечательно. Но Пятница, которая тут же плюхнулась в воду Миссисипи, не

смогла потом выбраться на берег, к великому ужасу столпившихся там зевак. Пришлось вызывать спасателя-аквалангиста. И мы покинули этот город, опоясанный рекой и плотинами, неосторожно возведенный в местности, расположенной ниже уровня моря. Нечего было и мечтать об остановке в дельте Миссисипи, мы вычеркнули ее из списка желанных достопримечательностей. Нам с Жюли страшно было даже представить себе Пятницу в дельте реки. Увы, штат Луизиана — это сплошная вода, никогда не знаешь, что перед тобой, — море, краешек озера или приток Миссисипи, теряющийся вдали среди стариц.

Итак, мы разбили лагерь на Большом Острове, то есть у океана, на берегу Мексиканского залива, где соленые волны обладают даром заглушать неприятные запахи. Но сердце у нас не лежало к этому краю. Мы наблюдали за непрестанным балетом вертолетов, привозивших и увозивших работников с нефтяных скважин, чьи вышки торчали на горизонте. Пятница облаивала воздух, глядя в небо: видимо, она и его намеревалась присоединить к своим владениям. Именно здесь Жюли, почти крича, чтобы я расслышал ее сквозь гул вертолетов, призналась, что ей до смерти надоела эта собака и она хочет от нее избавиться. "Но как можно, ведь это будет такое горе для Люка! — ответил я, хотя вполне разделял ее отношение к зловонному и шумному присутствию собаки. — Ты только посмотри, как они играют, как они прекрасно поладили. Потерпи еще немного, мы обсудим это позже". Такова была моя обычная линия поведения, когда приходилось решать какой-нибудь остро назревший вопрос.

К счастью, Техас оказался намного суше Луизианы. Мы ехали мимо бескрайних, уходивших за горизонт полей пшеницы и других сельскохозяйственных культур. Фермы встречались редко, возле них стояли самолеты: здесь и сеяли, и удобряли, и поливали только с самолетов.

Увидели мы и несколько городков или, вернее, поселков городского типа, мирно дремлющих на обочинах Interstate Highway[1]; тишину нарушал лишь гул проносившихся автомобилей да стрекотание газонокосилок.

Наконец мы добрались до Браунсвилля и реки Рио-Гранде, которая разделяет Соединенные Штаты и Мексику. Здесь нам пришлось долго стоять в веренице машин, ожидавших прохождения пограничного контроля. На американской таможне у нас потребовали паспорта и документы на

1. Автотрасса, проходящая через несколько штатов (*англ.*).

"фольксваген", которые проверили от корки до корки. А где же документы на собаку? У нас их не было, of course[1]. Сначала я, потом Жюли долго пытались разъяснить, почему мы не везем с собой ни собачьего корма, ни справок о прививке. "Lost and found"[2], – твердили мы без устали сначала таможеннику, который ничего не желал слышать, а затем его коллеге, которого тот вызвал на подмогу. Решительно, границы стали нашим кошмаром. В Нью-Йорке нас заставили бросить на таможне коробки с соевым молоком, а теперь приходилось отдавать этим идиотам Пятницу. Сколько мы ни спорили, ясно было одно: пересечь границу вместе с Пятницей нам не позволят. Жюли, даром что совершенно неопытная в вопросах транспортировки животных, пришла в ярость и закричала человеку в мундире, что у нее в стране о таких безобразных порядках и не слыхивали. И что нас не порицать нужно и не выставлять ворами, а наградить орденом за то, что мы подобрали умирающую с голоду животину. Жюли, насмерть стоявшая за собаку, которую еще пару дней назад хотела пристроить в какой-нибудь питомник, производила большое впечатление. "У вас в стране, может, так и принято, но в Соединенных Штатах есть свои законы, а законы надо соблюдать, – талдычили хором оба таможенника. – Никто вам не разрешит покинуть территорию США с собакой, которая, по вашему же признанию, вам не принадлежит и которую, может быть, в данный момент разыскивают с помощью объявлений ее любящие хозяева".

Будучи опытными профессионалами, таможенники знали, что, если в дело замешиваются чувства, тянуть нельзя; а потому велели кому-то принести поводок и ошейник, который тотчас же надели на шею Пятнице. Мы беспомощно смотрели, как она исчезла в каком-то сарайчике, бросив на нас прощальный взгляд. Люк вел себя спокойно и только по нашему примеру помахал ей рукой. Понимал ли он значение всей этой сцены, развернувшейся перед его глазами? Трудно сказать. Невозможно проникнуть в мысли крошечного существа, которое ничего или почти ничего еще не знает о жизни. Зато нам теперь было ясно одно: Люк только что лишился своего первого друга, четвероногого, как и он сам.

Без единого слова мы проехали по мосту, перешагнувшему через Рио Гранде, тщетно пытаясь заслониться этой панора-

1. Конечно (*англ.*).
2. Здесь: кто-то потерял ее, а мы нашли (*англ.*).

мой от воспоминания о последнем взгляде Пятницы, уведенной от нас таможенниками. Я исподволь поглядывал на Люка в зеркальце заднего вида. Он сидел совершенно неподвижно, и впервые в жизни мне показалось, что на его личике написана горестная покорность судьбе, нанесшей ему такой удар. Может быть, он думал, что Пятница исчезла из его жизни таким же манером, как и появилась, — по волшебству? И что в небесах или где-то в другом месте есть злой колдун или фея, которые по необъяснимому капризу или доброй воле одним взмахом волшебной палочки заставляют собак то появляться, то исчезать? Ребенок, сидящий абсолютно смирно, с застывшим лицом, вызывает куда больше беспокойства, нежели орущий во все горло. Наверняка так же думала, не высказывая этого вслух, Жюли. Громкий плач свидетельствует о чем-то реальном: о боли, гневе, неудобстве. Но полное отсутствие внешних эмоций пугает так же, как вопрос, оставшийся без ответа.

Оказавшись в Матаморосе, приграничном городке на мексиканской территории, мы сразу поняли, что Рио Гранде разделяет не две страны и даже не два государства, но два мира. По ту сторону границы остался Техас с его бьющим в глаза богатством: автострадами, развязками, нефтяными вышками, заправками (в одном только Хьюстоне их было несчетное количество), гигантскими торговыми центрами, сельскохозяйственными угодьями, где самолеты заменили плуг, чистенькими предместьями, мирно дремлющими под сенью деревьев, светящимися экранами телевизоров, аккуратно подстриженными газонами, большими поместьями... По другую же сторону границы — Матаморос, погрязший в грязи, характерной для стран третьего мира, сплошные бидонвили, и повсюду, куда ни глянь, люди на улице, группы людей, сборища на центральных площадях, обыкновенные прохожие, идущие врозь или вместе, — такого мы давно не видывали. В Техасе самым страшным опасностям подвергается пешеход. Передвижение без машины — это либо вызов обществу, либо чистое безумие. И еще: в Матаморосе повсюду сохло белье на веревках, протянутых между домами. Пачкать и стирать свое белье: не правда ли, именно в этом выражается вечное движение жизни?!

Ни один туристический путеводитель не удостоил Матаморос даже самой маленькой звездочки. Этот город был обозначен на карте крошечной точкой — населенным пунктом. И все-таки после мучительного автопробега под знойным солнцем мы восприняли его как дар небесный, словно опять вернулись к жизни. Поставив машину, мы пошли бродить

наугад по улицам и площадям, в гуще людей, занятых своими повседневными делами: одни болтали, другие сидели за выпивкой, третьи закупали продукты. На нас обращали внимание главным образом женщины, которые бурно восторгались Люком, белокурым и голубоглазым. "Como te llamas?"[1] — спрашивали они его наперебой, и тискали, и щекотали, смеясь, чтобы вызвать у него ответную улыбку, а уж на это наш очаровашка Люк не скупился. Пятницу уже забыли. Нам совали апельсины, помидоры, авокадо, сок манго и лайма. "Por niño!"[2] — вопили женщины, тыча пальцами в ротик Люка. Вокруг нас собралась целая толпа, в которую внедрились чистильщики обуви, настойчиво предлагавшие надраить ваксой наши текстильные кроссовки.

По мере того как мы продвигались на юг, сумерки наступали все раньше и раньше. Солнце уже скрылось за домами, а мы так и не придумали, где провести ночь. О национальных парках и просторных стоянках для отдыха в Мексике и мечтать не приходилось. Нужно было срочно принимать какое-то решение. Молча переглянувшись, мы пустились в путь, взяв курс на юго-запад, к городу Виктория. Уже темнело, когда мы пересекли небольшой городок Техон. Мы чувствовали себя такими бесприютными, что уже прикидывали, не остановиться ли в каком-нибудь местном отеле. Но в конечном счете свернули на обочину и встали прямо в чистом поле. Тем вечером мы поели кое-как, ограничившись ломтиками хлеба. Нам вспомнились советы, полученные перед отъездом: будьте осторожны, север Мексики очень опасен, там бродят шайки воров, которые охотятся за туристами. Мы забаррикадировались в машине и провели ночь в тревожном полусне, вздрагивая при каждом шорохе. Люк спал без задних ног на своем "чердаке" и, наверное, видел во сне Пятницу и ее шальные купания.

На следующее утро мы покинули это негостеприимное место, не зная, куда направиться дальше. Пустырь вокруг нашего трейлера был усеян ржавыми автомобильными каркасами, которые накануне скрыла темнота. Добравшись до Виктории, мы не решились ехать в Мехико и свернули к океану, который был нам необходим, как глоток свежего воздуха. К Мексиканскому заливу мы подъехали в районе Тампико и какое-то время чудесно отдыхали там, разъезжая вдоль побережья. Люку очень понравились пляжи с мелким

1. Как тебя зовут? (*исп.*)
2. Для малыша! (*исп.*)

песком, которые он причислил к своим владениям. Иногда мы делали остановки, чтобы осмотреть какие-нибудь руины, навевавшие странное чувство, будто мы сами пребываем в пространстве вне времени. Пирамиды Тахина[1] были похожи на пчелиные соты.

Однажды, когда мы проезжали через деревушку в окрестностях Веракруса, на нас обрушился дикий ливень, начавшийся с ураганных порывов ветра, от которого деревья гнулись до земли. Средь бела дня деревню накрыла тьма. Мы пришли в ужас. Наша машина увязла в буйном грязном потоке, затопившем деревенскую улицу. Вскоре дождь утих, снова засияло солнце, и какие-то ребятишки, обутые в резиновые сапоги, подбежали к машине, предлагая нам пожить у них. Таким вот образом, босиком, с подвернутыми штанинами, мы и были приняты семейством, которое занималось выращиванием кофе, — супружеской парой и их детьми; эти последние моментально поладили с Люком, словно он был их родным братом. Мы плохо говорили по-испански, зная только самые необходимые слова, но достаточно хорошо схватывали на слух этот язык, чтобы понять приглашение наших хозяев: будьте как дома и живите у нас сколько угодно! Этот обычай, для них сам собой разумеющийся, называется гостеприимством, то есть, согласно толковым словарям, "желанием встретить, приютить и бесплатно накормить бедняка или путника". Казалось бы, вполне естественный поступок, но в наших краях он стал редким, почти исчез. Об этом лучше всех известно беспаспортным скитальцам, которым в Европе предоставляют не жилье, а обратный билет на чартерный рейс, не слушая никаких возражений.

Обитатели деревни в большинстве своем — а мужчины все поголовно — передвигались на лошадях. И вот именно так, верхом, Альберто предложил мне на следующий день осмотреть его кофейные плантации. Тщетно я доказывал ему, помогая себе жестами, что в жизни своей не садился на лошадь: Альберто уже оседлал для меня кобылу, по его уверениям, старую и смирную. Виктория, стоявшая здесь же, поднесла Люка поближе и провела его ручонкой по лошадиной шерсти, куда более жесткой, чем собачья. То ли из-за огромных размеров животного, то ли заметив мое испуганное лицо, Люк тут же дал понять, что близкое знакомство с лошадью не входит в его планы. Жюли взяла его на руки и помахала мне вслед, не

1. Эль-Тахин — условное название древнего города в штате Веракрус (Мексика), построенного в I в. н. э. и состоящего из нескольких пирамид.

очень уверенная в том, что я смогу усидеть в седле и заставить мою конягу двигаться в нужном направлении. Виктория хохотала до слез, глядя, как я исчезаю вдали.

До кофейных плантаций путь был не ближний, нам пришлось трусить (так сказал бы Сервантес) несколько миль под жгучим солнцем. Кобыла моя, дряхлая, как Росинант, хорошо знала дорогу и беззастенчиво игнорировала те немногие команды, которыми я осмеливался ее донимать, дергая при этом за повод то справа, то слева, как меня научил Альберто. Пренебрегая все так же нахально моими понуканиями, чтобы нагнать скачущего впереди Альберто, она останавливалась на каждом шагу, чтобы сорвать пучок травы на обочине или сунуть морду в какой-нибудь куст. При таком темпе мне реально грозил солнечный удар. Дойдя до плантации, моя кобыла полезла вверх по склону, оскальзываясь задними копытами на каменной осыпи. Наконец она стала пробираться между кофейными кустами; Альберто осматривал их через каждые двадцать метров, срывая то тут, то там кофейное зерно, которое совал мне под нос и которое мне некогда было нюхать, поскольку я был занят другим: изо всех сил старался наклоняться вперед, к холке, чтобы удержать равновесие. Так что я и сейчас не знаю, чем пахнут сырые кофейные зерна. Возвращение домой оказалось куда более беспокойным: моя кобыла, чуя, как говорится, родную конюшню, перешла на галоп, презрев мои "hola" и отчаянные попытки натянуть повод. Таким образом, я торжественно въехал во двор, лежа на спине моей скакуньи и судорожно вцепившись в ее шею, точно в спасательный круг. Меня встретили как героя. Виктория сыпала шутливыми комментариями, Жюли смеялась, правда, довольно принужденно, а Люк растерянно смотрел на меня, явно не понимая, есть ли какая-то родственная связь между лошадью и собакой.

Вечером Виктория угостила нас своим mole poblano — пряным десертом из какао и миндаля, сдобренных перцем. Люк, восседавший на высоком детском стуле, обмакивал пальчик в это черное пюре: соевое молоко начало ему приедаться. Виктория жестами объясняла нам, что mole — прекрасная еда для детей. Мы не очень-то доверяли ей, предпочитая кормить нашего отпрыска пюре из авокадо, которое достали из наших запасов. Если не считать нескольких жестов, которыми мы обменивались с хозяевами, у нас было мало общих тем для разговора; мы могли только благодарить их за гостеприимство, поскольку эти слова звучат понятно для всех, как на французском, так и на испанском. С этой целью я попытался пригласить их к нам в Бельгию, в том (маловероятном) случае,

если им захочется пересечь Атлантику. "А где она, ваша Бельгия?" — нерешительно спросил Альберто. Ах, возле Франции? Так вот почему мы говорим по-французски! О Брюсселе они и слыхом не слыхали, так же как о Брюгге с его каналами, которые я старался описать им, жестами изображая гребца. Однако несколько минут спустя глаза Альберто блеснули, он вспомнил: ну, конечно, футбольный клуб Брюгге — как же, отличная команда, он их видел по телевизору! Целеманс — ух, какой классный игрок, настоящий лев! А как у вас с кофе? — Нет-нет, кофе в нашей стране не выращивают.

Невзирая на протесты Люка, непременно желавшего заночевать в своей "берлоге" под крышей "фольксвагена", нас разместили накануне в одной из комнат этого одноэтажного дома. От долгих часов тряски в седле я совершенно выбился из сил. Жюли призналась мне, что ее подташнивает. "Наверное, из-за какао, — ответил я. — Оно трудно переваривается". Но Жюли не очень-то мне поверила: прошлой ночью ее уже мучили позывы к рвоте. Мы так и не выяснили причины этого нездоровья, теряясь каждый в своих догадках.

У нас не было ни малейшего желания продолжать путь, хотя Жюли беспокоилась, не злоупотребляем ли мы любезностью Альберто и Виктории, расположившись у них, как у себя дома. Я так не думал: наше присутствие не вызывало у наших хозяев никаких признаков усталости или раздражения. Они принимали его как должное. А нам нужно было набраться сил перед тем, как идти походом на Мехико, о котором нам наговорили множество всяких ужасов. Итак, мы остались еще на один день, полеживая в разгар жары в гамаках, натянутых между деревьями.

Дети наших хозяев прямо-таки влюбились в Люка и всеми силами пытались научить его стоять без поддержки. Иногда ему и впрямь это удавалось, хотя простояв несколько секунд, он плюхался на попку, под общий смех присутствующих. Слава богу, памперсы, запас которых таял с каждым днем, смягчали падение.

К концу дня Адриана, старшая девочка, подошла к Жюли и робко спросила, не разрешит ли она переночевать в трейлере ей, вместе с ее братьями и сестрами, а главное, с Люком, которого они полюбили, как родного. Разумеется, Жюли дала согласие. Она уложила в машине Люка, страшно довольного тем, что он вернулся на свое ложе; тем временем старшая детвора осваивала наш домик на колесах.

Что касается нас с Жюли, мы провели последнюю ночь в настоящей постели, хотя, честно говоря, это был обыкновенный тюфяк, положенный прямо на пол. Ранним утром

мы распрощались с нашими хозяевами, обменявшись с ними адресами, хотя были уверены, что больше никогда не увидимся. Люк еще раз стал объектом неумеренных проявлений любви со стороны многочисленных ребятишек, сбежавшихся со всей деревни. Расставание было в высшей степени бурным. Некоторые девочки даже прослезились. Виктория категорически отказалась от денег, которые Жюли пыталась сунуть ей в карман, в уплату за наше пребывание. В ответ она вручила ей клочок бумаги, на котором записала рецепт mole. Наша машина, которая успела оправиться от урагана и дождя, завелась так же легко, как в первый день.

Спустя два дня мы добрались до Мехико окольными дорогами, избегая главной автострады, забитой грузовиками. Равнинную местность сменили предгорья вулканов, и мы разглядели вдали вершину Ситлальтепетль; в путеводителе сообщалось, что ее высота достигает 5 746 метров. Ни один город мира еще не заявлял о своей близости столь навязчиво. Вначале это были мириады растерзанных целлофановых пакетов, взметавшихся в воздух при малейшем порыве ветра. Потом — тесно скученные домишки или хижины, образующие чудовищные бидонвили на подъезде к Мехико-сити — именно так мексиканцы величают свою столицу. Нам казалось, что мы попадаем в этот город через его сточные трубы. Мехико уже смутно угадывался вдали, в лощине между двумя горными склонами; его венчала шапка густого серого смога. Мы гадали, на что же будет похож центр: судя по редким дорожным указателям, он явно находился впереди. Убогие бараки, кое-как слепленные из самана, базальта, досок и ржавого толя, тянулись вдоль дороги по крутым откосам, удерживаясь на них только в силу собственной тяжести. Всюду кишели дети, гоняющие пустые консервные банки или дырявые мячи. Деревянные столбы с электрическими проводами клонились то вправо, то влево, в зависимости от неровностей рельефа; все они были опутаны какими-то самодельными приспособлениями, видимо, позволявшими проводить ток туда, где его не хватало. Женщины вручную стирали белье, которое тут же чернело от носившейся в воздухе пыли. Кругом тлели кучи отбросов, испуская клубы едкого дыма. Сама мысль о существовании дорожных служб казалась здесь дикой. Да и как назвать эти дороги, эти жалкие подобия улочек, не проложенных по плану, а протоптанных людьми там, где им вздумалось ходить? Занимались ли городские власти их описью? И чем руководствовался почтальон, доставляя письмо адресату? Может, ходил и выкри-

кивал его имя? Впрочем, у какого почтальона хватило бы духу бродить среди этой помойки? Да и нужны ли письма тем, кто не умеет читать? Женщины на обочинах подавали нам какие-то знаки — то ли здоровались, то ли желали нам приятно провести время в этой преисподней.

Вскоре сплошной поток легковушек и грузовиков влился в широкие бульвары. Нам понадобилось три или четыре часа, чтобы попасть в обозначенный на плане центр этого мегаполиса. "Интересно, сколько здесь жителей?" — спросила Жюли. Нам говорили, что тут живет от шестнадцати до двадцати или двадцати пяти миллионов, но точной цифры не знал никто. Мехико считался самым многонаселенным городом мира. Он вырос без всякого намека на планировку и, не будь вокруг него гор, ограничивших это хаотичное расползание, простер бы свои щупальца еще дальше. Как зафиксировать то, что кишит, подобно земляным червям? Если бы Люк родился в Мехико, разве был бы у него шанс попасть в списки местного населения? Сильно сомневаюсь.

Мы и сами толком не знали, почему нас занесло в этот город-спрут и что мы здесь ищем. Но любой путешественник после долгих странствий рано или поздно чувствует, как его засасывает нечто смутно похожее на то, что он давно покинул и что жаждет обрести вновь, ощутив вдали от родины ее ритм и дыхание. За немногими исключениями, Мехико был полной противоположностью Брюсселю, и, однако, проезжая по нескончаемому бульвару Пасео-де-ла-Реформа, разрезавшему город надвое, мы уловили в здешней атмосфере какие-то знакомые флюиды, намек на родство севера и юга, хотя всё вокруг — ультрасовременные здания, сверкающие магазины, банковские офисы из стекла и стали, роскошные лимузины наряду с "божьими коровками" "Coccinelle"[1] — выглядело куда более помпезно. Ах, эти малышки "Coccinelle", утеха моего детства, которые в Европе (где их и создали) давным-давно пошли под пресс! Зато здесь они встречались на каждом шагу, раскрашенные во все цвета радуги, особенно часто выступая в роли такси. Кстати, наш "Camper Volkswagen" был их земляком, и нам ужасно хотелось оповестить об этом окружающих.

Утешительное чувство дежавю достигло своего апогея, когда на одной из торговых улиц мы приметили — не сразу

1. Coccinelle (в переводе с *франц.* божья коровка) — модель так называемого народного автомобиля, дешевого и прочного, выпущенного немецкой фирмой "Volkswagen" в 1938 г. по приказу Гитлера. Вначале называлась "Volkswagen Coccinelle".

поверив своим глазам — витрину магазина, где красовались целые штабеля коробок с памперсами. Мехико, наш вожделенный Грааль! Я кое-как припарковал машину, и мы ринулись к полкам, точно гангстеры, замыслившие ограбление века. После нашего набега в магазине не осталось ни одного памперса.

Теперь мы с легким сердцем могли начать поиски какого-нибудь скромного отеля и обнаружили его в квартале Зокало. В тот момент, когда мы выгружали из трейлера свои вещи, Люк, заподозривший, что ему не светит ночлег в привычном месте, устроил дикий скандал на всю гостиницу. Тщетно Жюли объясняла ему, что скоро он будет снова ночевать в машине, он ничего не желал слушать и ревел все громче и громче, взывая к сочувствию портье и каждого постояльца, проходившего по холлу.

Чтобы успокоить Люка, мы пошли бродить по улицам, где нам то и дело попадались магазины для грудных младенцев и детей постарше. Вообще детей тут было великое множество, а беременные женщины встречались на каждом шагу; казалось, они царят в этом городе, над которым властвует ребенок. Мы воспользовались удобным случаем, чтобы приодеть Люка, — он рос как на дрожжах. Меня особенно привлекали детские обувные прилавки, я умилялся при виде крошечных башмачков 24-го, 25-го размера, выглядевших уменьшенной копией взрослых туфель. Несмотря на протесты Жюли, обвинявшей меня в тяге к роскоши, я не смог противиться искушению и купил для Люка сразу три пары дорогих ботиночек.

Вечером мы поужинали легко, на французский манер. Мексиканской кухней можно, конечно, увлечься на короткое время, но наступает момент, когда хочется чего-то, что не будет бередить желудок и избавит его от ночной изжоги. Тем не менее говядина на гриле и зеленый салат, чьи целебные качества воспевают все на свете диетологи, не помогли Жюли избавиться от тошноты. Нам стало ясно, что дольше тянуть нельзя, надо показаться врачу. Ночь прошла в адском шуме завывающих моторов и оглушительных гудков. В три часа ночи, не в силах заснуть, я выглянул в окно и увидел жуткую пробку, из которой водители пытались вырваться всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Улицы Мехико запружены машинами двадцать четыре часа в сутки, и город так живет без передышки, и днем и ночью.

Больница оказалась гигантским комплексом зданий — целым городом в городе. Из отделения скорой помощи, которое осаждали толпы больных, нас отправили в консультаци-

онный центр, чья приемная напоминала зал ожидания на вокзале в часы пик. Судя по всему, здесь люди ждали своей очереди часами. Пациенты представляли собой все слои населения Мехико. Индейцы, беременные женщины, матери с детьми, старики, безрукие и безногие калеки, смуглые и белокожие сидели бок о бок в этом помещении, где неумолчный гул разговоров то и дело перебивался хлопаньем дверей и громогласными вызовами пациентов. Я решил, пока суд да дело, отыскать какую-нибудь автомастерскую, чтобы устроить нашей машине техосмотр. Жюли предложила мне оставить Люка с ней, поскольку он уже успел свести знакомство с несколькими малышами, ползавшими по полу так же, как он сам, и мы договорились встретиться в отеле.

Я вышел на улицу в тот момент, когда солнце, на миг прорвавшись сквозь завесу пыли, осветило город. Меня охватило странное чувство абсолютной свободы. Что и говорить: вот уже три месяца как мы жили в симбиозе, не расставаясь ни на минуту и даже не осознавая этого. Я зашагал по тротуару так бодро, словно вновь обрел способность двигаться; так шагают люди, которые провели долгое время в гипсе или на растяжке, и наконец, избавившись от этих пут, встают и заново учатся ходить.

Однако через несколько минут я вспомнил, что у меня есть цель — найти автосервис, остановил такси "Coccinelle" и попросил шофера отвезти меня в ближайший гараж, где чинят "фольксвагены". Я слишком плохо знал испанский, и мне пришлось объяснять ему с помощью бурной жестикуляции, что сначала я должен забрать свою машину на больничной стоянке, а уж потом поеду следом за ним в гараж.

Хозяин мастерской, которому я собирался доверить свою машину, сначала решил, что дело идет о серьезной поломке. Когда он понял, что мне нужна всего лишь обычная профилактика, его лицо прояснилось, как у доброго врача, на какой-то миг испугавшегося, что его пациент неизлечимо болен.

Через два часа я получил обратно свой трейлер, который привели в должный порядок; хозяин вручил мне счет с длинным перечнем деталей, потребовавших замены: прокладок, масляных фильтров, тормозов и прочего. В общем, машина была готова к путешествию и встретила меня как равноправный член большой автомобильной семьи.

Жюли и Люк уже вернулись в отель. Первым делом я спросил Жюли не о здоровье, а о том, брала ли она такси, какой оно было модели — "Coccinelle", не так ли? — и как это понравилось Люку. По выражению ее лица я понял, что во-

прос этот я задал некстати. Атмосфера вмиг накалилась. Даже Люк, всегда радостно встречавший меня после любой разлуки, сидел с каменным лицом. Я было ужаснулся, предчувствуя катастрофу: рак груди, вирусную инфекцию, гепатит С. "Я беременна, Мариан!" — сказала наконец Жюли, бросившись в мои объятия. Вспомнив о своем первом фиаско в той же ситуации, я поспешил, прижав ее к себе, отреагировать радостным возгласом вроде: "Какое счастье, какая замечательная новость!"

Так вот что было причиной ее злополучной тошноты: теперь мне казалось, что я это предчувствовал. Сама Жюли с первого же дня ни минуты не сомневалась в ее происхождении, просто остереглась делиться со мной этой тайной. Мы долго сидели, не произнося ни слова. И тут случилось то, что даже сегодня кажется мне чудом: Люк, который стоял, держась за колени Жюли, неожиданно оторвался от нее и сделал три или четыре шажка в мою сторону, после чего шлепнулся на пол. Люк пошел! Мы с Жюли приветствовали это событие дружными восторженными криками. Жюли схватила Люка на руки и осыпала звонкими поцелуями. Видя, как мы отнеслись к его триумфу, Люк тут же решил повторить свой подвиг и на сей раз добрался до меня, уподобившись Блерио, впервые пересекшему Ла-Манш воздушным путем[1]. Мы с Жюли расценили этот поступок как реакцию — бессознательную, конечно, — младенца, который почувствовал, что он уже не единственный ребенок на свете. Видимо, таким экстравагантным способом Люк решил напомнить, что он тоже существует, и попытался наглядно убедить нас в этом.

Мексиканский врач выписал Жюли лекарство от тошноты и настойчиво порекомендовал избегать любых излишеств и перегрузок. Когда она рассказала о наших странствиях, лицо его омрачилось. Беременной женщине никоим образом не следовало разъезжать по мексиканским дорогам, которые, за вычетом главных автострад, являли собой сплошные кочки и ухабы, а для плода они — первые враги. Он настойчиво советовал Жюли отказаться от бродячего образа жизни и как можно больше отдыхать на океанских пляжах, которыми изобиловала Мексика. В качестве примера врач назвал ей Канкун, жемчужину Юкатана на Атлантическом побережье, и Акапулько — на Тихом океане; эти курорты славились ультрасовременными гостиницами с

1. Луи Блерио (1872–1936) — французский изобретатель, авиатор и предприниматель, первый пилот, перелетевший Ла-Манш 25 июля 1909 г. и первый француз, получивший удостоверение пилота.

кондиционерами и прочими удобствами. Именно в этих райских местах он сам проводил отпуск каждое лето, чередуя океаны. "Кто знает, может быть, мы с вами встретимся там когда-нибудь? Летний отдых — единственное, что позволяет мне выживать в этом аду, где нам так мало платят!" — горестно заключил он.

Дороге от Тустепека до Оахаки следовало бы фигурировать в черном списке мексиканского врача: она была абсолютно противопоказана беременным женщинам. Сплошная череда рытвин, водомоин, пригорков и ухабов. Если не считать редких деревень, населенных индейцами в пестротканой одежде, нам почти никто не встречался. Никогда еще мы не ехали так медленно, лавируя между ямами, как правило, полными воды. За несколько часов до нашего появления здесь пронеслась гроза, и с земли поднимались влажные испарения, заволокшие всю местность туманом. Жюли зорко глядела на дорогу в открытое окно и приказывала мне тормозить всякий раз, как видела очередную подозрительную лужу; она выходила из машины и мерила палкой глубину. Судя по ее расстроенному лицу, некоторые из них были прямотаки бездонными.

Но худшее было впереди: дорога начала подниматься в гору, которая высилась прямо перед нами. Изучив карту, Жюли сообщила, что ее высота 3111 метров. "А кто нас заставляет взбираться на этот перевал?" — спросил я, желая ее успокоить, как вдруг мы с ужасом заметили машину — кажется, грузовик, — которая ползла по склону на головокружительной высоте. Неужто и мы должны одолеть такой же подъем? Увы, скоро нам пришлось ехать по этому серпантину. Машина пыхтела, как запаленная лошадь, и ползла со скоростью пешехода. Я со страхом спрашивал себя, удастся ли нам достичь спуска: крутизна склона била все мыслимые рекорды. Похоже, мексиканцы экономили на петлях дороги, предпочитая спрямлять ее; в результате, подъем шел чуть ли не по вертикали. В конце концов, бедняга "фольксваген" издал характерный скрежет — знак того, что мотор заглох. Если к автомобилю применимы человеческие мерки, я мог бы сказать, что он отдал богу душу, испустив последний вздох. Я вышел и открыл капот, в основном для проформы. Мотор был раскален, но не дымил. Может, подвело сцепление или еще что-то? Я прошелся по дороге, размышляя над проблемой, состоявшей сразу из двух факторов, механического и человеческого. Внезапно мне вспомнилось, что я член американского автомобильного клуба, который, по словам чиновника, поддерживал тесную связь со своим мексиканским со-

братом. Но как с ним связаться в этих джунглях, не имея телефона? Когда я сел в машину, Жюли плакала, держа Люка на руках, точь-в-точь скорбная мадонна с младенцем. Мы не захватили с собой никакой еды, а воды у нас было совсем немного, только на один день. Вдобавок, Жюли безумно боялась индейцев; ей чудилось, что вот-вот они выскочат из леса и ограбят нас. Ей наговорили, что в этом регионе нападения на туристов случаются сплошь да рядом. А мы были именно туристами. И путешественники в машине с нью-йоркскими номерами наверняка показались бы аборигенам желанной добычей. В общем-то, их можно понять: людям, живущим в полной нищете, Нью-Йорк кажется золотым дном. Люк решил поучаствовать в этом представлении и тоже залился слезами.

Нам ничего не оставалось, как ждать. Прошло часа два, и вдруг мы заслышали вдали рокот мотора: сверху в нашу сторону спускалась какая-то машина. Вскоре она подъехала ближе, это был небольшой грузовичок, который затормозил рядом с нами. Из кабины вышел человек, улыбнулся при виде наших печальных физиономий, открыл, не дожидаясь приглашения, капот и осмотрел мотор. Потом спросил, откуда мы едем и на каком языке говорим. "Ага, на французском! — воскликнул он. — Идите к доске!" Это были единственные слова, которые он запомнил из школьных уроков французского. Порывшись в своем багажнике, он достал сумку с инструментами, снял наш карбюратор и начал обследовать его со всех сторон, продувая отверстия. Время от времени он обращался ко мне с той же фразой "Идите к доске!", неизменно разражаясь громким хохотом. Атмосфера сразу разрядилась. Нашего спасителя звали Аугусто. Закрыв капот, он попросил меня помочь толкнуть машину ближе к склону. Мотор должен был завестись на спуске. Таким образом, нам ничего не оставалось, как ехать назад, в Тустепек. И в самом деле, о чудо, мотор тут же заурчал, и мы проехали следом за нашим благодетелем до ближайшего городского автосервиса. Там с ней еще немного повозились, после чего опростали бензобак и залили в него "супер", тогда как до сих пор мы ездили на обычном бензине. "Теперь можете смело подниматься на перевал", — сказал нам механик на прощанье.

Я поблагодарил Аугусто и попытался сунуть ему в руку несколько банкнот, которые были отвергнуты. Он проводил нас к большой красивой вилле, окруженной парком, позвонил в дверь и спросил у открывшей дамы, не разрешит ли она поставить у нее на ночь нашу машину. Дама, без лишних слов, показала нам отдаленный уголок парка, засаженный соснами, пальмами и бананами. Жюли начала хлопотать, устраивая бивуак.

Уже стемнело, когда я попросил нашего гида подвезти меня к лавке, где купил манговый сок и кое-какие припасы. Вернувшись, я увидел, что Жюли и Люк уже крепко спят в машине, наверное, переживая во сне все события этого знаменательного дня. Я и сам был измотан до предела. Вынув наш радиоприемник, я переключил его на короткие волны и поставил на крышу трейлера. Небо сверкало звездами. Именно здесь, в Тустепеке, хрипящий транзистор объявил мне о том, что президентом Франции выбран Франсуа Миттеран. Я взглянул на часы. Было 10 мая 1981 года. Мне до сих пор помнится доносившийся сквозь помехи голос Миттерана, одновременно взволнованный и уверенный; новый президент заявлял, что отныне "мы будем говорить на другом языке". В Париже царило настоящее безумие. Огромная толпа двигалась к площади Бастилии, скандируя имя Миттерана. Никогда еще, с мая 68-го года, страна не видела такого дружного народного ликования. Надежды на перемены к лучшему были так же велики, как и само событие. Впервые за все путешествие я затосковал по Европе. Как же мне хотелось шагать в этой толпе, принимать участие в этом торжественном празднестве! Я бесцеремонно растолкал Жюли. "Что... что еще стряслось?" — сонно спросила она. "Миттеран! Это Миттеран!.."

Проснувшись утром, мы пошли поздороваться с нашими хозяевами. Дама, открывшая нам дверь накануне, завтракала вместе со своим мужем. Он говорил по-английски и сказал, что приятно поражен нашим приездом в Тустепек, — это, мол, большая честь для их города. Жюли поведала ему о наших злоключениях, теперь уже смеясь над своими нелепыми страхами. "Да, страх тем и опасен, что возникает внезапно и лишает человека способности защищаться", — ответил он и добавил, что Жюли была не так уж неправа, выказывая беспокойство, особенно по поводу наших номерных знаков. Индейцы — и это вовсе не пустые россказни — готовы на все: на грабежи, насилие, похищение детей. Они живут у себя в горах в полной изоляции, действуют совершенно безнаказанно, и никто не осмеливается их трогать. В общем, если мы по-прежнему намерены ехать той же дорогой в Оаксаку, он рекомендует нам быть крайне бдительными. Жюли испепеляла меня гневными взглядами, как будто именно я населил эти непроходимые леса свирепыми аборигенами.

Наш хозяин оказался врачом, более того, хирургом. Он показал нам свою маленькую частную клинику, расположенную рядом с виллой. Медицина в Мексике находилась на пещерном уровне, и он видел только одно решение проблемы — при-

ватизацию здравоохранения, которую и осуществлял в меру своих скромных возможностей. В Европе он никогда не был, но жаждал ее увидеть. Он спросил нас, дорого ли будет стоить такое путешествие. "Разумеется, дороже, чем поездка в Мексику, — ответил я, — но цены варьируются от страны к стране". А стоит ли посетить Венецию? Жюли пустилась в лирическое описание города влюбленных, которое он прервал, желая узнать лишь одно: дорогая ли жизнь в Венеции? А в Париже? А в Барселоне? Таким образом, мы перебрали чуть ли не все европейские города, стараясь расположить их по шкале стоимости жизни. Однако Жюли поспешила заверить наших хозяев, что, если им случится посетить Брюссель, они найдут самый теплый прием в нашем доме. И перед тем как распрощаться, записала им на листке бумаги наш адрес.

Итак, мы снова, не без легкой боязни, пустились в путь. Добравшись до места нашей вчерашней аварии, я с трепетом прислушался к урчанию мотора; тем временем Жюли обводила взглядом лесные заросли, пытаясь обнаружить невидимых индейцев.

К счастью, мы добрались до вершины без всяких осложнений. От пейзажа, открывшегося сверху, у нас просто дух захватило. "Ради такой красоты стоило пострадать", — со смехом призналась мне Жюли. Люк сделал несколько шажков на расчищенной площадке, подобии паркинга, устанавливая новые рекорды — на сей раз не дальности, а высоты. Я подумал: отныне его жизнь так и будет протекать в новых свершениях, рекорд за рекордом, цепочка которых приведет его к зрелому возрасту, — нашему теперешнему, например, — после чего начнется неизбежный спуск с вершины к старческой слабости, к старческому бессилию, вплоть до того мгновения, когда тело безжизненно застынет в вечном покое. Пока что Люк находился в самом начале своего восхождения, тогда как мы с Жюли уже достигли перевала и вступили на дорогу, ведущую вниз, правда, вступили совсем недавно, не стоит слишком уж драматизировать.

Город Оахака дышал спокойствием. Дома на замощенных улицах были раскрашены во все цвета радуги. Мы разыскали, сами не зная как, Эль-Зокало[1] и долго сидели там, на кованой железной скамье, в тени аркад, окружавших эту сонную площадь с ее столетними тенистыми деревьями. Люк заснул, сидя в колясочке. Что видел он во сне — какой-нибудь фантастический мир, двери в который отворял, одну за дру-

1. Самая большая площадь в Мехико, построенная испанцами в XV в.

гой? Или ему хватало увиденных в пути пейзажей с горами и лесами, населенными индейцами? А может, он попросту встречался во сне с Пятницей?

Есть на свете города, которые не претендуют на звание туристской достопримечательности: они показывают себя скромно и бесхитростно, не кокетничая, не выпячивая свою красоту. Чтобы гулять по их улицам, не требуется гид или путеводитель, достаточно смотреть по сторонам и вверх, позволяя городу незаметно очаровать своего гостя. Оахака принадлежала к числу таких городов. Она пришлась нам по душе, мы с ней сроднились. Любой новый город рано или поздно ставит перед путешественником вопрос: хотел бы он здесь жить или нет? По этому поводу мы с Жюли всю дорогу вели бесконечные дебаты, но здесь, в Оахаке, впервые с момента отъезда наш общий ответ был: да!

Сколько же дней провели мы в Оахаке, наслаждаясь беззаботным, разлитым в воздухе покоем? Не помню точно. Мы лениво передвигались в небольшом пространстве, ограниченном двумя-тремя то ли кафе, то ли ресторанами. Перед сном мы выпивали по рюмочке мескаля — местной водки из сока агавы. Как-то раз мы поехали на плато Монте-Альбан, расположенное в нескольких километрах от города, чтобы посмотреть остатки сооружений древней цивилизации запотеков[1]. Руины были залиты солнечным светом. Центральная площадь, размером с огромный стадион, придавала всему комплексу величие, подобающее месту культа богов. А боги эти, судя по рассказам, были крайне жестокими и требовали от своих адептов кровавых жертвоприношений. Люк топал посередине, держа нас за руки. Каждые десять метров он притворялся, будто падает, чтобы мы приподняли его над землей. Землей, которая за тысячу лет до нас обагрялась потоками крови невинных жертв. Именно в этом месте Люк познакомился со ступенями, по которым спускаются и поднимаются, хотя с учетом их высоты и его росточка, он был вынужден по ним карабкаться.

Мы чувствовали, что пора снова пускаться в дорогу, не слишком ясно представляя, куда ехать, и заранее горюя о разлуке с городом, где нам жилось так сладко.

Дальнейший путь не обещал нам покоя. Сперва мы доехали до перевала на высоте 2600 метров. Несмотря на опытность нашей машины, уже побывавшей в переделках, подъем оказался очень трудным, особенно в самом конце, когда мо-

1. Древнее мексиканское родовое племя, объединившееся к 300 г. до н. э. с племенем ольмеков.

тор начал подавать признаки усталости. Этого мы с Жюли опасались больше всего на свете и со страхом прислушивались к его урчанию: так прислушиваются к дыханию больного, боясь, что после временного улучшения у него снова наступит кризис. Затем мы спустились на восемьдесят километров вниз по каменистой дороге, пересекавшей делянки, где аборигены тайно выращивали пейот — галлюциногенный кактус, чьи качества Мишо, наряду с другими любителями, проверил экспериментальным путем на своем искусстве[1]. Я уж было начал фантазировать: не столкнемся ли мы за поворотом, нос к носу, с самим Алленом Гинсбергом[2], покуривающим сигаретку, набитую этим адским зельем? Не помню точно, сколько времени занял у нас этот спуск. Но даже сегодня я все еще спрашиваю себя, каким образом наша машина, которую мы любили как родную, не развалилась на части от кошмарной тряски. Особенно мучила меня мысль о крошечном зародыше в животе Жюли, которого подвергли этому боевому крещению. Люку, когда он был в том же положении, не пришлось испытывать подобных потрясений. Жюли думала о том же. Думала всем своим существом.

Наконец мы добрались до какой-то деревушки, где уже ощущалась близость Тихого океана, а оттуда до Пуэрто-Анхель: это было маленькое селение, всего несколько соломенных хижин, разбросанных вдоль необъятного песчаного пляжа. Мы потрясенно смотрели на огромные валы, которые Тихий океан гнал от самого горизонта, с грохотом обрушивая на берег.

Мы сели за стол в одной из хижин, и хозяйка подала нам жареную рыбу, которой мы полакомились в окружении кур, свиней и целой своры собак, занятых своими делами. Позади нас высились кокосовые пальмы — напоминание о том, что мы находимся в тропиках. Несколько женщин лениво прохаживались взад-вперед; вообще казалось, что жизнь на этом пляже течет с замедленной скоростью. Гамаки, натянутые повсюду между деревьями, свидетельствовали о том, что ни одно дело в мире не стоит спешки. Я смотрел на Люка, за которым бегали две курицы, рядом по песку брели три коровы и важно ходила утка, а следом за ней пара собак. Три свиньи подошли к океану, одна из них погрузилась в воду и чуть не утонула в бешено хлещущих волнах.

Высоченные валы шумно разбивались о берег, образуя кипящие водовороты, и откатывались назад, сметая все на своем

1. Анри Мишо (1899–1984) — французский поэт и художник.
2. Ирвин Аллен Гинсберг (1926–1997) — американский поэт, основатель битничества.

пути. Местные жители предупредили нас, что море в этих местах очень опасно: неосторожные купальщики иногда тонут, унесенные подводным течением; немногие из них возвращаются назад еле живыми после долгой, не на жизнь, а на смерть, борьбы с океаном. Попав в такое течение, ни в коем случае нельзя плыть против него, а только наискосок, это дает хоть какой-то шанс выбраться на берег, пусть и из последних сил. Жюли сообщила мне мрачное название этого пляжа — playa de los Muertos[1] — и категорически запретила лезть в воду. Я нарушил этот запрет один-единственный раз, и очередная волна, обрушившись на меня, вырвала и унесла футболку, которую я держал в руке. Кстати, тут мы не увидели ни одного американского туриста из тех, что встречали в других местах, где они разъезжали на машинах с гигантскими прицепами-трейлерами.

Дни текли на пляже Анхель так неспешно, будто время замедлило свой бег и растаяло в хрустально-чистом воздухе. Они уже не воспринимались как даты в календаре, а, напротив, слились в одну неопределенную длительность, тяготеющую к бесконечности и размеченную только рокочущими вздохами океанского прибоя. Даже ночь, и та не уступала дневному сиянию, щедро украшая темный небосвод сверкающими созвездиями. Каждый вечер, лежа на песке, мы неустанно любовались ими, хотя точно определить, где какое, на этих тропических широтах было нелегко: здесь, под тропиком Рака, все они как-то сплющились, став почти неузнаваемыми; даже Большая Медведица выглядела совсем плоской. Только Полярная звезда, висевшая теперь над самым горизонтом, осталась верна своему долгу и по-прежнему указывала нам на север.

Покинуть этот рай было выше наших сил, это значило пойти против природы. Вообще, с тех пор как мы путешествовали по Мексике, каждый отъезд просто надрывал нам сердце. Наша грусть объяснялась еще и сознанием, что эти места недолго останутся девственными. Скоро здесь, как и повсюду, зарычат бульдозеры и экскаваторы, сметая с лица земли этот оазис, на месте которого возникнут асфальтовые шоссе, отели, бунгало, клубы путешествий и, в довершение всего, аэропорт с его десятками и сотнями чартеров. И турагентства начнут продавать "экзотические путешествия по системе 'все включено'", с незабываемыми морскими видами". А куры, свиньи и коровы будут сосланы куда-нибудь подальше, на задворки, вместе с их владельцами.

1. Пляж Мертвецов (*исп.*).

В день отъезда мы бросили последний тоскливый взгляд на этот бескрайний пляж; мы знали, что никогда больше не вернемся сюда.

Жюли выдвинула довольно нелепое предложение — ехать вдоль Тихого океана вплоть до Акапулько. Акапулько? Этот город казался мне полной противоположностью того, чем мы наслаждались в Пуэрто-Анхель. Я представил себе бухту с бетонными набережными и толпы янки, ведущих себя как полноправные хозяева. "Может, ты и прав, — ответила Жюли, — но почему бы нам самим в этом не убедиться?"

Итак, мы взяли курс на Акапулько. К вечеру мы остановились в Пуэрто-Эскондидо — местечке, облюбованном серферами. На закате все они шли, с досками под мышкой, к океану, полные решимости сразиться с ним на равных. Сначала они плыли под водой, ловя волну, затем взмывали на ее пенистом гребне, на головокружительной высоте, и неслись к берегу, чтобы нырнуть вглубь за миг до того, как она разобьется о берег. Мы с замиранием сердца следили за этой битвой гигантов, развернувшейся на море. Люк, изумленно разинув рот, указывал пальчиком на горизонт, словно обнаружил на своем жизненном пути, после собак, лошадей, свиней и коров, новую разновидность существ, которые умели скользить по воде; решительно, мир был богат самыми разнообразными созданиями.

В Акапулько жизнь организована так, что деньги утекают как вода. Кроме того, она подбросила нам неприятнейший сюрприз: в наш трейлер наведались воры. Они взломали дверь и все перевернули вверх дном. К счастью, мы не возили с собой наличных денег, и грабители мало чем поживились. Округ Легерреро, столицей которого является Акапулько, — один из самых бедных в Мексике. Вполне понятно, что местные жители, лишенные всех земных благ, посягают на имущество туристов, швыряющих деньги направо и налево. Таково, по крайней мере, было мнение Жюли. Мы стали молча складывать разбросанные вещи, мысленно составляя печальный список похищенного. Но когда я с ужасом обнаружил пропажу новых ботиночек Люка, так любовно выбранных в Мехико, то решил, что это уже слишком и нужно срочно убираться из этого вертепа. Что мы и сделали, пустившись в путь еще засветло.

В самом факте путешествия с юга на север нет ровно ничего возвышенного, если, конечно, речь не идет о том, чтобы достичь северного полюса и водрузить там свое личное знамя. Мы себе такой цели не ставили. Нам и так предстоял долгий путь — несколько тысяч километров, притом что мы ползли со скоростью верблюжьего каравана, не быстрее. По прошествии вре-

мени мы полюбили нашу машину как члена семьи, более того, она стала для нас подобием матери. Мы путешествовали в ее чреве. Ели в ней, спали в ней, двигались вперед вместе с ней. Если она недомогала, нам тоже становилось плохо — это доказал печальный опыт аварии на дороге в Оахаку.

Люк не представлял себе другого дома. Каждый вечер я помогал ему взобраться в его "гнездышко", затевая игру в "трудное восхождение". Он рос и менялся день ото дня, и я с восторгом наблюдал за этой метаморфозой.

Я рассказывал ему историю, чей смысл он смутно угадывал по своим словам-фетишам: собака, лошадь, дом, мама, папа... Иногда он засыпал, не дослушав ее. Но разве это важно — узнать конец, ведь истории никогда не кончаются.

Люк стал ребенком-кочевником. Он считал наши постоянные переезды самым что ни на есть нормальным образом жизни. Когда мы становились где-нибудь лагерем, он знал, что это временная передышка. Жизнь для него означала странствие с одного места на другое, с перерывом на ночлег. Такими же кочевниками он считал всех людей и животных, которые встречались нам по пути. Их появление было отмечено печатью мимолетности, взять хотя бы встречу с Пятницей.

Мы расстались с Тихим океаном, решив подняться выше, на плато, где температура была более милосердна к путникам, особенно в ночное время. Наш маршрут пролегал мимо городов Толука, Морелья и Гвадалахара. Но мы больше нигде не останавливались надолго, разве только на берегу случайно встреченного озерца или реки, где можно было насладиться прохладой. Затем мы снова выехали на Тихоокеанское побережье в районе города Масатлан, расположенного под тропиком Рака; там мы планировали сесть на паром и перебраться через Калифорнийскую бухту к южной оконечности узкого полуострова, уходящего длинной косой далеко в море. Мы собирались пересечь эту пустынную, обдуваемую ветрами землю, чтобы добраться до Сан-Диего, пограничного калифорнийского города. Однако этого парома пришлось ждать два или три дня, пока нам не объявили, что его ремонтируют после аварий, случившихся во время последних рейсов.

Мы знали, что столкнемся в пути со страшным иссушающим зноем, и помнили, что в нашем трейлере нет кондиционера. Ехать по Мексиканской пустыне, где температура не опускается ниже сорока пяти градусов, без кондиционера, да еще с ребенком, — это же чистейшее безумие, сказали нам в Масатлане. Верно, жара обязывает, и мы изменили свой образ жизни, вставая теперь на рассвете, чтобы выезжать до наступления первых по-настоящему жарких утренних часов.

Мы по-прежнему держались океанского берега, благословляя редкие дуновения морского бриза, хоть чуточку освежавшего горячий воздух.

В Гуаймасе мы временно расстались с мексиканским побережьем, помахав на прощанье Тихому океану, который так долго радовал нас, и надеясь снова увидеть его в Калифорнии. Пустыня — это, по определению, выжженная, добела раскаленная солнцем местность. И мексиканская пустыня вполне соответствовала данному описанию. Мы знали, что она тянется, пренебрегая политическими границами, до самой Аризоны. Теперь мы ехали только три часа в день, с пяти до восьми утра. После чего устраивали привал в жидкой тени какого-нибудь колючего кактуса или рахитичного деревца. В Эрмосильо мы чуть не испеклись живьем. Люк много спал, Жюли каждые полчаса смачивала ему водой лицо или обтирала мокрой губкой. Он был так измучен жарой, что почти перестал говорить.

Наконец, мы, умирая от жажды, подъехали к Ногалесу, городку на границе Мексики и Америки; предыдущий печальный опыт общения с таможенниками заставлял нас опасаться самого худшего. К счастью, в тот момент американские пограничники намертво приклеились к телевизору: шла повторная трансляция футбольного матча, чей результат, судя по их воплям, был вопросом жизни и смерти. Кроме документов, они обследовали наш холодильник, который мы предусмотрительно опустошили заранее, помня, что никаким иностранным продуктам нет доступа на американскую территорию. Наблюдая за таможенниками, куда более снисходительными, чем их мексиканские коллеги, я подумал: эти наверняка оставили бы нам Пятницу, с документами или без них. От чего зависит жизнь собаки?! И вообще, от чего зависит любая жизнь?!

Жюли не терпелось попасть в какой-нибудь национальный парк, и она спросила у пограничников, есть ли здесь поблизости что-нибудь в этом роде. "Ну как же, конечно, есть — национальный парк Сагуаро, возле Тусона, — ответили ей, — примерно в шестидесяти милях отсюда". Итак, мы опять сменили километры на мили. А заодно снова услышали американскую речь. Зато пейзаж не изменился — каменистая пустыня Сонара тянулась до самого горизонта. Жюли сложила карту Мексики и достала американскую.

Мы, конечно, не надеялись найти в парке Сагуаро тень. Кактусы-канделябры ее почти не дают, а национальный парк был засажен исключительно ими. При виде этого пейзажа нас одолел дикий хохот, не очень-то уместный в восемь тридцать

утра. Мы словно очутились в декорациях какого-то пошлого вестерна или в альбоме про Счастливчика Лаки[1]. В этом месте, ничуть не походившем на лагерную стоянку, мы оказались единственными посетителями. И поняли причину, когда взошедшее солнце начало сжигать все вокруг. Тогда мы укрылись в здешнем музее флоры и фауны, который обошли очень быстро, поскольку вся флора сводилась к кактусам, разнообразным, конечно, но одинаково колючим. Фауну же представляли несколько тарантулов и грызунов, которых в этой каменистой местности было крайне мало. Одни только змеи с экзотическими названиями rattlesnake, diamondsnake и kingsnake[2] свидетельствовали о том, что жизнь существует даже в бесплодных пустынях в виде этих ползучих тварей. Хотя смотреть было больше не на что, мы провели в этом музее целый день, ни на шаг не отходя от кондиционеров.

Вечером мы устроили себе душ из поливочного шланга. Вода, конечно, была теплая, как и всё, что таилось под раскаленными камнями. Мы обливались ею все втроем, такие одинокие, затерянные в этом чуждом мире, под бесстрастными взглядами кактусов-канделябров.

Во всем этом национальном парке, кроме нас, не было ни души, и неудивительно: здесь не требовалась армия садовников — кактусы вполне обходились без них. Впрочем, остальные служащие тоже дезертировали с рабочих мест, словно им грозила вселенская катастрофа. У входа в парк висел самодельный плакат, извещавший посетителей, что за однодневную стоянку нужно заплатить один доллар: просьба положить деньги в конверт и сунуть его в почтовый ящик. Так мы и сделали перед отъездом, охотно добавив свою лепту к здешней "сокровищнице". Было пять часов утра, и восходящее солнце уже рисовало у подножия канделябров длиннющие тени, прямые и изогнутые, которые причудливо переплетались на голых камнях.

Большой Каньон в Колорадо представляет в природе такой же феномен, как Венеция для цивилизации. О Венеции давно уже все сказано. И о Колорадо тоже давно все сказано. Они постоянно мелькают и в фильмах, и в глянцевых журналах. Они служат декорацией для рекламы автомобилей и де-

1. Имеется в виду Одинокий Ковбой, герой серии комиксов из 76 альбомов, начатой в 1946 г. бельгийским сценаристом и рисовальщиком Морисом де Бевером (1923–2001). В одном из альбомов действие происходит в Техасе, среди пустыни.
2. Гремучая змея, ромбический питон, королевская змея (*англ.*).

филе высокой моды, одинаково пошлой. Однако стоит вам попасть в город Дожей и увидеть Большой канал, кварталы Джудекки, набережные Фондамента Нуове, как вы приходите в экстаз и любуетесь ими со слезами на глазах, задыхаясь от избытка красоты. То же самое вы испытываете, попадая на вершины Колорадо. Вы смотрите — и не верите своим глазам. Но здесь вы переживаете эмоции совсем иного рода, ибо Большой Каньон ни в коей мере не обязан своей красотой человеку. Так и чудится, что здешняя природа открывает перед вами свой предел, как будто земля в этом месте закончилась, расколовшись надвое, а над этой бездной простирается лишь такая же бездонная небесная пустота.

В красоте Колорадо есть некая безмерность, заставляющая поверить в существование Бога. Ибо это грандиозное зрелище, в силу своего величия превосходящее понимание, просто обязано иметь Создателя. Сколько обращений к вере произошло на краю этой пропасти? Думаю, ничего подобного нельзя сказать о Венеции, обязанной своим существованием человеку, хотя ее церкви возводились во славу Божию. В Венеции ваш трепет порожден боязнью, что эти дворцы, стоящие на воде, могут быть ею же поглощены. На краю Большого Каньона вас охватывает иной страх: вы чувствуете, что ваш путь подошел здесь к концу, и возврата не будет.

Едва выйдя из машины, я тоже ощутил этот страх. Я шел вдоль парапета, ограждающего людей от намерения уподобиться Икару, глядя вниз и не веря своим глазам, вконец ошеломленный, утративший способность к рассуждениям и дар речи. Но разве нужны слова там, где сказать нечего?! Какой эфемерной, смехотворно мелкой казалась человеческая жизнь перед лицом того, что должно было пережить нас на миллионы лет! Жюли, потрясенная не меньше, чем я, оторопело поглядывала на меня. А Люк, точно астронавт, высадившийся на Марс, поджидал на краю пропасти этой новой планеты, возникшей из небытия, появления новых существ, ее населяющих. Да и сам я, признаться, был в таком состоянии, что ничуть не удивился бы, увидев, как из трещины в скале выползают обитатели внеземной цивилизации, какие-нибудь чудища с мигающими лампочками вместо глаз, во множестве фигурирующие в научно-фантастических романах и фильмах.

Мы и мечтать не смели об остановке на фоне такого пейзажа. Обустроившись, мы снова застыли на месте все трое, вместе с зачарованным Люком, глядя, как под лучами заходящего солнца скалы меняют свой цвет от светло-охряного до темно-коричневого. Когда дневное светило исчезло за гор-

ными пиками, гигантским провалом завладели огромные тени, постепенно окутавшие его непроницаемой тьмой.

Нам не составило труда проснуться в пять часов утра: мы давно уже привыкли выезжать затемно, до наступления беспощадного зноя. Однако на этот раз мы встали рано с другой целью — увидеть восход солнца, полюбоваться игрой света на этих скалах. Все происходило очень медленно: сначала первые сполохи зари окрасили утесы в темные цвета — сочетание пурпурного, фиолетового и индиго. Трудно подобрать точное название этим оттенкам, настолько незаметно они менялись, скользя по стенам обрыва и не задерживаясь ни на миг. Когда же над гребнями каньона взошло солнце, их сменила целая симфония коричневых, потом желтых и красных тонов, властно изгнав на дно пропасти темные краски, неуловимые, как тени.

Мы поняли, что оставаться в этих волшебных местах больше двух-трех дней опасно: такой пейзаж мог навсегда отбить вкус к возвращению на обычную землю. Поэтому мы решили ехать дальше, поднявшись вверх по реке Колорадо до озера Пауэлл, что на границе со штатом Юта.

Направляясь к западу, мы увидели город, возникший перед нами подобно миражу. Поначалу при взгляде на Лас-Вегас трудно поверить, что это творение человеческих рук. Но потом приходит в голову, что он представляет собой квинтэссенцию людской фантазии, словно перед тем, как исчезнуть с лица земли, люди создали из всех компонентов своей цивилизации этот последний символ урбанизма, воплотив в нем характерные свойства человечества — манию величия, страсть к игре и наживе. И чудится, что, когда человека вычеркнут из списка обитателей планеты, Лас-Вегас будет по-прежнему сверкать всеми своими огнями и звенеть монетами своих "одноруких бандитов".

Измученные жарой, мы с вожделением мечтали о прохладных номерах с кондиционерами в отелях-казино, сплошной вереницей тянущихся вдоль Стрип-бульвара. Один из них, "Circus Circus", действительно имел форму цирка. Мы с трудом нашли стойку портье среди игровых автоматов. Нам предоставили номер 2776. Всего в отеле их было три тысячи. Город в городе. За несколько десятков долларов здесь можно было вступить в брак даже среди ночи, обвенчавшись в wedding chapel[1]. Жюли ужасно этого хотелось: "Почему бы и нет? Это займет всего несколько минут!" В игровом зале с высоким, как в шапито, потолком кипела лихорадочная деятельность; крупье в идеально сидящих

1. Часовня для бракосочетаний (*англ.*).

фраках руководили игрой на манер свадебных распорядителей, пуская в ход колесо рулетки, раскладывая фишки на игровом поле, а потом сметая их в кучку одним движением руки, чтобы стереть бесследно, как мел с доски, воспоминание о законченной партии перед тем, как начать новую. Тишина была насыщена вздохами и шепотком, которыми крупье управляли взмахами руки точно дирижер оркестром.

И тут я обнаружил исчезновение Жюли. Куда же она подевалась — может, поднялась в номер, чтобы отдохнуть? Напрасно я искал ее глазами, осмелившись даже подойти к игровым столам. Никого похожего на Жюли там не было. Я взял Люка за руку, и мы уже направились к лифтам, как вдруг я увидел Жюли, которая во всю орудовала рукояткой игрового автомата. Она так увлеклась игрой, что даже не заметила нас с Люком; впившись глазами в бегущие картинки на экране автомата, она ловко, как завсегдатай игорного дома, совала правой рукой в щель двадцатипятицентовые монетки. И вздрогнула от неожиданности, когда Люк бросился к ней, громко дав понять о своем желании принять участие в этом развлечении. Жюли с сияющим видом обернулась ко мне и гордо продемонстрировала свою сумку, полную монет. "Гляди, сколько я выиграла! Если так пойдет и дальше, здесь можно будет прожить бесплатно!" И в этот момент, как бы подтверждая ее слова, автомат с грохотом высыпал наружу целую кучу мелочи.

Нам захотелось есть, и мы пошли в ресторан казино — гигантский зал с самообслуживанием, где можно было вдоволь набрать себе чего угодно: овощей, мяса, колбас, пасты, риса, салатов и винегретов, майонеза и кетчупа, сыров, фруктов и пирожных, мороженого и крема "шантийи", и посетители этим широко пользовались. На стене висел плакат с призывом к клиентам: "Набирайте себе, сколько хотите, но ничего не оставляйте на тарелках, *пожалуйста*!" Я думаю, одна только служба утилизации отходов в этом казино представляла собой настоящий завод и требовала целой армии уборщиков. Мы безропотно встали в длинную очередь, толкая перед собой переполненные подносы. Жюли изумленно поглядывала на меня, словно спрашивая, откуда свалилось все это изобилие: никогда еще мы не встречали столь плодородной пустыни, способной накормить до отвала огромные стада тучных голодающих. Она гордо вытащила из сумки пригоршню выигранных "четвертаков" и заплатила ими за еду. Кассирша кипела от ярости, пересчитывая монетки.

Волосы Люка начали завиваться золотыми колечками, как у херувимов с картин эпохи барокко. Наш Люк... Сидя в своем

креслице на заднем сиденье машины, он весело щебетал, когда на заре мы выезжали из отеля, снова пускаясь в дорогу через пустыню. Мы с Жюли дивились этому неумолчному лепету, похожему на журчание ручейка, бегущего по камушкам. Люк изобретал для нас особый интонационный язык, который заполнял тишину, как заполняют ее репортеры в ожидании события, заставляющего себя ждать. "Вас приветствует радио 'Люк', сейчас мы расскажем вам о мире, хотя пока смотреть особенно не на что!" Люк оживлял пустыню одним лишь своим присутствием. И этого нам было достаточно, чтобы чувствовать себя абсолютно счастливыми.

Мы свернули с хайвэя № 95 на узкую дорогу, которая спускалась к югу. Пейзаж менялся на глазах: каменная россыпь постепенно становилась охряно-желтой, а вдали вставали утесы причудливых очертаний. Мы пересекали границу, разделяющую Неваду и Калифорнию. Вскоре дорожный указатель известил нас о том, что мы въезжаем в Долину Смерти. Это было грандиозное зрелище: красные, искрошенные ветром скалы вполне сгодились бы для натурных съемок вестерна, правда, без ковбоев с мустангами. Мы и впрямь не встретили здесь ни души.

Хотя не было еще и девяти утра, жара уже навалилась на нас всерьез. Я боялся останавливать машину: вдруг мне потом не удастся ее завести, и мы застрянем на месте, под беспощадно палящим солнцем. Люк давно уже спал, и мы едва слышали его тихое, прерывистое дыхание. Жюли то и дело вытирала лицо мокрой салфеткой. Я чувствовал, что ее мучит страх. Сам я пытался сохранять внешнее спокойствие, особенно, когда она меня спросила, откуда взялось это название, Долина Смерти. "Не знаю, — ответил я, — может, здесь просто меньше живых, чем в других местах". И в самом деле, если не считать двух-трех грузовиков, нам больше так никто и не встретился.

Мы оба вздохнули с облегчением, когда после двух часов езды, показавшихся вечностью, увидели щит, почти обесцвеченный солнцем и ветрами и гласивший: "Thank you for your visit!"[1]. Значит, мы, посетители, покидали (да еще как охотно!) Долину Смерти, вызывавшую столь незабываемые ощущения. Жюли тотчас приободрилась, а Люк возобновил свой журчащий монолог так, словно и не прерывал его. Его тоже мучила жажда. Впереди показалась кое-какая зелень, вначале робко произраставшая в виде колючего кустарника. Затем по сторонам дороги гордо выстроились пальмы, и тут

1. Благодарим вас за посещение (*англ.*).

мы сделали остановку, чтобы насладиться их тенью, как даром небесным.

Большие города дают о себе знать еще издали. Их можно распознать по густому облаку пыли, нависшему над домами. Лос-Анджелес не отступал от общего правила. Хайвэй № 15 расширился, разделился на множество полос, ведущих к развязкам, которые представляли собой какую-то сумасшедшую круговерть дорог под разными номерами, вливающихся затем в другие автострады, и все машины, прибывшие с севера, с юга, с востока, мчались по ним к этому гигантскому мегаполису. В отличие от Парижа, Рима или Нью-Йорка, Лос-Анджелес не пользуется популярностью у туристов. Его переплетения дорог служат лишь для того, чтобы ездить на работу, домой с работы и к местам развлечений. Человек без машины здесь нонсенс. Ходить пешком — безумие. Пешеход рискует угодить в тюрьму или в сумасшедший дом. Копы на своих машинах с мигалками наверняка загребут его, как загребают на улицах пьяных после ночной попойки. Если уподобить города родинкам на лице планеты, то Лос-Анджелес можно назвать шрамом.

Совершенно потеряв голову, мы метались по главным хайвэям, как шарик по полю флиппера. И когда, наконец, вдали блеснула спасительная синева океана, решили больше не упускать его из виду и, насколько возможно, держаться побережья, направляясь к северу. Нам хотелось только одного — поскорей выбраться из этого города. Конечно, потом мы будем жалеть, что не посетили его пестрые кварталы, населенные неграми и мексиканцами, которые, похоже, не скучают ни днем ни ночью. Но сейчас этот визит был нам не под силу.

— Я слышала, будто здешние жители запросто проезжают двадцать километров и больше, чтобы купить газету, — сказала Жюли; поистине, ей нет равных в искусстве разряжать атмосферу.

— Ах, вот откуда на шоссе столько машин! Если все эти водители едут за своими газетами, тираж "Los Angeles Post" должен побить все мировые рекорды. А, кстати, не купить ли и нам какую-нибудь газетку? Мы так давно их не читали!

И мы остановились, чтобы заправить машину и сделать покупки. У них было вино в свободной продаже — да здравствует Калифорния! Выйдя из супермаркета, я бегло просмотрел местную газету. На первой странице сиял улыбкой Джон Макинрой, который выиграл в тяжкой борьбе Уимблдонский турнир, положив конец безраздельному чемпионству Бьёрна, всегда мастерски отбивавшего мяч с задней линии корта, тогда как его противник, наоборот, не знал себе

равных в игре у сетки[1]. На пятой странице некий журналист злобно критиковал правительство Моруа, назначенного Франсуа Миттераном (в его состав входили теперь четыре министра-коммуниста, в том числе министр транспорта) и сулил стране всяческие беды. По его словам, президент "впустил волка в овчарню", и теперь дни Атлантического альянса сочтены. Если уж коммунисту поручено решать транспортные проблемы НАТО, противостоящего силам Варшавского договора, писал он, значит, мир перевернулся с ног на голову. Госсекретарь США вызвал к себе посла Франции, чтобы выразить ему "крайнюю озабоченность этой ситуацией".

Солнце уже садилось, но нам не хватило духу забираться на холм Беверли-Хиллз в поисках гипотетического бульвара Сансет. На северо-западе города мы обнаружили стоянку возле пляжа и расположились там. Супружеская пара, оказавшаяся по соседству, подошла к нам поздороваться и задать традиционные вопросы: "Откуда вы? Куда едете? Сколько бензина потребляет ваш трейлер?" По правде говоря, мы и сами этого не знали. Поэтому я брякнул первое, что пришло в голову: "Twenty miles a gallon"[2]. Так мы научились считать в Америке. Похоже, мой ответ их удовлетворил.

Мы были вконец вымотаны. Жюли, доселе державшаяся молодцом, совсем обессилела и молча отправилась спать.

Я взял на руки Люка и подошел к океану. Уже совсем стемнело. В море на рейде стояло грузовое судно, вдали сиял огнями город, отражаясь в воде. Люк, убаюканный мерным рокотом волн, разбивавшихся о берег, заснул, уронив головенку мне на плечо. Я чувствовал, что его крошечный мозг отдыхает наконец после тяжких испытаний нашего переезда. Как он справлялся с огромной массой новых впечатлений? И удастся ли всем этим пустыням и океанам найти свое место в дальних закоулках его памяти, избежав забвения в напластованиях времени?

Шоссе № 1, которое тянется от Лос-Анджелеса до Сан-Франциско, было вполне достойно этой почетной цифры. Если допустить, что номера калифорнийских дорог распределяются от запада к востоку, то номер первый идеально соответствовал этой узкой асфальтовой ленте, вьющейся по са-

1. Джон Патрик Макинрой-младший (р. 1959) — американский профессиональный теннисист, одержавший победу в 1981 г. над первой ракеткой мира шведом Боргом Бьёрном (р. 1956).
2. Один галлон на двадцать миль (*англ.*).

мому краю континента. Вокруг не было ничего, кроме скал, пляжей и океана. После прямого шоссе, нацеленного в горизонт, как стрела, мы петляли по извилистой дороге туда-сюда, то вверх, то вниз, тормозя на слишком крутых виражах, благо мотор наконец слегка ожил. Мы ехали с опущенными стеклами и, приближаясь к морю, с наслаждением вдыхали полной грудью соленый воздух. Жюли слегка порозовела. Люк вертел головой, обозревая пейзаж, менявшийся на каждом повороте.

Торопиться нам было некуда, и мы неспешно катили по шоссе № 1, любуясь мирными пейзажами. Однако нам не терпелось увидеть Надин и Жоржа, у которых мы должны были остановиться в Сан-Франциско. Особенно хотелось пожить в нормальном доме, с настоящей спальней, настоящей кроватью, настоящей ванной и туалетом — словом, со всеми удобствами. Мы рассчитывали пробыть у них несколько дней. Жюли только об этом и мечтала, и мне с большим трудом удалось уговорить ее заехать в долину Биг-Сур[1], куда мы попали после того, как буквально вскарабкались на вершину скалы, круто обрывавшейся в море. Место отличалось своеобразной, дикой красотой, в которую вносили свою лепту океан, утесы и растительность — хвойные деревья и заросли можжевельника. Все это великолепие обволакивал мягкий сумеречный свет. Люди приезжали издалека, чтобы обрести новые силы в этом месте, где все располагает к медитации, где "все струится и мерцает", как говорил Генри Миллер, который избрал его своим приютом, чтобы спастись от мира, бьющегося в конвульсиях, и умереть спокойно. В жизни любого человека рано или поздно наступает такой момент, когда он, устав таскать свое бренное тело из города в город, по дорогам, ведущим в никуда, решает "бросить якорь" в каком-нибудь тихом уголке, чтобы окончить там свои дни. Некоторые млекопитающие именно так и поступают. Вот и Генри Миллер, этот угрюмый медведь, устроил себе берлогу в Биг-Суре. У меня и Жюли была уйма времени в запасе, чтобы подыскать себе окончательную стоянку после выхода на пенсию. А до этого в нашей семье еще много чего произойдет. Я уж не говорю о Люке: у него-то все было предельно просто — целая жизнь впереди.

Перед нами простирался необъятный пляж, усеянный галькой и обломками скал. Подойти к океану можно было,

1. Место, где жил в старости знаменитый американский писатель Генри Миллер (1891–1980).

только преодолев полосу этих каменных препятствий. Люк с удовольствием перелезал через валуны, огибая их только тогда, когда иной вариант был невозможен. Нужно сказать, что прямые маршруты пока что не очень ему удавались. Мы покинули пустыню, но и здесь, на пляже, тянувшемся между скалами и морем, снова очутились в полном одиночестве. Подойдя к пенной полосе прибоя, я забросил в воду несколько камешков, которые она поглотила с гулким плеском. Люк попытался сделать то же самое, но его камешки падали не дальше границы собственной тени. Нужно будет попозже научить его "пускать блинчики" по воде, лишь бы море было спокойно.

В Биг-Суре мы обнаружили телефонную кабинку, судя по ее виду, пострадавшую в беспощадной борьбе человека с природой. Мы с трудом открыли дверь, густо обвитую ползучей зеленью, втиснулись туда все втроем, и я позвонил Надин и Жоржу, чтобы сообщить о нашем скором набеге. Жюли сгорала от желания перемолвиться с Надин хоть несколькими словами на французском языке, которым она теперь пользовалась только в тесном семейном кругу. Но хозяев дома не оказалось, и мы записали на автоответчик свое послание, сказав, что нам не терпится увидеть их после долгих странствий. Жюли не могла скрыть беспокойства, упрекая себя, да и меня тоже, в легкомыслии. Вот уже три месяца, как мы не давали о себе знать нашим друзьям. Откуда же им было знать, что завтра мы собираемся заявиться к ним в гости с букетом цветов? "Привет, дорогие друзья, ах, какой приятный сюрприз!" Может быть, они уехали куда-нибудь в отпуск? А может, и вовсе собрали вещички и вернулись в Бельгию? Нет, сказал я, в этом случае они не оставили бы включенный автоответчик с просьбой наговаривать на него сообщения.

У Жюли опять начались подозрительные боли, и она мечтала лишь об одном — как можно дольше пожить в обыкновенном просторном доме. Теснота в нашем трейлере, каким бы уютным мы ни находили его в начале путешествия, стала нас тяготить, особенно по утрам и вечерам, когда приходилось вытаскивать и втаскивать назад вещи, чтобы превратить кухонный уголок в спальню или наоборот. Свободно ходить по дому из комнаты в комнату, принимать ванну, развешивать свои вещи в нормальном шкафу, подальше от кастрюль, — вот чего ей безумно хотелось. Желания иногда бывают настолько просты, что их даже сложно сформулировать, и Жюли с трудом подыскивала слова для обозначения самых элементарных вещей: кухня, спальня, ванная. Более того, она со смешком призналась мне, что готова смотреть всякие идиотские телепередачи: теперь ей ужасно не хвата-

ло сериалов вроде "Далласа" или "Спасатели Малибу". Она испытывала странное чувство оторванности от цивилизованного мира. Пустыни с их палящим зноем, которые мы пересекли на своей машине, прочно изолировали нас от остального человечества. Жюли даже боялась за Люка: не будет ли он впоследствии страдать от психических нарушений из-за того, что сейчас круглые сутки, день за днем, общается только с мамой и папой?

Я собрал деревянные обломки, выброшенные океаном на берег, развел костер и зажарил на огне свиные отбивные. Затем мы с Жюли расстелили одеяло прямо на песке и улеглись на него. Воздух еще хранил дневной жар, хотя уже стемнело. На небесном своде засияли созвездия, вернувшие себе знакомую конфигурацию. Звезды уже не были так скучены, они словно бы раздвинулись и наконец-то вздохнули с облегчением, как и Жюли, избавившись от тесноты.

Нам не составило труда найти дом Надин и Жоржа. Мы подъехали к нему в конце дня, после того как одолели множество крутых спусков и подъемов улиц Сан-Франциско. Люк хлопал в ладоши всякий раз, как машина стремглав катила вниз под горку или взмывала вверх, как на саночной трассе. Этот город в кольце воды, с его разноцветными домами, трамваями и почти европейской атмосферой, сразу понравился нам. Мне повезло — я припарковался как раз перед стоявшим на взгорке домом № 127, нашей желанной целью. Мы вышли из машины, с тревогой глядя на глухо закрытые ставни и уже предчувствуя, что хозяев дома нет. Что ж, если это подтвердится, мы поживем несколько дней в отеле, ожидая их возвращения. К створке входной двери был пришпилен конверт с нашей фамилией. Интересно, давно ли он тут висит? Чернила слегка выцвели, правда, в местном климате на это не требовалось много времени.

Хотя мы ничего не сообщали о себе Надин и Жоржу, они нас не забыли. Вот что значит настоящая дружба! Они писали, что уехали отдыхать в Йосемитский национальный парк, а ключи оставили у соседей. "Располагайтесь и чувствуйте себя как дома!" — этими словами заканчивалось их послание, к которому был приложен план их стоянки в национальном парке, на тот случай, если мы захотим их там навестить. Парк находился в ста восьмидесяти милях от Сан-Франциско.

Соседи — супружеская пара по фамилии Дрюмон — отдали нам ключи, пожелав приятно провести время. Комплект был куда менее внушительным, чем связка от нью-йоркской квартиры: всего пара вполне банальных ключей фирмы "Yale". Об-

наружив на улице наш желтый фургон, они пришли в умиление, словно увидели перед собой игрушечный автомобильчик, заглянули внутрь и выразили желание осмотреть все досконально. Жюли обещала им провести эту "экскурсию", как только мы устроимся. Господин Дрюмон проверил, хорошо ли я закрепил ручной тормоз, сказав, что если наша "игрушка" скатится вниз по склону, то даст он за нее недорого.

Бывают дома, чей внешний вид не позволяет угадать размеры их внутренних помещений. Переступив порог, мы оказались в огромной комнате, обшитой деревянными панелями, высотой в два этажа и с галереей, идущей по всему ее периметру. Когда мы распахнули ставни, из окон открылся потрясающий вид на бухту. Жюли обследовала другие комнаты и стенные шкафы, то и дело восхищенно вскрикивая, как ребенок при виде новогодней елки. "Ну что ж, — сказала она наконец, падая в глубокое кресло, — мы, кажется, не напрасно проехали тысячи километров, раз очутились в таком волшебном месте; оно того стоило!"

Мы перенесли свой багаж в дом с помощью Дрюмонов, которым доставили большое удовольствие, позволив осмотреть наше жилище на колесах. Жюли не пожалела времени, чтобы продемонстрировать им весь интерьер: раковину, газовую плиту, раскладную кровать и гнездышко Люка под крышей. "Мы о таком мечтали всю свою жизнь!" — признались они, добавив, что так и не смогли осуществить эту мечту.

— Ну ничего, еще не вечер! — утешила их Жюли напоследок.

Вечером, ужиная пастой и баклажанами, найденными в хозяйском холодильнике, мы с вожделением думали только об одном — как прекрасно выспимся на широкой кровати, ожидавшей нас в спальне. Мы совсем выбились из сил. И вот именно в этот миг блаженного покоя Люк устроил нам один из своих знаменитых скандалов, секретом которых владел в совершенстве. Уж он-то никак не желал ночевать в комнате, смежной с нашей, его даже не соблазнила стоявшая там раскладушка на колесиках. "Неееет! — вопил он так отчаянно, словно его резали: он твердо решил спать в СВОЕЙ постели и в СВОЕМ доме. По прошлому опыту мы уже знали, что проиграем это сражение: есть такие баталии, которые ведутся только для проформы. Выдержав целый час истошного крика, обрекавшего на фиаско нашу мечту о мирном отдыхе, которую мы лелеяли с момента приезда, я понял, что пора капитулировать, то есть уложить Люка в машине. Я раздраженно выдернул его из кровати под тревожным взглядом Жюли (которая, однако, не остановила меня), крадучись, точно разбой-

ник под покровом ночи, принес в трейлер и уложил в "гнездышко" под крышей. Люк больше не плакал, но когда я поцеловал его в лобик, то услышал слабые всхлипы — дыхание утомленного воина, добывшего победу в тяжком бою.

Вернувшись к Жюли, я застал ее в расстроенных чувствах: она корила себя за молчаливое согласие на этот злодейский акт. Оставить ребенка, которому нет еще и двух лет, одного в машине, на крутом спуске улицы незнакомого города — это не шутка. "А что, если наши действия подпадают под какую-нибудь статью уголовного кодекса?" — спросила она меня. "Бельгийского или американского?" — парировал я.

И мы заснули как убитые, больше ни о чем не думая. Однако довольно скоро наш сон был прерван. В два часа ночи нас вдруг разбудил громкий звонок в дверь. Я в панике соскочил с кровати, торопливо накинул халат Джорджа и побежал открывать. На крыльце стояли Дрюмоны; куда только делись их вчерашние приветливые мины: теперь они буквально испепеляли меня гневными взглядами. "Your child is crying in the car"[1], — хором отчеканили они. Ко мне подбежала Жюли, также поспешно надевшая хозяйкин халат, и мы бросились к трейлеру. Люк и в самом деле надрывно кричал на всю улицу. Я осторожно приоткрыл дверь машины и увидел нашего ребенка, корчившегося на полу. Он упал со своего ложа, с высоты двух метров, и приземлился на одеяла, к счастью, оставленные как раз под его постелью. Жюли схватила Люка на руки, прижала к груди. На его личике не было никаких следов крови, гибкие ножки целы, очаровательные пухлые ручонки сгибались нормально. Тем не менее он продолжал рыдать: еще бы, ведь ему довелось испытать первый страх в своей даже еще не двухлетней жизни, ужас полного одиночества и заброшенности. Дрюмоны не проявляли никакого сочувствия, наоборот, в их глазах читалось суровое осуждение. Сомневаться не приходилось: они считали нас убийцами, хуже того, детоубийцами. Не сказав нам ни слова, они ретировались, и мы услышали резкий щелчок их замка, зловещий, как скрежет ключа в тюремной двери.

Мы уложили Люка в нашей спальне и долго глядели на него. Наконец, он уснул, лежа на спине, сжимая кулачки и громко дыша приоткрытым ртом. Не помню, сколько времени простояли мы над раскладушкой, чутко вслушиваясь в ритм его дыхания. Страшно было подумать, что этот малыш — самое дорогое, что было у нас в жизни, — едва не погиб из-за нашего преступного легкомыслия. На чем же дер-

1. Ваш ребенок кричит в машине (*англ.*).

жится человеческое существование? — раздумывали мы оба, не сговариваясь. Судя по всему, на одной тоненькой нити, как нам только что доказал этот ужасный опыт.

Было уже позднее утро, а мы еще крепко спали, когда нас внезапно вырвал из забытья звонок у входной двери. Этот пронзительный звонок, который я еще вчера собирался отключить, разнесся по всему дому. Сначала мы подумали: это наверняка Дрюмоны. Кто же еще знает о нашем пребывании в этих местах? И кому придет в голову беспокоить нас в такое раннее время? Мы облачились в хозяйские халаты, точно в боевые доспехи. За дверью ждали двое полицейских в безупречных синих мундирах. С револьверами и наручниками у пояса. Это зрелище могло бы вызвать во мне священный трепет, если бы не общеизвестная изысканная репутация местных служителей закона, весьма толерантных к гомосексуалистам, которые в Сан-Франциско — и это все знают — могут целоваться взасос прямо посреди улицы, на глазах у копов, не опасаясь задержания.

Они начали с требования предъявить паспорт и документы на машину. Задав стандартные вопросы о цели нашего путешествия и спросив, на каких основаниях мы заняли дом Бастенов в их отсутствие, они перешли к тому, что назвали "событиями минувшей ночи". И начали формулировать, одно за другим, свои обвинения: отсутствие надлежащего надзора за ребенком, пренебрежение родительскими обязанностями, и прочее, и прочее, смысл которых мы улавливали с трудом, понимая только одно: все они далеко небезобидны. Мы мысленно проклинали Дрюмонов, которые нас заложили. Я счел за лучшее сразу покаяться, но при этом намекнул на смягчающие обстоятельства. Собравшись с духом, я предложил копам сесть и пустился в описание наших странствий через пустыни, в трейлере без кондиционера, с ребенком на грани обезвоживания, спавшим на кушетке под крышей трейлера, который стал для него родным домом. Прибыв в Сан-Франциско совершенно без сил, мы не нашли в себе достаточной решимости — что правда, то правда, этот упрек вполне справедлив! — заставить Люка провести ночь с нами в доме. Копы слушали мою историю, как приключенческий роман, изумленно разинув рты; еще немного, и они расплакались бы от жалости. Один из них что-то записывал в блокноте. Второй время от времени задавал вопросы, в полном ужасе от нашего легкомыслия. В конце концов, первый — похоже, старший по званию — вынул визитку и вручил ее нам с настоятельной просьбой вызывать полицию Сан-Франциско, если возникнет хоть какая-то, пусть даже мелкая про-

блема. “И главное, — настойчиво повторил он, — делайте это сразу, пока не поздно. Безопасность — дело серьезное, не стоит рисковать понапрасну”.

Мы еще минутку постояли на пороге дома, после того как полицейские отбыли, отвергнув мое предложение пропустить стаканчик. “На службе — никогда!” — дружно ответили они и уехали, пожелав нам удачного путешествия. Тут я заметил чету Дрюмонов, которые исподтишка наблюдали за этой сценой из своего окна, наверняка проклиная городскую полицию, оставившую на свободе злодеев (никак не меньше!), застигнутых на месте преступления.

Мы осмотрели Сан-Франциско, хотя настроение наше было изрядно подпорчено. Зато Люк быстро обретал утраченный вкус к жизни. Сидя в трамвае на коленях у Жюли, он хлопал в ладоши всякий раз, как чернокожий водитель дергал за ручку звонка перед тем, как подняться вверх по Пауэлл-стрит, а потом ухнуть вниз, точно на американских горках. Маленькие дети обладают свойством легко переворачивать страницу, которое мы, взрослые, с годами утрачиваем. Едва осушив слезы, они вновь готовы весело улыбаться и вступать в схватку с жизнью. Вот и еще одно свидетельство того, что из всех категорий времени им знакомо только настоящее.

Мы ели жареную рыбу на террасе портового ресторана. Да-да, в Сан-Франциско имелись рестораны с открытыми террасами, где можно было выпить вина из настоящего бокала. Вот чудеса-то! Нам хотелось кричать об этом на весь свет. Вы только представьте себе: на карте Соединенных Штатов есть крошечная точка, обозначающая город, где картонные или пластиковые стаканчики не имеют права на существование! Сев на катерок, мы посетили Алькатрас — тюрьму на острове в окружении морских волн, где некогда томились всеми забытые узники. А нынче ее камеры превращены в музей тюремной архитектуры.

Затем мы прогулялись по набережной вдоль бухты и увидели маяк на вершине дюны, как будто нарочно созданный для кисти Эдварда Хоппера[1], если только его не построили по мотивам одной из его картин. Мы полюбовались разноцветными деревянными домиками на сваях в тихом уголке бухты. Жизнь на воде: кто из нас не мечтал об этом?! При одном виде этой деревушки Жюли снова затосковала о Венеции. Побродили мы и по Чайна-тауну. Здесь все было яркое, пестрое; над дверями

1. Эдвард Хоппер (1882—1967) — популярный американский художник, выдающийся представитель американской жанровой живописи.

ресторанов висели изображения драконов и лакированных уток. А вот японский квартал был далеко не так весел, там главенствовали всего два цвета — черный и белый.

Но стоило нам вернуться к вечеру домой, как стало сильно не по себе от ощущения, что за нами неотступно следят две пары зорких глаз и что о каждом нашем жесте, о каждом шаге соседи регулярно докладывают полиции. Кто знает, может, они занимались слежкой, даже когда мы ездили по городу? Это ведь характерно для тоталитарных режимов — шпионить за соседями и заниматься взаимным доносительством. В результате любые подозрительные действия тут же становятся известны секретным службам. Постоянно жить под таким "колпаком" — поистине невиданное дело в стране, которую мы доселе считали оплотом свободы!

Вот почему мы приняли решение, которое напрашивалось само собой: пробыв всего два дня в этом городе, который нам так понравился, сбежать отсюда как можно скорее и встретиться с нашими друзьями на лоне природы, вдали от чужих глаз. Нам даже в голову не пришло отдавать Дрюмонам ключи от дома. А ведь они наверняка ждали этого, затаившись у своего окна и не упуская ни одной подробности наших приготовлений к отъезду. Интересно, записывали ли они все до мелочей? И составят ли подробный рапорт для полиции?

Люк пришел в восторг, снова услышав знакомый убаюкивающий рокот мотора нашего "фольксвагена", под который было так приятно засыпать. Не успели мы миновать Золотые ворота, как он уже задремал, тогда как над нами витал призрак Ким Новак в "Головокружении"[1], повергнув меня и Жюли в мечтательную задумчивость.

Огромные размеры Йосемитского национального парка бросались в глаза при первом же взгляде на карту. Казалось, эта гористая, заросшая лесами местность куда больше любой из бельгийских провинций. И разыскать кого-то в назначенном месте этого парка — задачка не из легких. Согласно указаниям Жоржа, мы должны были въехать в парк через западный вход, Big Oak flat entrance[2]. Оттуда недалеко до Hodgdon Meadow[3], где находится их стоянка. Путь к ней укажут стрелки. Там они и будут нас ждать.

1. "Головокружение" (1958) — фильм американского режиссера А. Хичкока (1899–1980), в котором играла актриса Ким (Мэрилин Полин) Новак (р. 1933).
2. Букв.: Поляна Большого дуба (*англ.*).
3. Ходждонский луг (*англ.*).

Жорж был заядлым спортсменом: зимой — горные лыжи, летом — альпинизм, а теннис круглый год. И в каждом виде спорта он достигал безупречного владения техникой. На теннисном корте его "свечи" приводили противника в отчаяние, на горных трассах он не знал себе равных в слаломе. Люди из окружения Жоржа давно уже не надеялись его превзойти. Жюли боялась, что он и нас потащит в свои опасные походы. "Во всяком случае, на меня не рассчитывай! — предупредила она. — Я с Жоржем ни в какие горы не пойду". И напомнила мне, что нужно соблюдать осторожность, главным образом в отношении Люка: он уже получил свою долю бурных переживаний. Проштудировав путеводитель, Жюли сообщила мне, что в Йосемитском национальном парке полно медведей, "отнюдь не таких добродушных, как диснеевские медвежата". Туристам рекомендовалось не оставлять никаких продуктов возле стоянок, особенно на ночь, ибо прожорливость здешних медведей уже вошла в поговорку. Также им советовали приобрести bear cans — герметические контейнеры для пищи, открывавшиеся только с помощью отвертки, на что даже очень голодный медведь никак не способен. Вообще наш путеводитель по США изобиловал всевозможными советами и предостережениями, большинство из которых относилось к животным.

Ходждонский луг, скрытый от глаз пышными кронами сосен, оказался на холме, над долиной реки Мерсед. Надин и Жорж устроили стоянку на лесной опушке. Надин сидела и чистила овощи, как вдруг увидела нас. Я до сих пор помню ее изумленный, недоверчивый взгляд. Миг спустя она вскочила, молча подбежала к нам и бросилась в объятия Жюли, а потом и в мои. "Не может быть, не может быть!" — твердила она со слезами на глазах, схватив на руки нашего Люка, очаровашку Люка, которого никогда еще не видела. Затем подозвала двух своих дочек, игравших неподалеку, и велела им поздороваться. Шестилетняя Жюстина не забыла нас. А четырехлетняя Мари совсем ничего не помнила, даже наше прощание в аэропорту Завентам, где мы два года назад провожали их в Америку. Девочки тут же завладели Люком и потащили его к трейлеру.

Как раз в этот момент перед нами и предстал Жорж в тренировочном костюме, весь в поту. Он только что совершил десятикилометровый забег, который пролегал, как мы могли заметить, отнюдь не по равнине. "Здесь такой рельеф, что только держись! — объявил он, еще не успев отдышаться. — Перепады от шестисот метров до трех тысяч девятисот шестидесяти. Но мы не жалуемся!" — заключил он, простирая руки к горам и долинам вокруг нас. Местность и в самом деле

отличалась такой красотой, что просто дух захватывало. Он обнял нас, сердечно, но без лишних эмоций и без особого удивления от встречи здесь, в самом сердце Сьерры-Невады, хотя последний раз мы виделись на плоской бельгийской земле, в восьми или десяти тысячах километров отсюда. Главной чертой Жоржа была сдержанность во всем, включая собственные чувства. Всякий феномен имел для него свое логическое объяснение. Таким образом, наш неожиданный приезд в горы тоже был не случаен, а явился конечным звеном в цепи организованных событий, как-то: путешествие по Америке, в частности, по Калифорнии, а затем прибытие на место, указанное в записке, оставленной на двери их дома.

Словом, полная противоположность Надин, которая не переставала ахать, охать и восклицать: "Просто невероятно! Какое счастье! Глазам своим не верю!" Должен признаться, что в юности питал к ней нежные чувства, и было это в ту пору, когда мы оба учились в Школе политических наук. Я хорошо помню аудиторию, где мы сидели, золотистые волосы Надин, рассыпанные по красному свитеру, ее веселую болтовню с соседями перед началом лекции. Позже, когда мы уже были знакомы, у меня всякий раз слегка учащалось сердцебиение при встрече и разговоре с ней даже на самые банальные темы. Иногда я брал ее за руку или обнимал за плечи, но она не усматривала в этом никаких признаков любви. Мне же любовь казалась слишком бурным чувством, несоразмерным с ее мягкой, нежной натурой. Зато когда я встретил Жюли, все пошло совсем иначе: горизонтальное положение, сопровождаемое всякого рода неистовствами, очень скоро показалось нам единственным способом выразить нашу обоюдную страсть.

Мы наскоро состряпали ужин из общих запасов. Вечер был посвящен в основном рассказу о нашем приключении в Сан-Франциско. Действия четы Дрюмонов поразили Надин, она даже представить себе не могла, что они способны на такие гадости: всегда приветливо здоровались, мило улыбались и были готовы оказать любую услугу. Неужели все это было притворством, чтобы легче шпионить за своими соседями? Вот и доверяй после этого людям!

Жорж поинтересовался нашими дальнейшими планами. Мы с Жюли переглянулись так, словно он говорил на незнакомом языке. Какие еще планы... нет у нас никаких планов и никогда не было, даже в самом начале путешествия, ведь не назовешь же планом намерение плыть по течению. Сам Жорж запланировал на завтра восхождение на Half Dome. Гора была хорошо видна с нашего места и действительно

имела форму полукупола; эта каменная громада, гладкая, как отполированный мрамор, выглядела абсолютно неприступной для любого, даже титулованного альпиниста, который вздумал бы помериться с ней силами. "С помощью крючьев, вбитых в камень, на нее вполне можно взобраться, но не волнуйтесь, я не сумасшедший и не собираюсь принуждать вас к такому подвигу. На вершину ведет и другой путь — по ступеням, выбитым в скале; туда поднимаются, держась за канат. Я предлагаю вам выйти на заре и назначаю встречу наверху. Оттуда открывается замечательный вид на каньон и водопады. Вы будете просто потрясены", — сказал он. Да, что касается планов, у него они выглядели вполне определенными. Подъем должен был занять от шести до семи часов. "Между прочим, с вершины нужно еще и спуститься", — возразила Жюли, которая не имела ни малейшего желания участвовать в этой авантюре. Она предпочитала осмотреть гигантские секвойи, чей древний возраст и необъятные размеры восхвалял ее путеводитель. Мы сразу поняли, что Жорж не намерен отказываться от своего замысла, тем более что он уже встал из-за стола и начал проверять альпинистское снаряжение: скальные крючья, жумары, карабины[1], веревки, которые он осматривал и ощупывал особенно внимательно. Что касается меня, я колебался: даже "цивилизованный" подъем на Half Dome был мне не по душе. А когда Жюли дала понять, что Люка она со мной не отпустит, я и вовсе отказался, сославшись на усталость. Не могу сказать, что Жорж был очень уж разочарован. В результате мы решили разделиться на две группы: первая состояла из Жоржа, вторая из всех остальных членов племени.

Кстати, а куда подевались наши детишки? Что-то давно их не было видно. И в фургоне стояла подозрительная тишина. Надин окликнула Жюстину и Мари. Ответа не последовало, и она решила пойти взглянуть, чем они заняты. Через несколько минут она вернулась, с трудом сдерживая хохот. Оказалось, девочки раздели Люка догола, уложили на сиденье и старательно изучали его анатомию. Особенно их заинтересовал маленький "краник" Люка — этот странный отросток, коего природа лишила их самих. Они вертели его и так и сяк, в ожидании неизвестно чего, может, какого-нибудь чуда. Люк переносил эти манипуляции с невозмутимостью буддийского

1. Жумар — металлический зажим, используемый при подъеме по закрепленной веревке. Карабин — особый вид застежки, прикрепляемой к обвязке (ремню на поясе альпиниста).

монаха. Слушая рассказ Надин, я вспоминал картину Рембрандта "Урок анатомии", где вокруг вскрытого тела в почтительном молчании стоят ученики, слушая пояснения мэтра.

Когда родители заставали нас в детстве за игрой "в доктора", мы испытывали жгучее чувство стыда. И после сурового выговора спешили убраться куда-нибудь подальше, подобно арестованным преступникам, которые прячут лица, проходя сквозь толпу негодующих сограждан. Наверное, так оно и будет всегда, до скончания века, если жить среди людей типа Дрюмонов. Зато наша малолетняя троица ничуть не считала себя виноватой в нарушении приличий, они вернулись в семейный круг как ни в чем не бывало с широкими улыбками. Люк бросился в объятия Жюли, он явно нуждался в передышке после столь утомительного и подробного обследования. Жюстина и Мари предложили отцу помочь с разборкой крючьев, жумаров и карабинов: мне кажется, они считали их таинственными орудиями пытки, которую, скрываясь от посторонних глаз, претерпевал их отец, когда подвешивал себя к каменному боку горы.

Солнце уже скрылось за верхушкой Half Dome, обрызгав ее напоследок багровыми сполохами и разрисовав скалу огненными узорами. Мы наблюдали стоя, как тени заволакивают гору, как она медленно тает в ночном мраке. Теперь и нам, людям, пора было отходить ко сну, что мы и сделали инстинктивно, даже не взглянув на часы. Отныне нам указывали время не часы, а ход светил.

К тому моменту, как мы проснулись, Жорж давно уже покинул лагерь. Рассвет, видимо, был его излюбленной порой для начала действий. Мы сели завтракать, представляя себе, как он висит где-нибудь на скале, вжимаясь в камень, нашаривая в нем впадинки для рук, ища выступы для ног. Надин не очень-то нравились эти одиночные эскапады.

Затем и мы, в свой черед, отправились на экскурсию; Жюли и Надин позаботились о том, чтобы взять все необходимое: воду, продукты для пикника, карту, компас, бинокль... Никогда еще в наш "автодом" не набивалось столько народу. Детишки, сидевшие сзади, были в полном восторге. Мотор закряхтел, когда наш "фольксваген" начал взбираться вверх по серпантину. "Вот он, ледник Пойнт[1]!" — сказала Надин, указав на пик, уходивший в небо на головокружительную высоту; его-то она и выбрала целью нашей прогулки. После часового подъема, проделанного с черепашьей скоростью, мы вышли из машины на

1. Point — пик, точка (*англ.*).

стоянке, где уже были припаркованы три крутых вездехода — куда до них нашему старичку. Жюли и Надин взяли по рюкзаку, я посадил Люка на плечи. Возбуждение, вызванное предотъездной суматохой, слегка улеглось. На этой высоте растительности почти не было видно. Даже слов — и тех стало не хватать. Глубокое безмолвие нарушал только звук наших шагов по крутой каменистой тропе. Для Мари и Жюстины это было далеко не первое восхождение, и они уже хорошо знали, куда и как ставить ноги в спортивных ботиночках. Путь был аккуратно размечен вешками. Атмосфера слегка разрядилась, когда мы дошли до насыпной площадки, где Надин и предложила сделать привал. Пикник на такой высоте, с великолепным обзором долины, лежавшей далеко внизу, — в этом было что-то фантастическое. Люк установил новый рекорд в своей жизни. "Уже совсем недалеко", — сказала Надин, стараясь успокоить Жюли, проявлявшую легкие признаки усталости. И в самом деле, к середине дня мы достигли цели нашего похода — ледника.

С этого скалистого утеса, высотой примерно в тысячу метров, можно было с трудом различить в глубине долины реку, змеившуюся между взгорками. Всюду, куда ни глянь, бурные водопады, срываясь с горы, разбивались о камни сотнями метров ниже. "Здешние водопады самые высокие в этом парке", — пояснила Надин. Мы провели на этой крыше мира несколько часов, любуясь волшебным пейзажем. Надин рассказывала детям, что в лесах на склонах горы обитают медведи, олени, сурки, в общем, самое разнообразное зверье, скрытое от людских глаз. Люк слушал ее как зачарованный, пытаясь разгадать тайну лесного мира, лежавшего внизу, у него под ногами. Наконец, мы молча начали спускаться обратно, щуря глаза, утомленные слепящим горным светом.

Машина, как всегда, вела себя при спуске намного бодрее. Надин попросила меня остановиться на площадке, откуда был хорошо виден передний склон Half Dome. Посмотрев в бинокль, мы разглядели двух поднимавшихся в связке альпинистов с широко расставленными руками и ногами, словно их распяли на этой "стенке", безнадежно гладкой и отвесной, где они тщетно искали опору, как жертвы на кресте — спасения. Огромное расстояние не позволяло разглядеть их лица даже в мощный бинокль. Но один из них наверняка был Жорж: Надин распознала его по красной майке. У нас холодок пробежал по спине. А Мари и Жюстина никак не отреагировали на это зрелище: казалось, оно ничуть их не обеспокоило.

Надин собиралась показать нам секвойи — гигантские секвойи, которым было две тысячи лет или даже больше, как объяснила она детям: "Их стволы настолько огромны, что в

дупле можно укрыться, как в доме. Вы только представьте себе: эти деревья — ровесники всей нашей эры, их рождение могло совпасть с рождением Иисуса Христа!" Я уловил тревогу в глазах Надин: мне показалось, что она, как и я, думает сейчас о Жорже, висящем сейчас где-то на склоне в позе распятого. Однако Надин быстро овладела собой. "Уже поздновато ехать к секвойям, — сказала она, — нам лучше вернуться в лагерь до наступления темноты".

Хотя на нашей стоянке ровно ничего не изменилось, над ней нависло тяжкое уныние. Мы больше не осмеливались глядеть на гору, грозившую неведомыми опасностями. Я предложил детям развести костер и приготовить на нем ужин. Каждый из них собрал и принес охапку хвороста, включая Люка, который давно освоил эту процедуру. В тот момент, когда первые ветки занимались гудящим огнем, мы услышали глухой рокот моторов в небе, и вскоре увидели вертолет, круживший над Half Dome. Вскочив на ноги, мы следили за его полетом. Место действия было слишком далеко, и даже в бинокль невозможно было разглядеть, что происходит. Все мы, если не считать Люка, подумали об одном и том же: там, наверху, разворачивается операция по спасению попавших в беду альпинистов. Страшно было подумать, что кто-то из них упал с такой головокружительной высоты. Жюли схватила Надин за руку. Вертолет неподвижно завис над вершиной горы. Наверное, в этот момент из него спускали канат с люлькой. Спасение нужно было провести как можно быстрее, пока не стемнело. Из вертолета вырвался яркий луч прожектора, осветивший скалу, которая уже тонула в вечерних тенях.

И тут произошли одновременно две сцены, как может быть только в кино: вертолет взмыл в небо и улетел, описав безупречную дугу над горой, а в лагерь ворвалась, известив о своем прибытии рокотом мотора и ярким светом фар, машина, из которой выпрыгнул Жорж в своем альпинистском облачении, живой и невредимый. Надин бросилась в его объятия, еле сдерживая рыдания; к ним подбежали и Мари с Жюстиной, заливаясь горючими слезами. Жорж быстро понял причину их бурного волнения. "Сюда регулярно являются, — объяснил он нам, — всякие безмозглые покорители вершин, не имеющие никакого опыта и хорошего снаряжения. Как правило, это кончается весьма внушительным счетом от службы спасения".

Странная атмосфера царила у нас за ужином: мы молча сидели у костра, глядя на языки пламени; так обычно бодрствуют у смертного ложа, при свечах, оплакивая покойника. Сла-

ва Богу, Жорж был здесь, рядом, и даже пытался развеселить нашу приунывшую компанию. Ему ни разу не случалось стать жертвой несчастного случая или хотя бы подвергнуться какой-то опасности. По его словам, он никогда ничем не рисковал. Но тот факт, что мы предположили, пусть даже на короткое время, возможность его гибели, делало его присутствие среди нас почти нереальным, как будто сама жизнь была всего лишь несчастным случаем, который длится бесконечно. И Жорж неожиданно для себя осознал, что быть одновременно присутствующим и отсутствующим, ей-богу, совсем неплохо: катастрофа, показавшаяся возможной и не сбывшаяся, имеет то преимущество, что пробуждает чувства близких людей, так сказать, возрождает пламя, если оно начало угасать.

Жорж, единственный, кто был расположен к беседе, спросил, что нового в Бельгии, на его дорогой родине, которую они покинули два года назад. Не знаю, почему он задал этот вопрос, не такой уж волнующий, именно мне. Я коротко перечислил последние события: государственную реформу, находившуюся в самом разгаре; только что благополучно похороненный пакт Эгмонта[1]; правительственные конклавы, собиравшиеся по ночам, чтобы наутро разродиться компромиссами, носящими имена замков, где их выработали, или святых-покровителей этих ночных оргий; спекуляцию недвижимостью в Брюсселе, уничтожившую, с благословения все тех же министров, целые городские кварталы, несмотря на протесты их обитателей; махинации крупных воротил бизнеса в Льеже и Шарлеруа, живущих по законам своего воровского сообщества; скандал с неким валлонским министром, чье имя фигурировало в грязной афере с фальшивыми чеками, поддельными картинами и таинственной стюардессой, и так далее... "В общем, ничего нового!" — со вздохом заключил Жорж. "Да нет, одна большая новость у нас есть", — возразил я, повернувшись к Жюли.

— У нашего Люка, — сказала она нерешительно, — скоро появится братик или сестричка.

— Неужели правда? — ахнула Надин.

— Да, я беременна. Пока это незаметно, но, поверь, я уже ощущаю кое-что, как, например, сегодня вечером...

— Ну что ж ты раньше молчала?! — воскликнула Надин, крепко обняв Жюли.

1. В 1977 г. Бельгия, согласно так называемому "Пакту Эгмонта", была поделена на три автономных региона — Фландрию, Валлонию и Брюссель. Здесь идет речь об изменении конституции в 1980 г., после чего эти три региона были объединены в федерацию.

И тотчас сообщила эту новость Мари и Жюстине. Все трое были несказанно рады. "Жаль, нет шампанского, мы бы отметили это событие", – сказал Жорж. И он предложил всем нам, включая детей, которые не заставили себя упрашивать, лечь наземь и посмотреть в ночное небо. Вскоре над поляной воцарилось молчание; наши взгляды были прикованы к небесному своду, который падающие звезды расцвечивали ярким фейерверком. Казалось, небо тоже ликует, приветствуя на свой лад воскрешение нашего альпиниста и присутствие среди нас существа, которое пока еще не явилось на свет божий.

Ночью Жюли дважды вставала, чтобы принять дафальган. "Боли в животе по ночам особенно нестерпимы", – сказала она мне на рассвете; от недосыпания у нее залегли тени под глазами. Мы решили, что разумнее всего прямо с утра выехать из лагеря в ближайший город, чтобы проконсультироваться с врачом. Однако Надин советовала Жюли остаться здесь еще на два-три дня и спокойно полежать. Тогда она почувствует себя лучше. И Надин вспомнила о двух своих беременностях: последние месяцы она оба раза провела в постели, опасаясь выкидыша. Но горы действовали на Жюли не особенно успокаивающе. Она предпочитала океан, где сможет опять подышать морским воздухом.

Прощание было коротким. Нас заставили пообещать, что мы не забудем внести семью Бастенов в список тех, кого известим о рождении малыша. Я поклялся, что, в любом случае, не спутаю их адрес с адресом Дрюмонов. Мари и Жюстина усадили своего приятеля Люка на заднее сиденье машины, которое два дня назад послужило им лабораторией для анатомических изысканий. Люк махал обеими руками, прощаясь с новыми друзьями. Надин сердечно обняла Жюли, напомнив, что ей нужен абсолютный покой. Да и мне шепнула на ухо: "Будь осторожен и, главное, заботься о ней!" Жорж стоял поодаль, наблюдая за этой сценой. Чувствовалось, что даже он, который всегда скрывал свои эмоции, сейчас взволнован не меньше всех остальных.

Итак, мы направились в сторону Сан-Франциско, обогнув его с севера. Жюли заснула и открыла глаза лишь к тому времени, когда мы приблизились к океану. Она глубоко вдыхала морской воздух через открытое окно, чтобы насытить кислородом зародыша. Я ехал по узкой дороге, идущей вдоль берега. Мы сделали остановку на берегу Бодега-Бей.

Вспомнив наставления Надин, Жюли прилегла отдохнуть, а я посадил Люка на плечи, чтобы обойти бухту. Небо

заволокло облаками, легкий ветерок, налетая с океана, осыпáл нас соленой водяной пылью. Именно этот пейзаж Хичкок выбрал для натурных съемок своих "Птиц"[1]. Трудно было представить, что Бодега-Бей послужила декорацией для жутких сцен этой картины. В кино все можно внушить через образ и звук. Но зрителю "Птиц" достаточно было бы вдохнуть, как нам сейчас, этот воздух, насыщенный йодом и мелкими брызгами, чтобы мрачная, пугающая атмосфера фильма тотчас развеялась. Люк, взбодренный морским воздухом, снова завел свой нескончаемый монолог. К кому он обращал его? К океану, к дюнам, поросшим песчаным овсом, к чайкам или ко мне? Не знаю. Мы сели на песок и построили в четыре руки маленький замок-крепость, как некогда, в детстве, я делал это на пляжах Северного моря. Наш замок стоял далеко от воды, так что волны не грозили его разрушить. Я прокопал под ним туннель, и Люк стал бросать туда найденный на берегу шарик, каждый раз приветствуя бурными аплодисментами его появление на другом конце.

Я старался называть ему по нескольку раз каждую увиденную вещь: песок, зáмок, шарик... Люк повторял эти слова на свой манер, глотая некоторые звуки — "с" или "ш". Видя, как он старательно, даже как-то торжественно выговаривает, одно за другим, эти названия, широко открывая ротик, я подумал, что таким образом он осваивает окружающую действительность. Странно, как человеческая речь формирует разум. В сущности, я проделывал с Люком то, что делали со мной мои родители — передавал ему язык, а вместе с ним представление о мире. Может быть, неподалеку от нас какой-нибудь американский отец занимался тем же самым со своим ребенком, только обучая его другим словам и произношению. Может, здесь же, на берегу океана, какая-нибудь мама-итальянка учила своего сына называть море "il mare", поскольку на итальянском "море" — мужского рода, а это уже совсем другое дело. Теперь вообразим, что Люк встретился с этим итальянским малышом, и они завязывают разговор, глядя на то, что в представлении одного из них относится к женскому роду[2], а в представлении другого — к мужскому. А уж если к ним присоединится маленький американец, в чьем языке категория рода не имеет значения, то он попытается примирить двух своих приятелей. Да... сколько есть в мире разных языков, призванных давать имена вещам и явлениям, столько же и разных миров...

1. Фантастический триллер А. Хичкока, снятый в 1963 г.
2. По-французски слово "море" женского рода.

Вернувшись на стоянку, мы увидели, что Жюли спит. "Не буди маму!" — шепнул я Люку, прижав палец к губам. Люк уже понимал, что его матери необходим долгий спокойный сон. Мы с ним пообедали жареным мясным фаршем, смешанным с картофельным пюре — настоящей детской едой, которую и жевать-то не обязательно; такую обожают американцы, которые стремятся проводить за столом как можно меньше времени. Наши губы и гортани вполне заслужили эту поблажку после долгих утомительных лингвистических упражнений на берегу.

На рассвете Жюли проснулась, оттого что у нее началось кровотечение. Кровь вообще никогда ничего хорошего не обещает. Она, конечно, необходима для жизни до такой степени, что стала неотъемлемой ее частью, но лучше ей быть невидимой и спокойно течь в жилах тела, которое она питает. Однако если она, подобно реке, вышедшей из берегов, обагряет кожу, это уже признак нездоровья, раны, разрыва, страшной беды. "На помощь, аптекари и врачи! — в панике кричит человек. — У меня кровотечение!" Вот и у Жюли шла кровь, пятная красными разводами ее ночную рубашку. Нужно было спешить.

К счастью, в Бодега-Бей был диспансер. Нас принял молодой гинеколог. Осмотрев Жюли, он сказал, что, судя по УЗИ, кровотечение не сильное, но нельзя исключить возможность выкидыша. Новая кровопотеря может оказаться роковой. В этом случае больную придется срочно госпитализировать. А пока он рекомендовал полный покой, иначе, настойчиво повторил он, она неизбежно потеряет ребенка. Впрочем, не стоит слишком драматизировать ситуацию: трехмесячная беременность — самый рискованный период, но нужно постараться благополучно его пройти. Врач советовал нам вернуться в Сан-Франциско: там мы найдем больницы получше — на случай, если возникнут осложнения. "А вы сами-то откуда?" — спросил он под конец. Ах, из Брюсселя! — жаль, ему не довелось увидеть Брюссель, но он все же надеется когда-нибудь там побывать. Один из его коллег недавно ездил туда на конгресс акушеров. Ему очень понравился город, особенно сочетание старины и современности. В частности, его совершенно очаровала техника, позволяющая сносить старинные дома, сохраняя их фасады, — теперь ее начали применять во всем мире. "А правда ли то, что рассказывают о лингвистической войне между теми, кто говорит по-французски и по... голландски, кажется?"

— По-фламандски или нидерландски, так будет точнее.

— Во всяком случае, это что-то невиданное — война из-за языка. А что, религии у этих двух народностей тоже разные?

— Нет, религия у нас общая.

— Тогда совсем уж странно. Воевать из-за нефти или территорий — это по-человечески понятно, но из-за языка?.. Извините, не постигаю. Есть ли этому хоть какое-то разумное объяснение? Нет, я обязательно должен съездить и посмотреть сам. А что, жизнь в Бельгии дорогая?

Нам не очень хотелось возвращаться в Сан-Франциско — отпугивало воспоминание о Дрюмонах, — поэтому мы решили отсидеться несколько дней в Бодега-Бей. Следуя советам врача, Жюли проводила целые дни у моря, лежа на песке. Она отдыхала и набиралась сил. Ее живот слегка округлился, но пока это могли заметить только посвященные, а я был единственным их представителем, хотя и пытался разделить свою привилегию с Люком, проводя его ручонкой по телу Жюли, уже ставшему чуточку туже обычного. Приникнув ухом к этой округлости, я легонько постукивал по ней пальцами, надеясь вызвать реакцию того, кто там находился, но мои призывы оставались безответными. Жюли угадывала мое беспокойство. "Три месяца — очень маленький срок, — говорила она, — ты слишком нетерпелив. Вспомни Люка, он начал шевелиться только в пять месяцев". Странное дело: внутриутробная жизнь Люка теперь казалась мне далеким и смутным воспоминанием.

Итак, нам оставалось ждать еще целых шесть месяцев. И мы подумали: а не провести ли их здесь, в Бодега-Бей? Океан, песок, круглая бухта: что может быть лучше для ожидания чего-то или кого-то, как в нашем случае? Океан, как известно, — колыбель человечества. В этом вопросе ученые единодушны. Однажды Жюли приснилось, что она рожает на морском берегу. "А почему бы и нет? — сказал я ей тогда. — Нет ничего более естественного". Некоторые женщины предпочитают рожать в воде, когда-то это даже вошло в моду. Так почему бы не родить на берегу океана? Младенец появится на свет под мерные вздохи волн, его овеет нежный бриз, прилетевший из морских далей. Уж это куда лучше, чем удушливые запахи больницы и слепящие лампы родильной палаты. Вот только попробуйте внушить это медикам! Я уже представлял себе, как они провозглашают хором: "Наши страховки не покрывают такие рискованные авантюры!" Или: "А что если при родах возникнут осложнения? А неотложка вдруг завязнет в зыбучих песках?"

Люк не жаловался на эту затянувшуюся остановку. Он завязал знакомство с другими ребятишками, и они вместе делали

"пирожки" из песка. Каждое утро он деловито трусил на пляж со своим ведерком и формочками в виде черепахи, лягушки, замка, цветка, морской звезды... И сосредоточенно замешивал "тесто" из песка и морской воды, вкладывая в эту сложную процедуру максимум старания. Не знаю, на каком языке объяснялись между собой эти малыши, сравнивая полученные изделия, — наверное, на каком-то младенческом эсперанто. Люк возвращался к нам во второй половине дня, точно с работы, принося новые слова: water, sea, turtle, star, come to me...[1]. Я смотрел, как он просовывает свой маленький язычок между зубами, произнося звук "th". Это означало, что Люк, игравший со своим ведерком и формочками на берегу Тихого океана, находится в самом разгаре лингвистического погружения.

Однажды вечером Жюли преподнесла нам сюрприз — торт с кремом, украшенный двумя свечками. Люку исполнилось два года. Happy birthday![2] Я напрочь забыл об этом. Воспоминание о битком набитом брюссельском роддоме на миг заслонило картину пустынного побережья бухты и океанских далей. Люк не заставил просить себя дважды, чтобы задуть поочередно обе свечки. Потом он сунул пальчик в шоколадный крем и потащил его в рот. Неужели в два года ребенок еще остается младенцем?

Спустя неделю кровотечения у Жюли совсем прекратились. Она чувствовала себя хорошо как никогда. Мы колебались, не зная, нужен ли повторный визит к врачу. Трудно решить такой вопрос, когда на носу отправление в дальнейший путь. Так что когда мы снова подумали о необходимости посетить диспансер, то были уже далеко от Бодега Бэй.

Мы вернулись на шоссе № 101, гораздо менее извилистое, чем дорога, идущая вдоль берега. Конечно, близость к океану была нам по сердцу, но не хотелось с первых же миль подвергать Жюли и ее живот испытанию слаломом. В конце дня мы сделали остановку в лесу Мендосино, бескрайнем лесу, где вот уже много веков растут гигантские царственные секвойи. Рядом с ними мы выглядели карликами, смехотворно малыми существами — в смысле размеров, конечно, но, главное, в отношении времени, ибо очевидно было, что эти древние великаны переживут нас еще на долгие десятилетия. Я прижал кулачок Люка к коре секвойи — она была мягкой, как губка. Отыскав лужайку, отдаленно похожую на стоянку для отдыха, мы устроили там привал. Кроме нас в этом

1. Вода, море, черепаха, звезда, иди сюда... (*англ.*)
2. С днем рождения! (*англ.*)

месте не было ни души — ни посетителей, ни сторожа. Я тут же машинально принялся собирать хворост вместе с Люком — настолько привычным стало для нас это занятие. Вскоре на полянке весело затрещал костер, и мы поджарили над огнем, в спускавшихся сумерках, баранину, а потом испекли в углях картошку. Окружающий пейзаж ничуть не напоминал вчерашний. За один день Люк превратился из моряка в охотника.

Мы снова нашли Тихий океан в Эврике — городке, которому, в данном случае, идеально подходило это название[1], настолько мы были рады увидеть опять необъятные морские дали и вдохнуть их соленый воздух. Мы проехали вдоль берега до Кресчент-сити, то есть до самой границы штата Орегон. Здешняя царственная природа как бы исключала присутствие человека, такого ничтожного на ее фоне. Дальше тянулась нескончаемая череда дюн — настоящая пустыня между автострадой и океаном. Пересечь ее на машине было совершенно невозможно. А отважиться на пеший переход означало пойти на риск, заблудиться, как посреди Сахары, где достаточно отойти от лагеря всего на несколько шагов, чтобы спутать одну дюну с другой, потерять всякие ориентиры и плутать, подобно слепцу ночью, в полном и безнадежном одиночестве.

Мы расположились в дюнах. Я повел Люка на вершину одной из них, и мы стали скатываться с нее, как с горки, вздымая вокруг себя мириады песчинок. Говорят, дюны перемещаются под воздействием ветра. Стало быть, этот пейзаж был не таким уж застывшим, каким казался. На самом деле, он непрерывно двигался, хотя и совершенно неприметно для глаза. Песчаная буря могла всего за одну ночь полностью изменить ландшафт.

Жюли чувствовала себя превосходно. Она много спала и по утрам не ощущала больше никаких болей. Зато "фольксваген" проявлял тревожные признаки недуга: мощность его тормозов свелась к минимуму. Нужно было сильно нажать на педаль, чтобы замедлить скорость, а для полной остановки приходилось делать это несколько раз. Машиной давно никто не занимался, а ведь она служила нам и домом и средством передвижения. И вот теперь давала знать о своей немощи. К счастью, дорога, почти безлюдная, избавляла нас от необходимости резко тормозить.

В течение двух дней мы ехали вдоль побережья к северу, пересекая леса и реки, по которым сплавляли бревна. Могу-

1. Eureka — "Нашел!" (*греч.*) — известное восклицание Архимеда.

чие стволы десятками плыли по течению; сплавщики с невероятной ловкостью перепрыгивали с одного дерева на другое, направляя их в нужную сторону длинными шестами. При виде этого зрелища, напоминавшего какой-то фантастический балет, мы неизменно останавливались, чтобы полюбоваться им. Несколькими годами позже мне довелось посмотреть "Тяжесть руки" Вима Вандекейбуса[1], где танцоры меряются силой с деревьями; тут-то я и вспомнил Орегон и танец людей на стволах, мчавшихся вниз по реке. Люк, завороженный, как и мы, восторженно хлопал в ладоши.

В Астории мы переправились по огромному мосту через реку Колумбию, которая разделяет штаты Орегон и Вашингтон, а дальше впадает в океан. Здешняя земля, казалось мне, изобилует водой. Штат Вашингтон, расположенный на северо-западе Соединенных Штатов, — это сплошные леса и реки, реки... Мы свернули на восток, в сторону узкого залива Тихого океана, глубоко вдающегося в эту часть суши. А там поехали вдоль берега, держа курс на север. Островки, отмели и косы то и дело возникали на глади воды, напоминающей лагуну. Вдали, на другом берегу залива, мы увидели Сиэтл.

Сделав остановку, мы искупались в прозрачной, прохладной воде залива, чей соленый вкус напоминал о близости моря. Жюли заметила устриц, облепивших скалы, набрала их, и вечером мы продегустировали плоды ее усилий. Нам не хватало лимона, хотя, по мнению знатоков, он вовсе не обязателен. Но с лимоном или без него, устрицы решительно не понравились Люку, и он выплюнул эту склизкую гадость, издав громкое "бр-р!", понятное на всех языках. Что касается меня и Жюли, мы стали увлеченно обсуждать неопределенный пол этих созданий, безуспешно пытаясь представить себе их любовные сношения и благословляя природу, которая в этом смысле не ограничила человеческие возможности.

На следующий день мы прибыли в Порт-Анджелес, расположенный к северу от штата Вашингтон, возле узкого океанского рукава, отделяющего США от Канады: ее берега уже вырисовывались вдали. В этом месте территория штата образует длинный выступ, нечто вроде полуострова, смыкающегося с континентальной частью своей южной стороной. Нам не хотелось проделывать длинный кружной путь, и мы решили сесть на паром, который ходил между Порт-Анджелесом и Викторией на острове Ванкувер. Несколько машин уже ожидали посадки, и мы тоже встали в очередь.

1. Вим Вандекейбус (р. 1965) — бельгийский режиссер, хореограф, актер и фотограф. Балет "Тяжесть руки" поставлен в 1989 г.

Наведя справки, мы узнали, что паром отходит каждые два часа, вышли из трейлера и сели на скамейку. Я заметил рядом видавший виды киоск, где продавались газеты и старые книги. Иоанн Павел II благополучно избежал смерти в результате покушения какого-то безумца, которого уже простил. Я прошептал: "Иоанн Павел II больно скор на прощение!" Жюли меня не услышала, она увлеченно изучала "Сентиментальную биографию устрицы", написанную в 1939 году неким М. Ф. К. Фишером и давшую новую пищу нашей вчерашней дискуссии. Каждую минуту Жюли прерывала чтение смехом или возгласами: "Нет, это просто невероятно! Ты представляешь, оказывается, устрицы меняют пол по необходимости!"

— Это как же?

— Самец, накопив большое количество яиц и оплодотворив их, превращается в самку, чтобы снести эти яйца!

— А тебе хотелось бы вот так же менять пол?

— В настоящее время этот вопрос не актуален, — сказала она, указывая на свой живот.

Громкий гудок с парома подал сигнал к посадке. Сознание того, что мы меняем способ передвижения, возбуждало нас, всех троих, особенно Люка. Вскоре мы уже стояли на палубе, облокотившись на перила и с легкой ностальгией глядя на удалявшийся американский берег. Паром бесшумно скользил по морской глади. Легкий шелестящий бриз трепал золотистые кудряшки Люка. Солнечные лучи, пронзая облака, играли причудливыми бликами на воде залива.

Высадка на остров — сама по себе авантюра, которая в некоторых обстоятельствах может даже принять масштаб военной операции. Мы покидали привычный мир, чтобы оказаться совсем в другом, изолированном, окруженном морскими водами. Еще немного, и наша машина превратилась бы в амфибию. Однако эта машина, которая так долго везла нас, укрывала в своем чреве, защищала, кормила и поила, как любящая мать, которая покорно преодолевала, несмотря на тропическую жару, немереные расстояния, вдруг решила отдать концы именно здесь, у причала. Видимо, мы недостаточно хорошо заботились о ней. Видимо, уделяли ей мало внимания. Видимо, не проявили должной благодарности за все ее старания. И подумать об этом следовало раньше, ибо теперь, когда мы тихо-спокойно ждали своей очереди на сходнях парома, в веренице автомобилей, выезжавших на берег, и я нажал на педаль тормоза, вдруг случилось непредвиденное: машина не откликнулась на мой призыв. Сначала я

подумал, что вместо тормоза включил сцепление, по ошибке или под влиянием эмоций (острова — это ведь давнишняя и вожделенная детская мечта). Но миг спустя, осознав, что мы сейчас врежемся в ползущий перед нами кабриолет, я резко вырулил из очереди влево под оторопелым взглядом Жюли, изо всех сил нажал на гудок, и под его громкий панический вой трейлер почти рухнул с мостков на пристань. Выехав на шоссе и судорожно вцепившись в ручной тормоз, я повел машину зигзагами, только чудом не задевая рассеянных прохожих. Наконец, машина запнулась на какой-то колдобине и встала — аккурат перед таможенным постом. Наш "слалом" не ускользнул от внимания изумленной общественности. Трейлер мгновенно окружила толпа зевак и представители правопорядка. Федеральная полиция Канады выглядит весьма импозантно, особенно конная. Я поделился своим горем с жандармом, сошедшим с лошади. Он щеголял в темно-синих бриджах с желтым кантом на боку и в черных кожаных сапогах. Позже я узнал, что баллончик, который он носил у пояса, наполнен едким слезоточивым газом. Он проверил мои водительские права и документы на машину, такую же процедуру выполнили следом за ним таможенники. Когда со всеми формальностями было покончено, они вызвали техпомощь, которая отбуксировала наш трейлер до ближайшего автосервиса Виктории.

Все это произошло чрезвычайно быстро, не говоря уж о моем лихом "пируэте" на причале, — все последующие события, да и сама жизнь, казалось, должны были пойти в ускоренном темпе, хотя еще час назад мы в мечтательном забытьи глядели на океан, упиваясь его соленым дыханием. Но теперь здесь, на острове, мы застряли надолго. Механик посмотрел на нас с жалостью, ясно говорившей о плачевном состоянии нашей машины и, следовательно, о стоимости ремонта. Тормоза приказали долго жить.

— Придется менять весь тормозной блок, — сказал он, размахивая перед нами каким-то металлическим обломком, с потрясенным видом археолога, откопавшего неизвестный предмет в слое железного века. — Я должен заказать новые детали, а их могут привезти только завтра, да и то если найдутся подходящие на складе у здешнего автодилера.

— А если не найдутся? — тоскливо спросил я.

— Ну, если не найдутся, надо будет искать в Ванкувере, а это уже задачка посложней.

Жюли ни разу не раскрыла рта с момента нашей бурной "высадки" на острове. Да и что тут было говорить? Мы не могли ускорить ход событий, а значит, оставалось только

ждать. Но я чувствовал, что у нее в голове роятся многочисленные вопросы, например: что мы забыли на острове Ванкувер и зачем то и дело рискуем, стараясь попасть в какие-то места по той лишь причине, что они обозначены на карте. Насколько проще было бы поехать в Рим или Венецию! И насколько там красивее! По крайней мере, в тех городах повсюду есть бистро и кафе с открытыми террасами, где подают белое вино. "Да, но это в Европе, — возражал я, — Европа — это в первую очередь кафе, которых больше нет почти нигде в мире. И стоит ли искать в Америке то, чего здесь не может быть по определению? Разве моряки страдают ностальгией по пустыне, находясь посреди океана? И так ли уж плоха Виктория с ее британским обликом — кирпичными домами, зелеными лужайками, красивыми улицами и площадями? По-моему, наоборот, вполне приятный сюрприз для нас, европейцев. Не самое худшее место, чтобы ждать, когда починят машину. Ведь мы уже больше не попадем в Викторию, так почему бы не воспользоваться удобным случаем?" В общем, я старался быть оптимистом.

Механик вернулся к нам с радостной улыбкой. Нужные детали ему привезут завтра утром, и, если не возникнут новые осложнения, ремонт займет еще один день. Я объяснил ему, что трейлер служит нам также и домом, а наши финансы, особенно с учетом этой непредвиденной аварии, не позволяют снять номер в отеле. Но и эта проблема была решена: мы выкатили машину из гаража и расположились в ней на отдых так, будто сделали привал где-то на природе. Правда, здесь, на острове, мы были не одни, судя по оживленному уличному движению, которое замерло только где-то к середине ночи, и тогда я смог, наконец, спокойно заснуть.

На рассвете кто-то тихонько постучал в заднее стекло. Это был механик, который пришел нас разбудить. По лицу Жюли я понял, что боли возобновились — видимо, сказался переизбыток волнений, да и зародыш, которого накануне швыряло из стороны в сторону, вел себя неспокойно, безуспешно пытаясь закрепиться в материнском чреве. Интересно, сколько зародышей успешно выживает при землетрясениях? И учитывает ли статистика случаи выкидышей при подсчете жертв природных катаклизмов? Я размышлял над этими вопросами, глядя, как Жюли, бледная, с погасшим взглядом, глотает свои таблетки. Мы сложили нашу постель и кое-как навели порядок в машине, которую отдавали в чужие руки. А потом наблюдали, как два механика закатывают ее в гараж.

Мы провели весь этот день в пассажирском порту, любуясь яхтами, которые снимались с якоря и уходили в море под надутыми легким бризом парусами. Люк никак не мог понять, почему мы, все трое, не уплывем на одном из этих суденышек, ведь это так просто, так естественно — открыть для себя мир с борта парусника, подгоняемого морскими ветрами.

К концу дня мы брели по улицам куда глаза глядят, в ожидании момента, когда можно будет вернуться в гараж, как вдруг в южной части города нам попался на глаза столб с нулевой отметкой, означающей начало трансканадской дороги. Жюли испуганно спросила, сколько же километров отделяет нас от Монреаля.

— Около пяти тысяч, а может, и больше, — ответил я.

— Пять тысяч километров? Но это же расстояние от Брюсселя до Абджана!

— Не знаю, не считал.

В любом случае, для Жюли это было слишком много. Она не чувствовала в себе достаточно сил, чтобы преодолеть такой путь. Я видел, что она пришла в отчаяние и готова заплакать, — я-то хорошо ее знал, мою Жюли. Что же нам все-таки делать? Ускорить отъезд из Америки? Сесть в самолет, бросив наш трейлер в Виктории? Я представил себе лица наших родителей в бельгийском аэропорту: "Вы откуда? — Из Виктории. — А где это?" Жюли и сама не знала, как лучше поступить. "Ладно, будем решать это в Ванкувере, — сказал я ей наконец. — Все равно отсюда мы далеко не уедем".

Начался мелкий дождик, и мы ускорили шаг, торопясь вернуться в гараж. Машина была готова, и наш счет — тоже; при виде его мне стало так тошно, словно я нахлебался соленой морской воды. Но я не посмел протестовать, слушая, как механик перечисляет проделанные работы. Количество замененных деталей выглядело таким же устрашающим, как стоимость ремонта. Мог ли я знать, что, нажимая на тормозную педаль, спровоцирую такую катастрофу?!

Мы тотчас покинули Викторию, спеша сесть на паром до Ванкувера. Стоя на палубе парома, скользившего по воде между островами, мы смотрели на возникший вдали и медленно приближавшийся город. Мы только и знали о нем, что его название. Есть такие города на свете, которые существуют в нашем сознании только благодаря своим звонким именам. Ванкувер был из их числа.

Высадившись на берег, мы припарковали машину и пошли гулять в порт. Там мы купили открытки, и я послал одну из них отцу, горячему поклоннику Марселя Тири, с единст-

венной фразой: "Тебе, бледнеющему при слове Ванкувер"[1]. Жюли ограничилась короткой припиской: "Мы наконец прибыли сюда и часто думаем о вас". А Люк поставил внизу свой "фирменный" знак, похожий на граффити, которыми разукрашены поезда нью-йоркского метро.

Ванкувер оказался неинтересным. Если не считать китайского квартала, он походил на американские города, из которых мы поспешно сбегали. Несколько торговых пешеходных улиц создавали бледное подобие центра, но мы быстро их обошли, а больше смотреть было нечего. У Люка обнаружилась слабость к китайской кухне. Это было видно по его довольной мордашке, обмазанной кисло-сладкой подливкой или соевым соусом, когда он ел жаркое из свинины или курицу. А еще ему очень нравились палочки для еды, которые он использовал не по назначению, а чтобы барабанить ими по столу. Хотел бы я знать, сколько едоков открыли в себе талант барабанщика, сидя в китайских ресторанах?

Жюли разбудила меня среди ночи, она больше не могла терпеть боль. Таблетка дафальгана не помогла, боль не унималась. Наша простыня была испачкана кровью. "Нужно ехать в госпиталь", — сказал я, предчувствуя худшее. В приемном отделении ее положили на каталку и увезли куда-то по коридору; меня же попросили заполнить бумаги, необходимые для ее приема в больницу. Я писал, а сам думал о Люке, спавшем в машине: счастливчик, он-то ничего не подозревает. Через час меня позвали в зал ожидания, залитый безжалостным светом неоновых ламп. Было пять часов утра. У Жюли только что произошел выкидыш. Вначале я ровно ничего не уразумел из объяснений врача, повторявшего одно и то же слово — miscarriage[2]. Такие слова ведь не каждый день услышишь. И только по отчаянию в глазах Жюли я понял, что она потеряла своего ребенка. Ребенка, который был и моим тоже, а как же иначе. Но разве можно было сравнить ее горе и мое! Я взял ее за руку, сказав: "Бедняга Люк, он лишился сестренки". Не знаю, откуда взялась у меня уверенность, что это была девочка. Жюли молчала, сжимая мою руку изо всех своих слабых сил. Врач старался утешить нас. УЗИ показало, что плод вышел из матки целиком, а это значило, что чистка не обязательна. Через несколько часов Жюли сможет уйти из больницы. Увидев наши потрясенные

1. Марсель Тири (1897–1977) — бельгийский франкоязычный писатель, борец за автономию Валлонии. "Тебе, бледнеющему при слове Ванкувер" — название его стихотворения и одноименного поэтического сборника.
2. Выкидыш (*англ.*).

лица, он добавил, что сочувствует нашему горю, но мы должны знать, что третья часть всех беременностей заканчивается выкидышем. А мы, в нашем возрасте, вполне можем зачать ребенка примерно через пару месяцев. Если же Жюли не удастся справиться с депрессией, то у них здесь есть специалисты, готовые оказать ей психологическую помощь. Пытаясь хоть немного разрядить атмосферу, врач спросил, откуда мы приехали и что делаем в Ванкувере. Предвидя неизбежный вопрос: "Дорогая ли жизнь в Брюсселе?", который, похоже, не дает покоя всем врачам на свете, я сказал только, что Жюли очень устала, и тогда ее на несколько часов перевели в комнату отдыха, где и мне тоже удалось прилечь и заснуть.

Я совершенно забыл о Люке, оставшемся в трейлере. К счастью, больничная стоянка располагалась не на крутом склоне. Когда я пришел, Люк уже проснулся и весело щебетал, лежа в своем гнездышке. Я взял его на руки и вдруг разрыдался бурно, как ребенок, не в силах унять слезы. "Какой ужас! — думал я. — Что если бы Люк стал жертвой выкидыша! И не сидел бы сейчас у меня на руках и не вытирал бы мне лицо своими мокрыми пальчиками". При виде Люка, который бросился к ней, Жюли попыталась удержаться от плача, чтобы не превращать эту встречу в мелодраму. Это ей не очень удавалось, время от времени по ее щеке все-таки скатывалась слеза. Люк, доселе никогда не видевший нас в таком состоянии, тоже расплакался, видимо, смутно почувствовав, что лишился чего-то неведомого, безымянного.

К концу дня Жюли выписали из госпиталя. Пока она лежала там, мы с Люком сели на автобус и поехали в аквариум посмотреть на белого кита, который плавал в отдельном бассейне. Огромная туша то исчезала в глубине, то выныривала на поверхность, взбаламучивая воду и выбрасывая вверх огромные фонтаны, приводившие Люка в полный восторг. Я рассказал ему, как кит проглотил Иону и как тот благополучно жил у него в животе, питаясь рыбой и планктоном, а кит ничегошеньки не знал об этом. В общем, кит стал для Ионы кем-то вроде мамы.

Вечером Жюли сказала мне с дрожью в голосе, что у нее больше нет сил продолжать путешествие. Она чувствовала себя опустошенной и частично даже виновной в случившемся. Мы проявили элементарную неосторожность и пренебрегли советами медиков. Она не упрекала меня ни в чем конкретно, ведь мы принимали все решения вместе. Но пересечь Канаду с запада на восток — нет, это немыслимо, на такое не отваживаются даже канадцы. Я знал, что настаи-

вать бесполезно, Жюли не изменит своего мнения. "Ладно, мы решим завтра, — сказал я, обняв ее. — А теперь надо отдохнуть, ты должна выспаться, моя дорогая".

Ночью мне приснился кит, кувыркавшийся в волнах. Всякий раз, как он разверзал свою огромную пасть, оттуда вылетали десятки младенцев, которые тут же начинали плавать вокруг него, то и дело ныряя в море и выныривая обратно.

Что касается Жюли, то ей, по-видимому, приснились поезда. Во всяком случае, утром она заговорила со мной о трансканадском поезде, информацию о котором вычитала когда-то в своем путеводителе: это был Canadian Pacific Railway, комфортабельный экспресс, преодолевавший за четверо суток расстояние между Ванкувером и Монреалем. "Всего четверо суток? — переспросил я. — На машине это займет как минимум вдвое больше".

— Вот именно это меня и отпугивает. А ты поезжай на машине, если хочешь.

Последовала короткая дискуссия, касавшаяся судьбы Люка, чье общество мы стали оспаривать друг у друга: Жюли, ссылаясь на свое состояние, я — на невыносимое одиночество, грозившее мне во время этого восьми- или девятидневного переезда.

Потом мы отправились на вокзал. Поезд отходил ежедневно в восемь тридцать вечера, и на сегодня еще оставались свободные места. Мы купили билет для Жюли. Я спрашивал себя, чем на самом деле объясняется ее решение ехать поездом — усталостью от непрерывных странствий или, что более вероятно, усталостью от супружеской жизни? Ибо вот уже шесть месяцев как мы с ней жили бок о бок, не расставаясь ни на минуту, терпя друг друга с утра до вечера.

Сцена на вокзале вылилась в мелодраму, какими изобилует кино: душераздирающее расставание женщины с возлюбленным, матери с ребенком; когда Жюли взяла на руки Люка, слезы хлынули из ее глаз с удвоенной силой. "Люк, возлюбленный мой!" — шепнула она ему на ушко, тогда как ее возлюбленным, вообще-то, был я. В общем, смятение достигло апогея — смятение чувств, как это всегда бывает при прощаниях и встречах.

И вот мы в последний раз видим Жюли за окном ее купе, и я не верю своим глазам: неужели она сейчас уедет от нас в этом великолепном голубом экспрессе с золотыми буквами "Canadian Pacific Railway" на вагонах?! Она машет левой рукой, а правой утирает слезы. Люк машет ей в ответ, я тоже. Начальник вокзала дает свисток, и поезд медленно, с адским грохотом, трогается с места. Мы с Люком бежим по перрону

все быстрей и быстрей, чтобы не потерять из вида Жюли, которая высунулась из окна. Я кричу ей: "Pericoloso sporgersi!"[1], но тут поезд набирает скорость и с пронзительным гудком исчезает в ночной тьме.

Теперь я испытывал только одно желание — сесть в машину и попытаться нагнать поезд, чтобы встречать Жюли на каждой станции. Сверившись с картой, я увидел, что ближайшая остановка будет в Банфе, в районе Скалистых гор. Однако в этой гонке за поездом мне предстояло покрыть расстояние в восемьсот пятьдесят километров, а я не забыл, что, несмотря на новенькие тормоза, старичок "фольксваген" даже на ровной местности может ехать со скоростью восемьдесят восемь километров в час, не более. Может быть, поезд сделает остановку и раньше, в Хоупе или Камлупсе, но, пока я буду наводить справки на вокзале, он окажется уже далеко. Ладно, Люк, отправляемся в путь! Нам больше нечего делать в Ванкувере, тем более без Жюли. Снова зарядил мелкий дождичек: как говорили, самая привычная погода для Ванкувера, притом что здесь не бывает морозов, а это истинное чудо в Канаде, где температура иногда падает до минус тридцати, — самый подходящий климат для старых эскимосов, которые покидают свои иглу, чтобы отправиться умирать в Ванкувер, как другие старики едут оканчивать жизнь в Ницце или Майами.

Я вихрем сорвался с места и выехал на шоссе, идущее вдоль железнодорожных путей. Но поезд Жюли давным-давно пропал из виду. Даже его свистков уже не было слышно в темноте. Проехав несколько километров, мы уткнулись в опущенный шлагбаум, и я приготовился увидеть, как мимо нас промчится роскошный Canadian Pacific Railway с Жюли в вагоне; увы, это был нескончаемо длинный товарняк, мешавший нам проехать. Люк, привязанный ремнем безопасности к сиденью, заснул, устав от переизбытка эмоций. Это ведь и впрямь ужасно — первое расставание с мамой. Стоит только посмотреть, как малые ребятишки цепляются за юбки матерей на школьном дворе, в первый день занятий, рыдая так, словно расстаются с ними навеки. Нужно иметь каменное сердце, чтобы не дрогнуть при виде этой сцены.

Шоссе, пересекавшее Канаду с запада на восток, тоже значилось под номером 1. Интересно, какая инстанция присваивает номера дорогам и какими критериями при этом ру-

1. "Не высовываться!" (*итал.*)

ководствуются чиновники? Эти вопросы не давали мне покоя все последующие дни. В противоположность своему калифорнийскому аналогу, автостраде, которая идет вдоль океана, вполне заслуживая тем самым почетное первенство на карте, трансканадская магистраль проложена без всякого учета природного рельефа и с полным отсутствием логики: сворачивает то к очередной речке, то к американской границе. Вот и сейчас мы довольно долго ехали вдоль берега реки Томпсон. Время было уже позднее, я вилял вместе с дорогой, следуя указателям, ведущим к лыжным равнинным трассам. На дворе стоял сентябрь, до зимнего сезона оставалось еще несколько месяцев, но эти неизменные плакаты высокомерно игнорировали реальность. Я растроганно вспомнил озеро в брюссельском лесу Камбр, точно так же обвешанное щитами с изображением конькобежца и грозной надписью: "Запрещается выходить на лед!" Даже в самую страшную летнюю жару местным властям не приходило в голову снять эти плакаты, над которыми смеялись вспотевшие от зноя гуляющие.

Люк все еще спал, когда я поставил машину у берега реки, чье журчание, должно быть, навеивало приятные сны. Он не проснулся даже тогда, когда я стал укладывать его в постельку под крышей трейлера. В тот день он остался без ужина. Впрочем, я тоже. Нам было не до еды.

Я прошелся вдоль реки. Небо было темное, свинцовое. Я так измотался, что лег спать прямо в одежде. События прошедшего дня мелькали у меня перед глазами беспорядочно и назойливо, будто кадры какого-то безумного фильма. По мере того как проходила ночь, мною медленно завладевала странная боязнь, вначале смутная, затем более определенная и, наконец, выразившаяся в двух словах — страх смерти. Я представлял себе, как Люк, проснувшись, бесконечно и безнадежно зовет мать и отца — ее, исчезнувшую вместе с поездом, и его, испустившего дух. У меня в ушах звучали его рыдания, заглушаемые рокотом реки. И тщетно я убеждал себя, что в тридцать лет, если верить статистике, риск естественной смерти близок к нулю: мне не удавалось выбросить из головы образ Люка, покинутого, оставшегося в полном одиночестве.

Моя первая бессонная ночь, первая ночь без Жюли. Я то и дело протягивал руку, в неосознанной надежде коснуться ее сонного тела, но пальцы мои встречали только пустоту.

Было три часа утра, когда я встал, отчаявшись заснуть, и взглянул на Люка, крепко спавшего в гнездышке над моей головой: счастливчик, ему было еще неведомо это чувство не-

прикаянности, связанное с отсутствием близкого человека. Долго я глядел на него, вслушиваясь в его ровное дыхание и пытаясь найти сон в этом мерном ритме. "Младенцам все кажется таким простым", — думал я, укладываясь снова, и вскоре действительно забылся сном.

Лишь на следующее утро я, наконец, осознал, что нас ждет: мне предстояло пересечь всю Канаду с запада на восток, по шоссе № 1, то есть проехать пять тысяч километров, ведя машину по восемь часов в день, как будто я нанялся на работу. С момента отъезда в Америку я утратил всякое представление о времени, о четком распорядке дня, которому, однако, подчинялся, живя в Брюсселе: подъем в семь тридцать, офис с девяти до восемнадцати, отход ко сну в двадцать три часа, и так семь дней в неделю, поскольку выходные мало чем отличались от будней. Я быстренько прикинул: пять тысяч километров, поделенные на восемь часов в день, при средней скорости семьдесят километров в час, — как ни крути, получалось, что дорога займет девять дней, не меньше. "Вставай, Люк, надо спешить, если мы хотим успеть в Банф до темноты!"

Сев на берегу реки, мы сытно позавтракали, компенсируя тем самым вчерашнюю диету. Пока я прибирал в трейлере, Люк бросал камешки в воду, и я не упускал его из виду, то и дело остерегая: "Эй, Люк, осторожно, не подходи слишком близко к воде!"

Мы долго ехали вдоль берега этой реки, носившей имя производителя электротоваров Томпсона, по шоссе № 1, которое тянулось до озера Камлупс; ландшафт был, ей-богу, просто великолепен: леса, скалы и каньоны, проточенные водой, извечно готовой размывать каменистую почву, если она достаточно податлива. Окружающий пейзаж становился все более величественным по мере того, как мы приближались к цепи Скалистых гор, посылавшей нам навстречу свои водопады и крутые утесы. "Не правда ли, Британская Колумбия очень красива!" — сказал я Люку в тот момент, когда мы пересекали границу Альберты. Люк, знакомый с географией только по тем видам, что мелькали в окне трейлера, закивал. Я был вполне счастлив: приятно, когда рядом сидит попутчик, с которым можно поделиться впечатлениями и чувствами. Люк и сам отнюдь не молчал. Он то и дело указывал пальчиком на птицу, муху, листок, поднятый ветром, сопровождая этот жест взволнованными комментариями. Так мы и вели, каждый по-своему, два параллельных монолога, иногда сходившихся в точке общих интересов, например, в желании съесть конфетку, поиграть в мячик и побросать камешки в воду. Ес-

ли учесть, что Канада, с ее шестьюстами тысячами озер[1], является самым большим запасником пресной воды в мире, это последнее развлечение, как легко догадаться, могло занять бóльшую часть нашего времени. Предположим, мы будем встречать по пути полтора десятка озер в день, в таком случае, нам не хватит обеих наших жизней (тем более что я уже прожил порядочный кусок своей), чтобы замутить камешками зеркальную поверхность шестисот тысяч канадских озер.

Но поскольку сейчас нам, видимо, было суждено блуждать от озера к озеру, мы сделали остановку на берегу озера Луиза. Достигнув обрывистых склонов Скалистых гор, мы начали крутиться по серпантину, пересекая леса, перебираясь через потоки; все они располагались на разной высоте, и это очень не нравилось нашему трейлеру, чего он даже не собирался скрывать. Куда лучше он чувствовал себя на спусках, особенно с того дня, как ему сменили тормоза, и уж тут наверстывал потерянное время, дабы поддерживать хотя бы видимость средней скорости. Солнце придавало пейзажу грандиозный вид. Если бы не городок Банф, который мы покинули после короткой остановки на вокзале, убедившись, что Жюли уехала отсюда еще на рассвете ("Мама уехала, мама ту-ту!" — так я сообщил Люку о развитии событий), можно было бы подумать, что люди навсегда сбежали из Скалистых гор, оставив их на милость флоры и фауны. Мы никого не встретили по дороге к озеру Луиза, и только там, на берегу, увидели нескольких пеших туристов. Озеро, заключенное в тесную рамку скал, сияло яркой голубизной, над ним клонились дубы и лиственницы, росшие здесь, казалось, с незапамятных времен. Что же придавало воде эту дивную голубизну? Наверное, такой вопрос возникал у всех, кто с недоверчивым восторгом открывал для себя первозданную красоту озера Луиза.

Вечером мы поужинали, сидя у костра в толстых шерстяных свитерах, извлеченных со дна чемодана. В таком виде мы были похожи на настоящих охотников. Температура резко упала, и, глядя на заснеженную вершину горы Святого Брайда, высотой 3 315 метров, было понятно, отчего здесь так холодно. Люк с удовольствием уплетал пюре из печеной на углях картошки, консервированного шпината и мелко нарезанной жареной говядины. Горный воздух будил аппетит, и наше громкое чавканье не мог заглушить даже треск горящего хвороста.

1. В Канаде — 31752 озера площадью более 3 кв. км. и 561 — площадью более 100 кв. км. Остальные озера значительно меньше.

Я уложил Люка в постель, тщательно укрыв всеми одеялами и свитерами, какие попались под руку. На его долю уже выпала палящая жара, едва не приведшая к полному обезвоживанию, а теперь ему предстояло свыкнуться с северным холодом. В нашем стареньком трейлере отсутствовал не только кондиционер, но и автономный обогреватель: я уже говорил, что это была примитивная модель, обреченная переносить климат любых широт. Горный воздух обладает, помимо других достоинств, снотворным воздействием на организм. Стоило мне лечь, как я забылся глубоким, спокойным сном.

Однако на рассвете меня разбудил безжалостный толчок, едва не опрокинувший трейлер. Сперва мне почудилось, что я просто вижу страшный сон о морском урагане, но тут у меня над головой завопил Люк. Может, я плохо закрепил ручник или же нас по какой-то непонятной причине поднимает в воздух эвакуатор? Сидя на постели, я пытался собраться с мыслями, как вдруг в переднем стекле появилось жуткое видение — морда огромного гризли. Он стоял на задних лапах, опираясь передними на запасное колесо, вертикально закрепленное на капоте машины. Первым делом я крикнул Люку, чтобы он держался покрепче. Однако мои крики, перебиваемые воплями Люка, ничуть не встревожили медведя: казалось, он твердо решил обследовать наше жилище на колесах в поисках какой-нибудь пищи. Следующим рефлективным движением (все произошло мгновенно) я кинулся на водительское место и, оказавшись нос к носу со зверем, начал громко сигналить; это не отпугнуло гризли, зато разбудило весь лагерь. И тогда один из туристов, хладнокровный и знавший, как вести себя в подобной ситуации, запрыгнул в свою машину и стал надвигаться на медведя. Этого было достаточно, чтобы тот покинул свой наблюдательный пост. Я схватил Люка на руки, и мы еще успели увидеть, как гризли вразвалку уходит туда, откуда пришел, в чащу леса. "Испугался, Люк? — спросил я, утирая ему слезы. — Ух, как мы с тобой испугались, правда?" Думаю, медведя привлек на стоянку запах остатков нашей трапезы — горелой картофельной кожуры, брошенной возле кострища. Во всяком случае, он разрыл и тщательно обследовал угли и золу.

Я так переволновался, что лишь через несколько минут заметил, что прошел снегопад. Земля была скрыта под белым покровом. "Гляди, Люк, это снег!" Я скатал снежок и положил ему в руку. Не знаю, что он испытал при первом контакте с этим неизвестным веществом, почувствовал его рыхлость или его холод. Но поскольку он давно привык ки-

дать в воду камешки, то и снежок забросил так далеко, как только смог.

И уж, конечно, никакому бродяге-гризли не удалось бы отвадить нас от прогулки. Надев теплые ботинки, мы пошли бродить по берегу озера. Сухой морозец пощипывал лицо. Изо рта вырывались облачка пара. Под ногами поскрипывал снег. Из-за горы выглянуло солнце, вернув озеру его вчерашнюю царственную голубизну. Мы повстречали человека на снегоступах и группу вспотевших лыжников, которые скользили по снегу, отталкиваясь от него длинными палками. Не хватало только саней с собачьей упряжкой, чтобы Люк ознакомился со всеми традиционными средствами передвижения по снегу. Среди этих лыжников я заметил беременную женщину. Я горько подумал: а вот Жюли уже не беременна. И теперь она сидит в голубом экспрессе, который увозит ее от нас.

Незадолго до полудня мы собрались и поехали дальше, с опозданием на несколько часов по сравнению с запланированным расписанием. Машина шла так весело, словно ее, как и нас, взбодрил горный воздух. Она отважно преодолевала самые крутые склоны Скалистых гор.

Третью ночь мы с Люком провели на границе провинции Саскачеван. Здешний пейзаж не имел ничего общего со вчерашним. Куда только подевались заснеженные горы и бурные потоки?! Все было плоским, унылым и плоским.

Саскачеван — это индейское слово, означающее "река, которая течет быстро". Провинция и в самом деле получила свое название от реки, текущей к северу и омывающей город Саскатун. Но пока перед нами расстилалась, сколько хватало глаза, одна только пустынная зеленая равнина. Если бы не трава, колыхавшаяся под ветром, все здесь казалось бы безнадежно застывшим. В дороге нам часто попадались озера, но они были лишены всякой растительности и потому выглядели простыми водохранилищами и ничем не оживляли скучный ландшафт. Словом, вся эта местность вызывала лишь одно желание — прибавить скорость.

Ничего нового мы не увидели и под небом Манитобы. Интересно, чем могли заниматься в здешних местах индейцы до того, как их отсюда изгнали? Никаких руин, никаких остатков укреплений — ничто не указывало на их вековое пребывание ни в Манитобе, ни и в Саскачеване.

Проезжая через Виннипег, мы сделали остановку на вокзале и выяснили, что поезд Жюли давным-давно ушел. В настоящее время он, наверное, уже недалеко от Монреаля. Скоро Жюли выйдет из него, и на перроне ее встретит Полина, наша близкая знакомая.

Когда мы пересекли границу Онтарио, пейзаж снова заиграл красками. Пятую ночь мы провели в парке Сиу-Нарроус, в местности, покинутой индейцами-сиу целую вечность назад; мы устроили привал на берегу озера, усеянного островками, тянувшегося вдоль границы с Соединенными Штатами. Там я купил удочку и, запретив Люку швырять камешки в воду, чтобы не распугивать рыбу, забросил ее подальше в озеро, не спуская глаз с поплавка. Люк с большим интересом следил за моими действиями, полагая, вероятно, рыбную ловлю одним из вариантов его любимого развлечения. Наконец, у меня клюнуло, и когда я после нескольких неудачных попыток вытащил рыбу на берег, то увидел, что Люк оцепенел от ужаса. Вид рыбы, бьющейся на песке, пока я с неловкостью начинающего пытался вырвать крючок из ее окровавленного рта, привел его в полное смятение: впервые он присутствовал при медленной агонии живого существа, одного из самых древних на земле, как он узнает несколькими годами позже. Тем не менее рыба, зажаренная на огне вместе с двумя другими, которых мне удалось выловить (кажется, это были самые обыкновенные окуньки) отличалась восхитительной свежестью и внесла приятное разнообразие в наше меню, состоявшее, как правило, из рыбных котлет, которые я покупал, когда у нас кончались съестные припасы. Люку и раньше случалось наблюдать этот переход от жизни к смерти, на примере с муравьями, мухами или комарами. Но смерть рыбы прямо на его глазах выглядела для него истинной трагедией. Возможно, он даже сделал для себя страшное открытие, что и мясо, и овощи, составлявшие наш ежедневный рацион, также вели свою жизнь, до того как угодить на тарелку, активную жизнь, которой положила конец человеческая жестокость.

На следующее утро я позвонил Жюли из телефонной будки. Она благополучно встретилась с Полиной и Джеральдом, пришедшими встретить ее на вокзале. Путешествие прошло хорошо. Ей не терпелось услышать наши новости. “А Люк, как там Люк?” Я передал Люку трубку, и он рассказал ей на своем языке, как медведь чуть не опрокинул нашу машину. Потом я признался Жюли, что дорога была очень уж долгой и что я жду не дождусь нашей встречи в Монреале.

Итак, мы снова пустились в путь, занявший еще четверо суток; дорога шла мимо озер Верхнее, Гурон, Ниписсинг — эти пустынные водные пространства, бесконечные, как моря, тянулись до самого горизонта. Теперь мы с Люком питались только нашим уловом, добавляя к нему кое-какие овощи. Я смастерил для Люка удочку — нетрудно представить себе, с какой ловкостью он забрасывал ее в воду.

Каждый вечер перед сном Люк требовал сказку. Я придумывал их для него, черпая сюжеты в окружающем мире, который он осваивал день за днем: их героями были медведи, рыбы, лошади или собаки. Или, например, кит, освобождавший рыбку от крючка рыболова. Или медведь, спасавший собаку от съедения людьми. Хотел бы я знать, как поживает наша Пятница? И сохранил ли Люк хоть какое-то воспоминание о ней?

Стоило нам завидеть телефонную кабину, как мы звонили Жюли, чтобы сообщить ей, в какой точке на карте находимся в данный момент: в Атикокане, Тандер-Бей, Террас-Бей, Солт-Сен-Мэри, Норт-Бей, Чок-Ривер...[1]

Я хорошо помню наш триумфальный въезд на улицу Сен-Дени в Монреале. Повсюду кафе с открытыми террасами, повсюду толпы посетителей, попивающих белое вино. Я спрашивал дорогу, и мне отвечали по-французски. "Да-да, Люк, это не шутки, в этом городе говорят по-французски!" Я был измотан вконец. Руки мои взмокли, рубашка липла к телу. Мне никак не удавалось выбросить из головы шоссе № 1, которое на протяжении девяти дней непрерывной лентой разматывалось передо мной. Пока я ставил машину на Карре-Сен-Луи, Люк радостно пел, словно возвращался в родной дом. На второй этаж дома вела железная лестница. Я взял Люка на руки и прижал его крошечный пальчик к кнопке дверного звонка.

Джеральд был поэтом и депутатом, а также пламенным борцом за независимость Квебека. Полина была певицей и исполняла песни о любви и освобождении. Они были близкими друзьями моих родителей и, приезжая в Брюссель, всегда останавливались у них.

Полина ушла в кухню готовить ужин, и оттуда донесся ее голос — она напевала с приятной хрипотцой: "Все говорят, что это девушка, / А я вам говорю, что это Маникуте". Такую песню Люк слышал впервые в жизни. Он побежал к Полине, и вскоре мы услышали, как она тихонько повторяет: "А я вам говорю, что это Маникуте", а Люк тоненьким голоском вторит ей, включая, таким образом, в свой репертуар новое произведение — "Маникуте".

После ужина Люк устроил нам свою традиционную истерику: он хотел спать только в трейлере. Там — и больше нигде — его спальня и его постель. Вышел форменный скандал. Конечно, Карре-Сен-Луи, ровный, как доска, не имел ничего

1. Небольшие города в канадской провинции Онтарио.

общего с крутыми улицами Сан-Франциско, но давно пора было приучать Люка жить в нормальном — не на колесах — доме и ночевать в нормальной, стоящей на полу кровати. Однако Люк ничего не желал слышать и орал все громче и громче. Мы с Жюли рассыпались в извинениях перед хозяевами. Увидев нашу растерянность, Полина предложила свою помощь. Она унесла Люка в другую комнату, и вскоре его вопли стихли, уступив место детской песенке:

Все штаны с него спадали
Без присмотра нянек.
Оттого его прозвали
Маленький бесштанник...

Через час Полина вернулась, сообщив, что маленький скандалист крепко спит. Мы уж было стали благословлять квебекскую песню за ее снотворное воздействие, но тут она призналась, что добавила капельку водки в бутылочку с водой Люка: помогает безотказно — испытано на ее собственных детях, которым это абсолютно не повредило. Я напомнил Полине, какая грандиозная дискуссия возникла у нас в Брюсселе по поводу "травки", которую она курила вместе со своей дочерью с профилактической целью, чтобы заранее отвадить ее от "тяжелых" наркотиков, — так она объяснила моим ужаснувшимся родителям.

Перед сном Полина и Джеральд еще раз повторили, что мы должны чувствовать себя здесь как у себя дома, тем более что их общественные обязанности не позволят уделять нам много времени.

Итак, мы провели несколько дней в Монреале — городе, который был вполне привлекательным, несмотря на забитые автотрассы в центре и башни из стекла и бетона, которые высились над старинными, сохранившимися каким-то чудом кварталами. Если бы не эти островки старины, где звучала греческая, португальская, итальянская, китайская, креольская и квебекская речь, его легко можно было бы принять за американский город, только с еще более напряженным ритмом жизни. Джеральд и Полина разрешили нам пользоваться их велосипедами, и мы разъезжали на них по бульвару Святого Лаврентия и по улицам Шербрук и Сент-Катрин. Люк сидел на багажнике за спиной Жюли, в каске, купленной на блошином рынке, и во все горло распевал Бозо Бесштанника... В общем, мы обследовали Монреаль в течение трех дней — пешком, на метро или на велосипедах, и он нравился нам все больше и больше.

Но в любом путешествии есть своя оборотная сторона: рано или поздно наступает момент, когда где-то внутри звучит сигнал к отправке, нечто вроде зова к другим краям, под другими небесами. Полина и Джеральд, очень полюбившие Люка, хотели развлечь его и потому советовали нам осмотреть район Тадусака, в месте слияния рек Сагеней и Святого Лаврентия: в это время года там собирались киты, чтобы откормиться и пополнить запасы жира на зиму. А в открытом море, в заливе Святого Лаврентия, стоило посетить острова Магдалены, где можно увидеть тюленей с их детенышами, которые подпускают к себе людей. Полина с упоением описывала нам эти острова с их особенным светом, песчаными пляжами и красными скалами.

Наше возбуждение росло по мере того, как мы приближались к Тадусаку. Подъехав к берегу, мы попросили одного из рыбаков взять нас на борт его баркаса. И вскоре увидели вдали, в водах Сагеней, огромные туши. Это были белые киты, белухи, как назвал их рыбак. Их мирные водные игры, тем не менее, поднимали волны, которые весьма ощутимо покачивали наше суденышко. Люк смотрел во все глаза на этих гигантов, затаив дыхание, указывая на них пальчиком и пряча лицо на груди Жюли всякий раз, как один из них шумно нырял в воду.

Мы с Жюли нечасто спорили между собой, согласовывая ход нашего путешествия, его маршруты и этапы, хотя каждый из нас исходил при этом из собственных убеждений. Но в тот вечер между нами разгорелась ожесточенная словесная схватка. Жюли чувствовала себя неважно, ей хотелось вернуться в Монреаль и отдохнуть несколько дней либо там, либо в Нью-Йорке, перед отъездом из Америки. Я же, сам не зная почему, твердо намеревался продолжить путь до устья реки Святого Лаврентия. Глупо уходить с полдороги, подобно уставшему альпинисту, который идет вниз, тогда как до вершины осталась пара десятков метров. Наташкуан — вот название, звучавшее гордо, как Ванкувер, вот крайняя восточная точка на карте Канады, на берегу океана, куда я стремился всей душой. Жюли упрекала меня в эгоизме, а главное, в том, что я никак не сочувствую ее состоянию. "Ты думаешь, от выкидыша можно так скоро оправиться?" — кричала она мне, заливаясь слезами. И поскольку я упорствовал, было решено, что она вернется в Монреаль на автобусе вместе с Люком.

Эта разлука длилась всего пять дней. Два из них заняла у меня дорога в Наташкуан. Мы попрощались, уже почти остыв от ссоры. Жюли просто еще раз попеняла мне на то, что звала "моими безумствами".

Разумеется, делать в Наташкуане было совершенно нечего, разве только созерцать пустынный морской горизонт за островом Антикости. Правда, здесь я обнаружил бистро-кафе "На мели", где и "сел на мель" вечерком и где мне подали вино, которое я распил в честь того, что пересек всю Канаду от края до края, проделав путь в шесть тысяч четыреста километров и проложив маршрут от Ванкувера до этой крайней западной точки страны, связавший два великих океана. И вот теперь подошел к концу — концу чего-то, что мне и самому было непонятно.

Возвращение — три дня, не отмеченных ничем особенным, — прошло благополучно. В Годбу я сел на паром, переправился через реку Святого Лаврентия и добрался по правому берегу до Квебека, а там и до Монреаля.

Я позвонил в дверь квартиры Джеральда и Полины с каким-то странным чувством: мне вдруг показалось, что отныне наше путешествие будет складываться из одних лишь отъездов. Полина и Джеральд встретили меня так же радостно, как в первый раз. Люк бросился в мои объятия, и на его мордашке был написан нескрываемый упрек: как это папа бросил его на целых пять дней и ночей?!

Вспоминается, как на следующее утро Полина и Джеральд помогали нам загружать вещи в трейлер. Засим начались прощальные объятия, которые, по словам Полины, не следовало затягивать: долгие проводы — лишние слезы. Люку досталась большая часть звонких поцелуев, которые он щедро возвращал нашим хозяевам. Полина в последний раз напела ему Бозо Бесштанника. И мы, наконец, отчалили, глядя на четыре руки, машущие в прохладном утреннем воздухе.

Когда я сейчас рассказываю Люку о Джеральде и Полине, об их доме на Карре-Сен-Луи, где ему поневоле пришлось ночевать в обычной кровати, он отвечает, что начисто все забыл. И точно так же не помнит он квартиру на Кэролл-стрит, где жили Ральф с Джессикой, которых после возвращения в Бельгию мы больше не видели.

Сообщив им по телефону о нашем приезде, мы прибыли в Нью-Йорк, проехав предварительно через штаты Мэн и Вермонт; в пути мы почти все время молчали, словно хотели напоследок полнее насладиться американской природой, служившей нам в течение семи месяцев необъятным приютом.

Уже стемнело, когда мы въехали в Нью-Йорк со стороны Бронкса. Трейлер пересекал незнакомые, тускло освещенные кварталы с ветхими домами, обезображенными пожаром. Нам рассказывали, что обитатели Бронкса сами поджи-

гают свои квартиры, чтобы вытянуть у властей страховку. Банды чернокожих парней рыскали по улицам, словно помечая свою территорию. Здешний воздух был прямо-таки насыщен агрессией. На одной из площадей, заваленной мусором из опрокинутых баков, мы увидели догоравший автомобильный остов.

Мы с облегчением пересекли по мосту Гарлемский залив и оказались в Манхэттене с его небоскребами, яркими огнями и дорогими лимузинами. Потом проехали по Первой авеню до Бруклинского моста. И вот, наконец, стоянка на Кэролл-стрит и Ральф с Джессикой, ожидающие нас на пороге дома. Круг замкнулся. Мы вернулись в отправную точку нашего путешествия.

С тех пор прошло двадцать три года.

В одно прекрасное утро Люк объявил нам, что уезжает в Америку: он "нарыл" в интернете дешевый билет до Нью-Йорка. Он не знал точно, сколько времени продлится его путешествие: "Несколько дней, недель или месяцев, а может, и лет", — с улыбкой бросил он.

Время от времени он давал о себе знать по электронной почте. Мы следили за его передвижениями: он ехал на автобусе к югу. Когда он добрался до Нового Орлеана, его настиг ураган Катрина[1]. Только обеспеченные жители, имевшие внедорожники, успели покинуть город, до того как ураган разбушевался. Мы с ужасом смотрели по телевизору, как оставшиеся, в основном чернокожие, барахтаются в воде, цепляясь за доски и обломки своих рухнувших домов, брошенные на произвол судьбы, обреченные на голод и жажду, разорение и гибель. Город был отрезан от остального мира. Жюли всех поставила на уши, чтобы получить хоть какие-то сведения о Люке. Но посольства и консульства были бессильны нам помочь. Мы прожили две недели в страшной тревоге; каждый телефонный звонок звучал для нас похоронным звоном. И вдруг пришло сообщение от Люка из Мексики. Он находился в окрестностях Веракруса и спрашивал, как называлась деревня, где жили кофейные плантаторы, приютившие нас когда-то у себя в доме. Жюли перерыла все свои бумаги, но нашла только рецепт mole poblano, нацарапанный Викторией. Вот так, двадцать три года спустя, Люк шел по нашим следам, стремясь, наверное, отыскать то,

1. Ураган Катрина обрушился на штат Луизиана в августе 2005 г.

чего не нашли мы. Он провел два дня в Оахаке, где, по его словам, хотел бы остаться подольше.

А потом, в течение долгих недель, мы не получали никаких сообщений. Каждую ночь Жюли вскакивала с постели, чтобы прослушать автоответчик. Посольство Бельгии в Мехико ничего не знало о передвижениях Люка. И не располагало никакими средствами для его поисков. Мы вконец измучились от волнений, как вдруг пришло письмо из Ванкувера. Люк сообщал, что встретил в Сан-Франциско родственную душу и продолжил путь вместе с ней, этим и объяснялось его длительное молчание. "Люк влюбился!" — радостно объявила Жюли, приникнув к экрану своего компьютера. Наконец-то она вздохнула с облегчением. Они проехали вдоль тихоокеанского побережья втроем — выяснилось, что у Джесси есть двухлетний сын. И теперь хотели обосноваться в Ванкувере, если, конечно, найдут там работу. Жюли спросила, кто отец ребенка; Люк ответил, что ничего не знает: Джесси избегает разговоров на эту тему, она для них — табу. "Может, она по каким-то причинам сбежала от своего бывшего?" — подсказал я Жюли. Мальчика звали Джейком, и он их очень забавлял. Люк говорил с ним по-французски, ну а Джесси, естественно, на своем родном языке.

Наконец, после долгих поисков Люк нашел работу в ванкуверском зоопарке. Ему предстояло отвечать за программу питания животных: довольно сложная задача, если принять во внимание, что у каждого вида своя пища и свое расписание кормежек. Джесси тоже устроилась на работу, только менее экзотическую — в отдел бронирования отеля на шестьсот номеров. Письма от Люка стали приходить регулярно. Иногда в них была приписка от Джесси, она передавала нам привет.

Так прошло несколько месяцев; мы все сильнее тосковали по Люку, и в какой-то момент нам обоим одновременно пришла в голову мысль отправиться в Ванкувер и повидать его. Поскольку мне давно уже было за пятьдесят, нечего было и думать о путешествии через Канаду на машине или на поезде. Мы просто купили билеты на самолет до Ванкувера.

Люк и Джесси встречали нас в аэропорту. Мне показалось, что Люк очень изменился. Может, потому, что он держал на руках Джейка? Он как будто стал выше ростом, хотя ему давно полагалось перестать расти. Его светлые глаза пристально смотрели на нас, и чудилось, будто этот взгляд, пронизывая нас, теряется где-то вдали. Жюли ускорила шаг, побежала к нему. Люк, не глядя, сунул малыша Джесси за миг до того, как мать бросилась к нему в объятия. Пока они об-

нимались и целовались, я познакомился с Джесси и Джейком. Мальчик дичился меня, его мама робко представилась: "Меня зовут Джесси". Она сказала это по-французски с сильным американским акцентом — наверное, выучила эту фразу специально для нас. Настал мой черед обнять Люка. Мы не виделись несколько месяцев, всего-то несколько месяцев, а они показались мне целой вечностью.

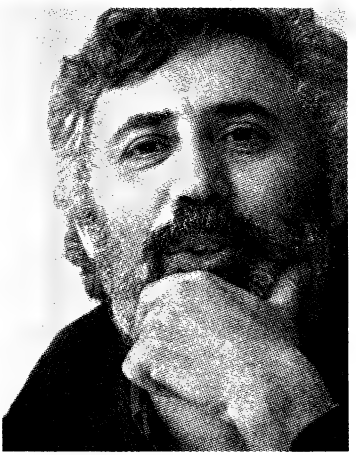
Квартирка у них была совсем крошечная. Мы спали в гостиной на диване-кровати, который складывали каждое утро. Вставали мы рано, чтобы позавтракать вместе с Люком и Джесси, которые потом убегали на работу.

Джейк скоро привык к нам. По утрам Люк отвозил его в ясли, но через несколько дней мы предложили Джесси оставлять его с нами дома. Вместе с ним мы обследовали весь ванкуверский зоопарк. Разговаривая с нами, Джейк лепетал что-то по-французски, но зато к обезьянам, которых особенно любил, обращался несколькими американскими словами: come to me, come to me...

Однажды, когда мы с Жюли любовались океаном, нам пришла в голову идея взять напрокат трейлер. Люк и Джесси были страшно довольны, что мы хотим попутешествовать вместе с Джейком.

Итак, мы погрузились на паром, шедший к острову Ванкувер. Ветер гудел, наполняя наши легкие кислородом. Мы с удовольствием дышали этим воздухом, какого не было больше нигде на свете. По вечерам мы укладывали Джейка в его гнездышко под крышей трейлера. Он тотчас же засыпал. В чистом ночном небе сияли звезды. "А не совершить ли нам бросок к северу?" — предложил я Жюли. Аляска по-прежнему манила меня. "Жизнь продолжается, — шепнула она мне в ответ. — Жизнь продолжается вечно".

Франческо Пикколо



Минуты будничного счастья

Перевод с итальянского и вступление Евгения Солоновича

Минутой далеко не будничного счастья стала для меня в минувшем году встреча с книгой прежде незнакомого мне писателя. Открытые наугад страницы — одна, другая, третья — призывали не останавливаться на них, а тот, кому они обязаны были жизнью, казалось, обращался ко мне с вопросом: неужели ты не переведешь мою книгу?

Ответом на его заочный немой вопрос является эта публикация.

Переводя "Минуты будничного счастья", я тщетно пытался определить жанр книги. Варианты (немногие) были, но все они упирались, как в стену, в булгаковские "Записки на манжетах" и в совсем уж не подходящие для итальянца астафьевские "Затеси"...

Варианты были, пока я не сказал себе: хватит. Пока не сказал себе, это не рассказы и не эссе. Житейские истории? Любовные? Возможно, хотя применительно не ко всей книге. Заметы? Может быть, хотя тоже применительно не ко всем страницам этого необычного коллажа. Ну вот, а говорил себе: хватит. Конечно, это коллаж. Коллаж из воспоминаний, впечатлений, мыслей, поступков, разговоров. Своего рода мозаика, сочетающая разновеликие детали.

"Минуты будничного счастья" — не первая книга Франческо Пикколо. Расширению круга читателей его романов и рассказов способствует рас-

© Giulio Einaudi editore s.p.a, Torino 2010
© Евгений Солонович. Перевод, вступление, 2012

тущая известность их автора как сценариста: по сценариям Пикколо и сценариям с его участием снято более десятка фильмов.

Свою первую книгу Франческо Пикколо не без кокетства озаглавил "Дневник бесталанного писателя" (1994), и не исключено, что именно ее он имел в виду, признаваясь: "Думаю, что я начал писать лишь потому, что меня неудержимо притягивали чистые листы бумаги".

РАННИМ воскресным утром, когда в городе пусто и тихо и он прекрасен, я выхожу из дома побродить по улицам. И каждый раз встречаю их — двух или трех, а однажды встретил целых пять. Реже попадается одна. Но чтобы не встретить ни одной, такого не бывает.

Все они элегантно одеты, все на высоких каблуках, но наряд субботнего вечера не вяжется с размазанной косметикой на утренних, бледных после почти бессонной ночи лицах. В ушах, бывает, блестят серьги, на платьях или пальто — брошки. Иногда случается пройти несколько кварталов, прежде чем я услышу стук каблуков или звук открывающейся двери подъезда, откуда выходит одна из них, досадливо щурясь от утреннего света.

Она провела ночь в чужой квартире и сейчас ищет в незнакомом районе бар, чтобы выпить по дороге домой каппуччино.

Сразу видно: она принадлежит вчерашнему дню и не имеет ни малейшего отношения к воскресному утру. Она красивая, очень красивая, бледная, растерянная, оглушенная усталостью. Обессиленная. Но под выражением потерянности, как под ковром, прячется намек на счастье. Я вхожу вслед за ней в бар, тоже беру каппуччино, стою чуть поодаль, но так, чтобы видеть ее; я, не собираясь с ней заговаривать, лишь смотрю, как она медленно крутит ложечку, уставившись в пустоту, зевая. Я наблюдаю за ней, пока она не направится к выходу, пока не застучат в тишине каблуки. Она открывает дверь бара и уходит, иной раз забыв заплатить. И только с этой минуты можно считать, что вчерашний вечер закончился.

Заранее покупаю билет на поезд. Придя на вокзал, не сразу сажусь в вагон. Жду. Разглядываю журналы в киоске, покупаю в автомате бутылку воды. За две-три минуты до отправления поезда вхожу в вагон. И приближаюсь к своему месту с надеждой. Часто мне удается оценить обстановку. Если мое место свободно, кладу наверх чемодан и сажусь.

Разочарованный.

Потому что получаю удовольствие, когда обнаруживаю, что кто-то сидит на моем месте, молясь про себя, чтобы я не пришел.

Я знаю, что он то и дело смотрел на часы, знаю, что всякий раз, как кто-нибудь двигался по проходу в его сторону, он боялся, что идет человек, который предъявит билет на это место, знаю, что всякий раз, когда оказывалось, что опасность миновала, он с облегчением вздыхал — с облегчением и с надеждой. И знаю, что сейчас, когда поезд вот-вот тронется, он думает, что всех перехитрил.

В эту минуту появляюсь я. С неоспоримым правом заставить его освободить место.

Я, который еще несколько лет назад боялся найти свое место занятым, потому что мне было стыдно говорить, что это место мое, стыдно и неприятно. А теперь я, как последняя сволочь, делаю это с удовольствием.

— Прошу прощения, но это место, *как будто*, занято.

И я показываю билет.

Я специально говорю *как будто* — даю ему возможность надеяться несколько секунд, что сейчас я отойду со словами: ничего страшного.

Но я стою как вкопанный. И он, униженный, уходит, почти убегает в поисках другого места.

Ты никогда летом не уезжаешь. Днем сидишь дома, а вечером бродишь по городу. Это твоя любимая в году пора. Август. Вернее, середина августа. Неделя, максимум десять дней — прекрасное время. Все разъезжаются, а ты остаешься. Это твой отпуск без отпуска.

Представь себе. Что у тебя есть балкон с видом на весь город, откуда с началом июня ты видишь, что народу на улицах прибавляется и что ночью никто не торопится домой — людям есть чем заняться, только успевай. В какой-то момент, правда, ты замечаешь, что народу внизу становится меньше. Если до тебя, когда ты свесишься через парапет, донесутся уличные разговоры, ты услышишь, что люди прощаются: завтра я уезжаю, увидимся после отпуска. Постепенно город пустеет. В середине августа город покидает последний из твоих друзей и ты наконец остаешься один.

Твой отпуск без отпуска — ты это так называешь. Тебе нравится, что ты в городе полуголых иностранцев, фотографирующих каждый уголок. В самые жаркие часы ты сидишь дома, ешь мало, но зато непрерывно читаешь, смотришь фильмы, которые записал в прошлом году. Перед тобой летняя страница "Репубблики", и ты время от времени туда заглядываешь:

нужно решить, что делать сегодня вечером. К пяти часам ты выбрал маршрут, который приведет тебя в три разных места. К шести часам из них остается два. К восьми — одно. Бывает и так, что ты собирался вечером в театр под открытым небом, но, подъехав к нему на скутере, не останавливаешься, проезжаешь мимо и колесишь по городу до глубокой ночи.

Иногда ты проводишь кучу времени в полупустых супермаркетах, закупаешь мороженое, чтобы держать в морозильнике. Часто пользуешься машиной (в другое время тебя не усадить за руль): тебе нравится, что, куда бы ни поехал, ты моментально найдешь, где припарковаться, но еще большая радость — вернувшись домой, найти для машины пять-шесть мест на выбор. Весь день, благодаря полуоткрытым окнам со ставнями, ты живешь в полумраке и кочуешь по квартире в поисках места на небольшом сквозняке. Ходишь по дому голый, валяешься на постели, глядя в потолок, — особенно после того, как примешь душ. А душ ты принимаешь по десять раз на дню. Тебе нравится, что время тянется бесконечно, нравится, что ты не знаешь, чем себя занять. Нравится даже, что от скуки ты вдруг начинаешь думать, не уехать ли тебе, начинаешь думать о друзьях, которые уехали кто куда, о том, как и к кому из них присоединиться. Нравится ходить взад-вперед по коридору в нерешительности: ну так что? я еду или не еду? Зная, что никуда ты не поедешь.

Когда ты выходишь из дома, куда бы ты ни направлялся, все заканчивается долгими ночными прогулками. Оставив далеко скутер или машину, ты идешь в гетто, на площадь Навона, на Кампо-Марцио. На своем пути ты встречаешь туристов, ищешь в их глазах восхищение тем, что они видят, и тебе нравится думать, что они смотрят на тебя и думают, что ты живешь здесь, по соседству. Ты ходишь до тех пор, пока не убедишься: эхо твоих шагов — единственное эхо в округе. Или выбираешь район Гарбателла, улочки в квартале Триест, виа Джулиа. Или тихие зеленые улицы на Монтесакро. Или Сан-Саба.

Почти всегда один. Иногда в компании. И тогда ты идешь до тех пор, пока не заметишь, что начинаешь отставать от своих спутников или что они начинают отставать от тебя.

Бывает, что ты проводишь это пустое августовское время с кем-то, кого едва знаешь, с кем виделся последний раз в лучшем случае полгода назад. И с кем перестанешь видеться уже в сентябре.

В этом году ты встретил ее. Вы знакомы, ты видел ее то там, то тут. Последний раз — в июле, на какой-то вечеринке,

и сейчас, идя с ней по ночному городу, уверяешь ее, что вы проговорили тогда весь вечер. Она же уверяет тебя, что разговаривали вы не весь вечер, а только сначала, и что весь вечер ты проговорил с девушкой из Израиля, которая приехала в Рим снимать какой-то документальный фильм. Израильскую девушку ты помнишь: девушка как девушка, ничего особенного. И еще помнишь, как в тот вечер один знакомый твоей сегодняшней спутницы посмотрел ей в глаза и сказал: по-моему, мы однажды целовались, правда? И она ответила да. Почему-то ты сразу понял, что запомнишь его вопрос и ее ответ.

Потом ты встречаешь ее на концерте. Перед началом вы идете выпить пива. Она говорит, что никуда не едет, потому что таким, как в августе, в другое время Рим уже не бывает. Ты не говоришь ей, что тоже так считаешь, — это было бы глупо. Ты молчишь. Но понимаешь, что проведешь отпуск в городе, с ней. Вы встречаетесь каждый вечер. Всю эту неделю, максимум десять дней. Пока не вернется кто-то, кто вернет тебя или ее домой. В Рим, каким он был до этого и каким будет потом. Не такой Рим, как сейчас.

По-моему, мы однажды целовались, правда? — сказал ей тот знакомый.

Она звонит тебе каждый вечер около половины седьмого. Вы не говорите о том, как провели день, вы видитесь только по вечерам. Бесконечно долго обсуждаете наперебой, что делать. Кино, театр, пиццерия. Всякий раз, когда кажется, что вы пришли к соглашению, один из вас предлагает новый план. Вам нравится все усложнять. Потом вы встречаетесь в условленном месте. Садитесь в машину или на скутер, доезжаете до границы того или иного района и дальше идете пешком. Ходите допоздна. Разговариваете. Иногда садитесь за столик в баре и заказываете мороженое. Она с тобой и одновременно со своими друзьями, даже если те уехали. Непрерывно отправляет и получает эсэмэски. На ходу говорит или слушает меня, отправляя или читая эсэмэски, отправляет или читает эсэмэски, говоря или слушая меня на ходу. Иногда улыбается, и, когда ты понимаешь, что не сказал ничего смешного, ты догадываешься, что ее улыбку вызвала эсэмэска. Тебя это не раздражает — скорее веселит.

Потом ты провожаешь ее домой. Вы входите в подъезд, поднимаетесь на последний этаж, у тебя одышка, у нее нет. Перед ее дверью вы останавливаетесь и долго разговариваете — не наговорились. На второй или на третий вечер, точно не помнишь, целуетесь. Поцеловавшись, ты желаешь ей

спокойной ночи и скатываешься по лестнице в исступлении, в каком скатываются по лестнице после поцелуев.

И так все дни. Звонок. Что будем делать? Споры. Выбор. Встреча. Прогулка. Эсэмэски. Лестница в ее доме. Перед своей дверью она выключает мобильник. И вы целуетесь. Так все дни, если не считать одной детали: целый день тебе хочется целоваться с ней. Вы долго целуетесь каждую ночь, она не предлагает тебе войти, да ты и сам этого не хочешь, ты хочешь стоять там, при тусклом лестничном свете, в тишине, и долго целоваться — тебе нравятся долгие поцелуи. Ты не спрашиваешь, нравятся ли они ей, но надеешься, что нравятся. Судя по всему, да. Вы не говорите о поцелуях. Каждую ночь вы поднимаетесь по лестнице на самый верх, ты с одышкой, она нет, и с каждой ночью знаете друг о друге немного больше. До этого она рассказала тебе, а ты ей, кучу историй. Вы кончаете разговаривать и начинаете целоваться. Вы только целуетесь, долго, много раз, а потом ты скатываешься в исступлении по лестнице.

Однажды вечером она приглашает тебя на ужин, вы едите, пьете вино, болтаете, слушаете до глубокой ночи музыку. Потом выходите на лестницу и только тут целуетесь. Долго, много раз.

Однажды она звонит тебе, как всегда, в половине седьмого. Ты готов бороться за то, чтобы идти в любое место, куда не хочет идти она. У вас такая игра. Ты готов. У нее более естественный и непринужденный голос, чем обычно, так что ты понимаешь: никакой он не естественный и не непринужденный. Ты ждешь, что она тебе скажет. И она говорит. Ей позвонила подруга, о которой она столько тебе рассказывала. Подруга вернулась из отпуска. Сегодня вечером она пойдет с нами. Ты поворачиваешься к стене, где висит календарь. Пытаешься вспомнить, какое сегодня число. Наконец вспоминаешь. Возможно, когда ты положишь трубку, кто-нибудь позвонит и тебе, скажет, что вернулся. Алло, куда ты пропал? — спрашивает она. Ты говоришь, что, если они давно не виделись, может, им лучше встретиться без тебя. А она говорит, что ты сумасшедший, что она хочет познакомить тебя со своей подругой. Ладно, говоришь ты. Они уже все решили — ты не возражаешь, говоришь "ладно". Некоторое время она молчит: уж слишком быстро ты сказал "ладно". Алло, кричишь ты в трубку, куда ты пропала? Вы договариваетесь о встрече.

Ты на нее не идешь. Выходишь из дома поздно, садишься в машину. Едешь в район Гарбателла, оставляешь машину довольно далеко и бродишь допоздна, обходя все тамошние дво-

ры. Когда начинают гудеть ноги, решаешь, что пора возвращаться домой. Свободных мест, куда ты можешь поставить машину, сегодня вечером уже меньше — всего два. Рядом с тем, которое ты выбираешь, загорелый мужчина выгружает из багажника чемоданы. Он весело с тобой здоровается. Сразу видно, рад, что вернулся. Дома на автоответчике ты находишь два сообщения. Вернулся Антонио. Вернулась Нина.

Ты помнишь ее поцелуи. Ты вспоминаешь о них, когда лето уже кончилось, вспоминаешь всю зиму. Как-то, после долгого перерыва, ты встречаешь ее на вечеринке. Чао! Чао! И вы обнимаетесь, как два человека, которые не понимают, что должно было случиться, чтобы они не виделись столько времени. Тут же ей приходит СМС, и она отвечает. Ты думаешь, что теперь твоя очередь посмотреть ей в глаза и сказать: по-моему, мы однажды целовались, правда? Но ты понимаешь, что не сделаешь этого, не сможешь, Хотел бы, но не сможешь. И думаешь, что ждешь не дождешься того вечера, когда это сделаешь. Однако это будет не скоро. А может, и не будет.

Театр не для меня.

Гаснет свет, наступает тишина, сейчас начнется спектакль. После нескольких секунд ожидания раздаются первые слова, и уже с первых слов, по первой фразе все понятно. И не только по фразе, но по тону, по постановке голоса, по использованию диафрагмы.

В театре после первой фразы тебе уже все ясно. Часто ты понимаешь, что в эту секунду время останавливается, останавливается навсегда. Ты в западне, выйти не можешь, остается терпеть. Ты прикован к своему креслу, и разворачивающееся перед тобой действо будет длиться часами, днями, неделями. Оно не закончится никогда. За стенами театра — люди, которых ты любишь, твои планы, и тебе приходится мириться с мыслью, что ничего этого нет. Жизнь будет продолжаться без тебя. А ты, запертый здесь, будешь до конца дней смотреть этот спектакль.

И все-таки спустя долгое время, когда ты уже не веришь, что такое возможно, когда ты уже старик, тупой, беспамятный, неожиданно и этот спектакль, которому не видно было конца, кончается.

И эта минута освобождения — прекрасная минута. Ты вскакиваешь на ноги и с удовольствием аплодируешь и кричишь браво: ты рад, что спектакль все-таки закончился, и хочешь как можно дольше продлить эту минуту — минуту, когда с уверенностью можешь сказать себе, что он закончился.

В супермаркете я всегда изучаю чужие тележки, пытаясь представить себе, что люди едят на обед, на ужин, какой образ жизни они ведут, что у меня с ними общего. Некоторые покупают то же, что купил бы и я, так что у меня есть все основания расписаться под их покупками.

Засунуть руку в глубину холодильника в супермаркете или в баре и достать бутылку молока, до истечения срока годности которого больше времени: это тем приятнее, чем старательнее ее заставили другими бутылками, чтобы вынудить меня купить молоко, срок годности которого истекает раньше.

Собираясь принять душ, моя жена регулирует воду больше часа, как раз до того момента, после которого, если повернуть смеситель на миллиметр влево, потечет кипяток, а если на миллиметр вправо — ледяная вода. После того как ей удастся в результате нечеловеческих усилий добиться нужной температуры и зеркало в ванной, напоминающей парилку, запотеет, она наконец становится под душ.

В эту самую минуту, ни секундой позже, я — клянусь, что *не нарочно*, — открываю кран на кухне, и напор воды в душе неожиданно становится слабее, а вода — ледяной. Я знаю, что жена забивается в угол кабины, потому что ей не хватает смелости закрыть душ, чтобы потом снова начать манипулировать смесителем, а главное, она верит, что через секунду это кончится, а пока вся сжимается, безуспешно стараясь увернуться от предательских капель, и кричит во все горло: "Закрооой! Закрооой!"

Если я слышу, — а за шумом двух струй и при закрытых дверях могу и не слышать, сколько она ни кричи, — я моментально спохватываюсь и закрываю кран.

Потом, когда она выходит из душа и, к моему удивлению, наступает на меня, бешено сверкая глазами, я все отрицаю, клянусь, торжественно клянусь, будто не помню, что открывал горячую воду, и только после долгого мучительного допроса признаю свою вину.

Но я действительно забыл, клянусь, что она принимала душ, иначе я бы никогда не дотронулся до крана.

Однажды в Сан-Ремо пели мужчина и женщина. В ту пору я был влюблен в девушку, которая жила очень далеко. Мы встречались с ней раз, а то и два раза в месяц. Я часто думал, что глупо, наверно, любить девушку, которая живет очень далеко, тем более что мы мучительно скучали друг по другу. Все события в жизни каждого из нас происходили, когда мы были не вместе. И в Сан-Ремо я был без нее.

Я думал об этом и в тот вечер, когда вдруг мне показалось, что мужчина и женщина поют специально для меня.

— Скажи, почему ты плачешь, почему ты слез от меня не прячешь, почему ты мне крепко сжимаешь руки? — спрашивает она.

Выдержав продолжительную паузу, он отвечает в лоб, с беспощадной откровенностью, необходимой в определенных случаях:

— Потому что думаю о разлуке. Не люби меня, я живу в Лондоне.

Он хотел сказать, что плачет потому, что их любовь невозможна: он живет слишком далеко. В Лондоне. Она — в Сан-Ремо, он — в Лондоне, какая уж тут любовь! Он говорил это мне и моей девушке, которая живет очень далеко. То был очевидный знак судьбы. Я много думал о нас, меня одолевали сомнения, и однажды вечером песня рассказала мне про человека, уговаривающего любимую девушку разлюбить его, потому что он живет слишком далеко.

В тот же вечер я позвонил своему другу.

— Ты слышал? — кричал я в трубку. — Это знак судьбы! Я должен расстаться с ней!

Когда наконец я дал ему возможность вставить слово, друг объяснил мне, что человек в песне не говорил девушке: "Не люби меня, я живу в Лондоне", и если бы я слушал лучше, то понял бы, что он отговаривал девушку любить его вовсе не потому, что он живет в Лондоне. На самом деле он говорил: "Не люби меня, я живу в темноте". Не *a Londra* (в Лондоне), но *all'ombra* (в темноте).

Он говорил "в темноте", потому что он слепой.

— Неужели ты не заметил, что он слепой?

— Конечно, заметил, но при чем тут это? Я не думал, что все слепые должны петь песни про слепых. Бочелли[1], по-моему, не поет.

Вечером в Риме по улицам дефилируют бутылки вина. Привычная для наблюдательного глаза картина. Одни аккуратно завернуты в тонкую бумагу энотеки, другие прячутся в полиэтиленовых пакетах супермаркетов, а то и в пакетах какого-нибудь магазина готового платья, прихваченных в последнюю секунду перед уходом из дома. Нагота бутылок попроще ничем не прикрыта, их крепко держат в руке люди, выходя-

1. Андреа Бочелли (р. 1958) — популярный певец. В двенадцатилетнем возрасте потерял зрение. (*Здесь и далее – прим .перев.*)

щие из машин или идущие по тротуару, внимательно изучая номера домов в поисках нужного адреса.

Вечером в Риме устраивают званые ужины. Приглашенные на ужин приносят бутылку вина. Этому молчаливому уговору неукоснительно следуют все, и тем не менее предусмотрительные хозяева дома сами покупают вино к столу: во-первых, они не знают, какое вино принесут гости, во-вторых, нельзя же откровенно рассчитывать на вино, которое принесут другие, и, наконец, в-третьих, всегда найдется кто-то, кому придет в голову явиться для разнообразия с мороженым или с тортом (мороженое и торт тоже нужно иметь в доме, хотя их может принести кто-то из гостей).

Когда гости входят, у одного из них в руке бутылка, и, как правило, на лестнице они только что спорили, кто из них должен ее нести. Спорили же они потому, что в момент перехода бутылки из рук гостя в руки хозяина (или хозяйки), тот и другой (или другая) испытывают определенную неловкость, в которой виновата как раз негласность уговора. Гость должен делать вид, что первый раз в жизни решился подарить кому-то бутылку вина, а хозяин (или хозяйка) — что первый раз в жизни получает такой подарок, а значит, нужно говорить: я подумал принести тебе вино, и нужно отвечать удивленным спасибо, означающим не стоило беспокоиться и одновременно какая приятная неожиданность! В подтверждение приятной неожиданности следует: а мы уже открыли вино. Отсюда вопрос: будем пить наше или откроем то, которое принесли гости. А если то, которое принесли, какое открываем? Бутылку Джорджо, Эмануэлы или Федерики?

По дороге из гостей домой полусонное молчание в машине прерывается словами: а они симпатичные (если они симпатичные), как-нибудь нужно будет пригласить их к нам.

И после паузы:

— Ты против?

— Конечно нет.

— Ты устала?

— Немножко.

— Потерпи, мы уже почти приехали.

Оставшись одни, хозяева, ставят тарелки и бокалы в посудомойку и говорят про гостей: а они симпатичные (если они симпатичные). Неоткрытыми остаются две-три бутылки вина. И если хозяева дома люди честные и простые и к тому же не отказывают себе в удовольствии выпить за ужином стаканчик-другой, в голове у них не может не мелькнуть дьявольская мысль, которую они гонят от себя, но которая, гони ее не гони, уже возникла, и звучит она так: эту мы отнесем, когда пойдем в гости.

Моя бутылка как раз из этих. Однажды вечером я принес ее в дом Аличе на Монтеверде, и она сказала, не стоило беспокоиться, а я сказал: не помешает. Эта бутылка стояла у меня дома, я опаздывал и, убегая, в последнюю секунду схватил ее. Аличе посмотрела на нее с любопытством. Моя бутылка выглядела бы так же, как остальные, если бы не экзотическое название вина, которое придавало ей таинственности. В благоговейном молчании Аличе направилась к столу, чтобы поставить ее рядом с другими пятью или шестью, освещенными ярким светом в маленькой аккуратной комнате, где нам, гостям, негде было повернуться, но, когда Аличе говорила: к сожалению, квартирка у меня маленькая, мы в один голос протестовали: да что ты! — и это было чистой воды лицемерием, потому что квартира действительно была маленькая. Аличе милая, и, когда мы все уже ушли, я не жалел, что моя бутылка осталась у нее в компании еще с одной: обе, при всей своей застенчивости, наверняка были довольны соседством.

Потом на какое-то время я потерял ее из вида, мою бутылку, но вот она появилась, узнаваемая, в доме у Федерики, на зеленой улице в районе Сан-Саба, в одной из тех квартир, в которых ты мечтал бы жить, так что ты не устаешь повторять Федерике, что, если она когда-нибудь решит переехать, она должна будет сказать об этом тебе, хотя едва ли ты будешь единственным, кому она это скажет: за один вечер о том же Федерику успели попросить еще пять человек. Мою бутылку, слегка, как мне показалось, осунувшуюся и неприбранную, принесла лучшая подруга Аличе, которая, когда тебя слушает, улыбается так, будто для нее нет в жизни большего удовольствия, чем слушать тебя. Федерика буркнула ей: спасибо, поставь туда. Там я ее и увидел, но подошел ближе не сразу, хотя мне не терпелось убедиться, что она моя и что она меня узнала. Ничего удивительного: моя бутылка — все равно как машина той марки и того цвета, которые делают ее единственной такой во всем городе, и, когда ты вдруг видишь ее в другом районе, ты подходишь ближе, желая убедиться, что это именно она, а не другая, хотя другой такой быть просто не может. Ну конечно, это она, я ее узнал: похоже, она смирилась со своей судьбой и теперь скромно стоит на комоде, в дальнем ряду (ужин стоячий — следовательно, гостей много, а потому и много бутылок).

Добрых полгода спустя, к моему великому удивлению, она вернулась домой. Я узнаю ее сразу, ее держит в руке муж Росселлы, хотя Росселла с мужем у Федерики тогда не были и даже с ней не знакомы, как не знакомы они с Аличе и ее ближайшей подругой. Сегодня вечером у меня в числе прочих гостей

и Аличе, так вот она тоже долго смотрит на бутылку и при первой возможности обязательно подойдет к ней, дабы убедиться, что это именно она. Я знакомлю Аличе с Росселлой и ее мужем, имени которого не знаю, и, подождав, пока он сам его назовет, вырываю у него бутылку и прижимаю к груди, словно говоря ей, что здесь она в безопасности, она побывала во многих римских домах и теперь вернулась сюда, на Колле Оппио, к себе домой, на свое место. Я ставлю ее туда, откуда когда-то взял, и, ставя, качаю головой, как бы желая этим сказать, что мы живем в странном мире.

Ренцо, выбирающий в это время бутылки, чтобы поставить на стол, спрашивает меня: что с тобой? Я смотрю на свою бутылку, словно спрашивая у нее разрешения поведать нашу историю. Я рассказываю, что моя бутылка побывала в маленьких, но обставленных со вкусом квартирках, в многокомнатных квартирах, которые снимают студенты и в которых кухонные шкафы оккупированы консервами и полуфабрикатами, в домах в центре с их белыми диванами и великолепными светильниками, в квартирах с детьми, которые чудом ее не разбили, в квартирах на пьяцца Витторио с высоченными потолками и антресолями почти в каждом углу, моя бутылка, рассказываю я Ренцо, перевидала за эти полгода множество антресолей и банок пива, видела всевозможную мебель из Икеи и кучу мелочей из той же Икеи, включая штопор, который пытался ее изнасиловать; она видела столики, купленные в Индонезии, книжные полки, сделанные на заказ, видела паркет и свеженатертые полы шестидесятых годов. Она провела не один летний вечер на балконах, полных цветов, рядом с крошками жареного картофеля и скорлупой фисташковых орехов, она видела мужчин, которые, проведя ночь с женщиной, плели утром, перед тем как удрать, несусветную чушь; она видела наваленные на кроватях пальто, когда еще было холодно, и ряды мобильников на столе, которые время от времени вибрировали, отчего и она подрагивала — и это ей нравилось; она помнит ночи после ухода гостей и удручающие следы вечеринки и чьи-то слова, каждый раз одни и те же: уберем завтра. Она слышала разговоры о политике и о последнем фильме братьев Коэнов, слышала сплетни о людях, в чьем доме оказывалась через какую-то неделю, тысячу раз слышала, что квартиры подорожали, и миллион раз, что кто-то больше не хочет жить в Риме и рано или поздно из него уедет. Моя бутылка кочевала из района в район, то одетая в облегающую бумагу, то в пакете из супермаркета, а то и совершенно голая, и думаю, в конце концов догадалась, что, когда она слышит: что понесем? может, бутылку вина? — последние слова имеют прямое отношение к ней, и, если бы

она умела лаять, она бы с нетерпеливым лаем прыгала перед дверью, как собака, понявшая, что сейчас ее поведут гулять. Моя бутылка, говорю я Ренцо, знает римские дома и наших друзей лучше, чем мы с тобой.

Ренцо улыбается, смотрит на бутылку, ласково гладит ее. И прежде чем отойти, говорит: это не твоя бутылка, а моя.

— Хочешь сказать, что мне принес ее ты?

— Да, — отвечает он, — год назад, хорошая была вечеринка, — и отходит, не оставив мне времени спросить, купил ли он ее или она была у него дома. Впрочем, так лучше. Я не знаю, хочу ли это знать.

Когда перегорает лампочка и ты долго щелкаешь выключателем, глядя на нее в ожидании чуда. И когда кончается газ и ты упорно пытаешься зажечь его.

Оставлять свет в кухне или в прихожей, чтобы воры думали, что ты дома (хотя воры давно должны были понять, что люди, уходя вечером из дома, оставляют свет зажженным, да и вообще, какой дурак поверит, что вся семья целый вечер сидит в прихожей?).

В попытке развязать запутанный узел колотить им по чему придется. Удивляться, что это ничего не дает.

Выступая перед публикой, наливать воду в стакан и пить — по-моему, это придает мне значительности.

А еще мне нравится изображать из себя курильщика, хотя курю я редко и так и не научился разговаривать с сигаретой в углу рта, которая движется в такт словам, тогда как глаза полузакрыты, чтобы меньше щипало от дыма.

Больше всего мне хотелось бы уметь петь — только для того, чтобы прикладывать руку к уху, как это делают, когда ищут нужную тональность.

В доме, где никогда до этого не был, закрыться на ключ в ванной и любопытствовать, какой парфюмерией и косметикой пользуются хозяева.

Резким движением повернуть голову, танцуя латиноамериканский танец.

Однажды летом мы с друзьями ехали на Сардинию. Белому кораблю, казалось, не терпится покинуть неаполитанский порт. Я внизу, малюсенький, верхом на своем скутере. Рассеянный и веселый. Направляюсь к корабельному брюху. Скорость минимальная. Вдруг на молу трамвайные рельсы. В нескольких метрах от корабля. Несмотря на минимальную скорость колесо

скользит, и я падаю. Задница на асфальте, скутер между ног. Еще немного — и я засмеюсь, смотрю на друзей, сейчас я скажу: хорошенькое начало, и тут мне кажется, что асфальт чересчур горячий, но на самом деле асфальт ни при чем. Я кричу как резаный. Одним рывком освобождаюсь от скутера, как будто это набросившийся на меня хищник. Противоожеговая мазь на время спасает, но потом, в пути, боль возвращается и становится невыносимой. Ужас. Кожа на бедре содрана до мяса. Все очень просто: ожег приличной степени, ничего трагического, ежедневное смазывание и средства от заражения.

Единственный запрет: мочить рану.

Все остальное — пожалуйста. Боль пройдет, и я смогу делать, что захочу, не снимая с ноги повязку. Но вода исключается. Даже пресная, не говоря уже о морской.

Это первый раз, когда я на Сардинии. Мы с друзьями снимаем несколько соседних домиков в двух шагах от моря. Поднявшись утром и позавтракав, все идут на море и проводят там фактически весь день. В первый день на пляж иду и я. Вот как выглядит картина, которую я вижу: белейший песок и море такого цвета, какой может представить себе только тот, кто был на Сардинии. Все, кого я знаю, — в воде, и те, кого не знаю, — тоже. На берегу никого. Жара безумная, я обливаюсь потом, ни одного зонта, мне говорят, что могут для меня взять, если я хочу, но у меня нет ни малейшего желания, потному, торчать там, хоть и под зонтом, целый день и целые дни, завидуя прыгающим с дикими криками в воду и устраивающим в воде кутерьму. Я возвращаюсь домой, где немного прохладнее, и говорю себе: а не почитать ли мне ту книгу?

Открываю первую страницу увесистого томины в дорогом, по виду, издании, напоминающем издания Книжного клуба: на шикарном матерчатом переплете имя автора и заглавие, а внизу — Классическая библиотека, белые буквы на красном. Открываю и читаю: "Блажен ты, читатель, которому нечего делать...", закрываю, чтобы снова посмотреть заглавие и имя автора — мне кажется, что у него зуб именно на меня. Хотя если есть кто-то, кому нечего делать, так это как раз тот, кто, сидя в двух шагах от моря, не может пойти на пляж и не знает, как дождаться вечера. Читатель, каким я в эту минуту являюсь. На самом деле и эта фраза заслуживает внимания. Виноват, думаю, причудливый перевод, поскольку слова, которые я процитировал по этому итальянскому изданию, в оригинале звучат так: desocupado lector[1]. Что больше соответствует моему положению. Иначе меня

1. Досужий читатель (*исп.*).

не назовешь: я человек, который не знает, что ему делать целый день в двух шагах от знаменитого сардинского моря, человек в расцвете физических и умственных сил, у которого с ногой уже лучше, только вот бегать он еще не может (впрочем, бегать ему ни к чему, но это он переживет) и не может купаться. По-моему, я и есть в полном смысле слова desocupado.

Начиная с этой утренней минуты я забываю о море и о рухнувших планах: до конца лета время фактически исчезает. Я не могу бегать, а оно начинает бежать, и уже нет ни дней, ни ночей, ни утр, ни мыслей о загаре, ни рассказов с пляжей, ближних и дальних, — все исчезает: мои глаза пожирают, страницу за страницей, историю приключений в Ла Манче, мои уши не слышат ничего, кроме безумных рассказов Дон Кихота и Санчо Пансы. "Одним словом, идальго наш с головой ушел в чтение, и сидел он над книгами с утра до ночи и с ночи до утра; и вот оттого, что он мало спал и много читал, мозг у него стал иссыхать, так что в конце концов он и вовсе потерял рассудок. Воображение его было поглощено всем тем, о чем он читал в книгах: чародейством, распрями, битвами, вызовами на поединок, ранениями, объяснениями в любви, любовными похождениями, сердечными муками и разной невероятной чепухой, и до того прочно засела у него в голове мысль, будто все это нагромождение вздорных небылиц — истинная правда, что для него в целом мире не было уже ничего более достоверного"[1].

Итак, Сервантес писал, Дон Кихот жил, а я читал, и у всех троих была одна задача: повернуться спиной к окружающей действительности и создать параллельный мир, что позволил бы на смену мрачному создать более привлекательное время, веселое, романтичное, полное приключений. Когда намерения совпадают, когда трое — автор, его герой и читатель — настроены одинаково, книга обретает завершенность и может все. Например, оставить бесконечно приятное воспоминание о лете, которого, в сущности, не было.

Болезненная память на прочитанные книги: я помню, где их читал, чем занимался в ту пору, когда их читал, с кем о них говорил. Я снимаю книгу с полки — и иной раз достаточно обложки или запомнившихся слов, чтобы передо мной встали иные дни, возвращая тогдашние, всегда или почти всегда отчетливые переживания. Например, "Анна Каренина" сделала незабываемой зацементированную площадку в скверике у дороги, куда странной весной меня приводило каждый день после обе-

1. Мигель де Сервантес. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. Ч. I, гл. I. Перевод Н. Любимова.

да нетерпение узнать, хватит ли Вронскому смелости сказать Анне, что они больше не должны видеться. Так же как обратный путь на пароходе из Туниса связан со страницами нестоящей, быть может, книги Перл Бак "Любовь богини", которую одолжил мне один из попутчиков, — к этому времени я успел прочитать все, что было у меня с собой. Непредвиденный случай: отправляясь на отдых, я обычно везу с собой больше книг, чем успею прочитать, но иногда случалось потом в поисках чтения обходить предлагающие скудный выбор киоски (увлекательнейшие поиски — обязательно что-нибудь найдешь).

Помню, как недели через две, после того как прочитал "Ночь нежна" Фицджеральда, я приехал в Париж и, выходя с вокзала, увидел щит с надписью огромными буквами: "Tendre est la nuit" — рекламу пуховых одеял. Помню, что "Праздник, который всегда с тобой" я прочел не где-нибудь, а именно в Париже. Помню невысокую каменную ограду, лежа на которой читал "Тропик Рака", уверенный, что никогда не прочту более важной книги. Всего Пруста я прочитал, сидя за письменным столом, как будто готовился к экзамену, и при этом с таким нажимом подчеркивал отдельные места, что прустовские тома в моей библиотеке навсегда распухли от подчеркиваний. Первыми двумя книгами, прочитанными в моем первом римском доме, были "Пена дней" и "Степь". А "Декамерона" в изящном издании я читал урывками в Неаполе, на рабочем месте.

Но я читал также — и до сих пор помню их — книги, которые совсем не обязательно помнить: биографии каких-то актеров и даже книжку Эроса Рамаццотти "Похищение туринской команды" — рассказ о действительно имевшем место в Буэнос-Айресе похищении "Ювентуса", когда ему предстояло играть в финале Межконтинентального кубка; что-то из книг, прочитанных в отрочестве, например, "Влюбленность и любовь" Альберони и "Иметь или быть?" Фромма. Странно, что мы читали Фромма. Я помню августовский день, когда мальчиком прочел от корки до корки "Длинное путешествие в центр мозга" Ренато и Розеллины Бальби, совершенно не понимая, зачем нужно это читать. Прекрасно помню голубую обложку "Дорогого Федерико" Сандры Мило — предмет для мастурбаций, но главной книгой для занятия онанизмом была для меня "Внутренняя жизнь" Моравии. Того же Моравии я два раза подряд прочел "Агостино" в карманной версии издательства "Бомпьяни", в которой какие-то страницы повторялись, а какие-то отсутствовали. Помню, хотя до сих пор не понимаю, почему они мне нравились, "Мы носили матроски" и "Немного солнца в холодной воде". Было время, когда — тоже не могу сказать почему — я не пропускал ни одной книги Лучано Де Крешенцо.

Я выбросил в окно (я действительно сделал это, после того как заставил себя дочитать до конца) "На дороге" Керуака и годами говорил, что книга мне понравилась, потому что полагалось так говорить.

И должен сказать, что никогда, при всем моем уважении к нему, не был большим поклонником Конрада. Слишко много кораблей, и штормов, и матросов, бегающих с кормы на нос и обратно.

Не вдохновляют меня и описания усилий, с которыми героини из девятнадцатого века затягивают себя в корсеты. Или события в деревне, или люди, лазающие по скалам с риском для жизни. Если действие книги или фильма начинается в городе и в наши дни, я с первых страниц или по первым кадрам чувствую, что у такой книги и такого фильма есть все шансы понравиться мне.

Когда речь идет об убийствах, я, неведомо почему, не гадаю, кто убийца. Это исключает для меня множество книг о преступлениях и возможных убийцах.

У меня по три экземпляра "Прекрасного ноября" Эрколе Патти и "Белой недели" Каррера: я постоянно забываю о том, что они у меня есть (не о том, что я их читал, а именно о том, что они у меня есть, — не странно ли?). А одной из самых счастливых минут в отрочестве была для меня минута, когда я подписал договор о рассрочке на издания "Эйнауди" и тут же поспешил к полкам, зная, что могу выбрать любые книги, какие захочу.

Нужно еще сказать о маленьком грустном счастье, с которым мне приходится мириться. Это бывает, когда я открываю для себя книгу, фильм, песни. Мне не терпится поделиться с кем-нибудь восторгом, и тут оказывается, причем каждый раз, что со своим открытием я опоздал. Этот автор раньше был лучше. Прежние книги, прежние фильмы, прежние диски — совсем другое дело. Нынешним до них далеко. Раньше я готов был от унижения провалиться сквозь землю, и чаще всего это означало конец восторга, но постепенно я научился упорствовать и продолжаю любить вещи, которые мне нравятся, а то, что они дошли до меня поздно, ничего не меняет. Я чувствую себя немного глупым, но в то же время и немного счастливым.

А что сказать про специальный молоток в поезде на случай, если возникнет необходимость разбить окно? И что думают о таком молотке попутчики? Не знаю, обращали ли вы на него внимание. Он огненно-красный, новенький, с клеймом ГЖД — Государственные железные дороги, держится на двух

креплениях. Просто загляденье! Первая мысль при виде его: украду, хотя он мне, скорее всего, ни к чему, дома у меня, насколько я понимаю, нет таких окон, которые часто нужно разбивать, но человек слаб, иначе он не тащил бы в дом (чтобы потом выбросить за ненадобностью) игрушки из пакетов жареной картошки и не зарился бы в пабах на картонки под бокалы с пивом; а тут красивая вещь, полезная, новенькая, огненно-красная, так и просится, чтобы ее украли.

Интересно, что этот огненно-красный молоток находится в стеклянном шкафчике, на котором написано: "Для разбивания стекол в экстренном случае". Почему интересно? Да потому что молоток для разбивания стекол сам висит под стеклом, и было бы, по меньшей мере, странно, если бы он предназначался для разбивания собственного стеклянного шкафчика. А в стеклянный шкафчик его, по всей вероятности, спрятали от детей и от таких, как я, кто может позариться на него. И правильно сделали.

Теперь предположим, что я собираюсь воспользоваться этим молотком в экстренном случае, для которого он и существует. Но как мне его взять из стеклянного шкафчика, если у меня нет такого же молотка для разбивания стекол или любого другого предмета, чтобы разбить им стекло?

А если такой предмет у меня есть, зачем мне разбивать стеклянный шкафчик, чтобы взять из него молоток, когда я могу *непосредственно* этим предметом разбить одно за другим все окна в вагоне?

Какое нужно иметь воображение, чтобы представить, что при панике, которая неизбежно возникнет в ситуации, требующей использования молотка для разбивания стекол, кто-то найдет, чем разбить стекло, за которым чудо-молоток ждет не дождется, когда наконец им начнут разбивать окна?

Это напоминает игру в "Монополию", когда тебе достается карточка "Непредвиденных обстоятельств" с требованием: "если вы еще не в тюрьме, отправляйтесь туда и пропустите три хода". Но позвольте! Если я в тюрьме, каким образом я могу взять эту карточку? Мне ее подарят? Или кто-то из родственников принесет ее мне в передаче вместо апельсинов?

Девочкой моя жена долго дружила с мальчиком по имени Микеле. В течение многих лет, когда она рассказывала, что встретила Микеле или слышала о нем, ее родные неизменно спрашивали: это какой Микеле, наш?

С того дня, как мы поженились, и до сих пор, когда речь заходит о Микеле, я тоже не отказываю себе в удовольствии поинтересоваться: это какой Микеле, наш?

Или когда удается не ночевать не дома. Особенно в Неаполе.

Однажды вечером, много лет назад, я приезжаю в Рим и выгружаю из машины скудный багаж у дома на виа Домодоссола, сразу за площадью Ре-ди-Рома. Открываю окна в крошечной спальне и смотрю на кусочек неба, видный в квадрате между соседними домами. Я счастлив. Уже много лет я говорил себе, что перееду из провинции в Рим, и вот я сделал это, хотя знаю, что первое время мне придется трудно: моего появления никто не заметит. Так говорят мне все, и, поскольку я слышу это от всех, я тоже так считаю. Рим большой, в нем тьма народа, ты никого не знаешь, и никому не будет до тебя дела. Как если бы ты был пустым местом, говорят мне. Ладно, думаю я, но попробовать все же не мешает. К слову, то, что моего появления никто не заметит, меня вообще-то устраивает.

На следующее утро, в мое первое утро в Риме, я иду покупать газеты. Выходя из подъезда, вижу нескольких человек, сидящих в машинах на месте водителя. Машины стоят во втором ряду, двигатели выключены. Услышав стук захлопнувшейся за мной двери, люди в машинах разом поворачивают головы в мою сторону, отвлекаются от своих мыслей или перестают читать газету и все как один смотрят на меня, а я иду себе неторопливым шагом, делая вид, будто не обращаю на них внимания, а на самом деле поглядывая на них вскользь, краешком глаза; я вижу, как они медленно вытягивают шеи, как смотрят на меня не мигая, как следят за мной — именно за мной — взглядами; в их глазах пристальный интерес, мне кажется, все эти люди хотят что-то сказать мне, но я не представляю, что именно, не представляю, чем мог привлечь их внимание; получается, что это неправда, будто в Риме я пустое место, ничего подобного: соседи замечают появление нового человека, им интересно узнать, кто он, их любопытство так велико, что они не едут на работу, останавливают машины во втором ряду и ждут его; но уже в следующую секунду я понимаю, что этого не может быть, ведь я никому не говорил, что приеду вчера вечером.

Наверно, что-то случилось, наверно, они приняли меня за другого, за кого-то, кто сделал что-то плохое, или что это я сделал что-то плохое, сам о том не зная. Восстанавливаю в памяти вчерашний вечер: я приехал в Рим, занес вещи в квартиру и уже оттуда не выходил. Ничего плохого, по-моему, в этом нет. Тем не менее я подхожу к одной из машин, припаркованных у тротуара, чтобы посмотреться в окно, проверить, все ли у меня в порядке, — может, пятно на рубашке или лицо грязное. Как только я схожу с тротуара, все двигатели стоящих во втором ряду машин заводятся, одни водители включают все четы-

ре габаритника, давая задний ход, другие усиленно сигналят и орут, высунувшись из окна: я приехал раньше, я приехал раньше. Все машины визжат шинами, резко тормозя передо мной, я в страхе прижимаюсь к дверце машины, в окно которой только что хотел посмотреться, и думаю: что вам от меня надо? я ничего не сделал!

Один из них, самый шустрый, тот, что первым опустил стекло, спрашивает меня: вы уезжаете?

— Я только что приехал, — отвечаю с удивлением. — Я ищу газетный киоск.

— Значит, машина не ваша? — спрашивает другой.

— Эта? Нет, а что?

Они недовольно переглядываются и качают головами. Потом занимают прежние позиции и снова заглушают двигатели.

До меня не сразу дошло, в чем дело. А после того как дошло, возвращаться на виа Домодоссола стало означать для меня возвращаться домой. Подъехав, я останавливаю машину во втором ряду и, обводя взглядом подъезды соседних домов, жду, чтобы кто-нибудь вышел оттуда, и, когда он выходит, смотрю с замиранием сердца, не идет ли он к одной из машин, стоящих в первом ряду. Если он сходит с тротуара или опускает руку в карман за ключами, я включаю двигатель и перемещаюсь поближе, жестом показывая остальным, что приехал раньше. В противном случае я теряю к нему интерес и жду следующего.

Ночи, когда я просыпаюсь в четыре часа, встаю, варю себе кофе, а в доме все спят, и спят не только все в доме, спят все где бы то ни было, и впереди у меня несколько часов, когда я могу что-то делать, опережая всех в мире.

Таксист сухо здоровается со мной, спрашивает, куда меня везти, и мы едем. На первом перекрестке, если он видит какой-то непорядок (а он видит его всегда), он громко комментирует: посмотри на него, стал и ни с места, ну вот, а теперь еще скутера, это специально выделенная полоса, видишь?

Так он завязывает разговор. Через секунду поносит последними словами других водителей, мотоциклистов, пешеходов, представителей рода человеческого, независимо от национальности, пола, возраста.

Затем ни с того ни с сего переключается на политику. Говорит страшные вещи, приводит чудовищные аргументы, чтобы сделать ужасающие выводы. Каждое слово выдает в нем отпетого расиста, фашиста.

Он говорит, а сам смотрит на меня в зеркало заднего вида и, поймав мой взгляд, тут же меняет тон на вопросительный, но дружелюбный, не враждебный. Этот безумец почему-то уверен, что нашел во мне единомышленника, считающего, как и он, что иностранцев надо убивать, что за проезд по выделенной для общественного транспорта полосе следует давать три года тюрьмы, что люди старше шестидесяти лет должны сидеть дома, что необходимо вернуть смертную казнь и вернуться к колониальной политике.

Он смотрит на меня в зеркало заднего вида. Его глаза и его тон спрашивают, согласен ли я с ним.

В любых других обстоятельствах я злюсь, зверею, спорю, поворачиваюсь и ухожу.

Но такси особый, неповторимый случай: ты садишься в машину к человеку, который везет тебя на небольшое расстояние и которого ты больше никогда не увидишь. Вы с ним (или с ней) — один на один. К тому же этот человек везет тебя в нужное тебе место, и ты от этого человека зависишь. Лично я, оказавшись в таком положении, иду на поводу у собственной трусости, чем и объясняется возрастающая степень моей толерантности. Я думаю: что делать? Объяснять, что смертная казнь, как показывают исследования, не снижает количества преступлений?

Нет, удержусь.

Я думаю: ладно, черт с ним, все равно через две минуты я выйду.

И в течение этих двух минут, с намеком на улыбку, избегая встретиться с ним взглядом в зеркале, приговариваю: в самом деле. Я почти всегда приговариваю: в самом деле. А иной раз рискую поддакнуть: вы правы, к сожалению, в такой Италии мы живем; и, если он пожимает мне руку, позволяю себе добавить: люди берут такси, даже чтобы доехать до табачного киоска на углу.

Тем более мы с ним один на один, меня никто не слышит. Скоро я выйду и больше никогда его не увижу.

Ты взял себе за правило делать то, что не требует стояния в очередях. Ты не ходишь с каждым счетом в банк или на почту, ты не устаешь благодарить человечество за изобретение системы платежей через интернет, позволяющей производить любой вид оплаты, сидя перед компьютером. Ты никогда не ходишь на выставки в Конюшнях Квиринальского дворца, потому что в Конюшни Квиринальского дворца огромные очереди, и даже перестал спрашивать себя, почему туда такие очереди. Ты не ездишь на выходные за город, не

ходишь на концерты, потому что очереди в кассы предварительной продажи билетов выстраиваются с раннего утра. Ты бы с удовольствием ходил на выставки и на концерты, если бы кто-нибудь вызвался стоять за тебя в очереди. В противном случае о выставках и о концертах не может быть и речи. Ну и ладно, ничего страшного.

Если в супермаркете ты подходишь к кассе и видишь очередь, ты воровато оглядываешься и, выбрав момент, когда никто на тебя не смотрит, бросаешь тележку с продуктами — и до свидания; правда, пред тем как уйти, ты предусмотрительно вынимаешь из нее продукты, которые взял с холодильного прилавка, и оставляешь их среди энергетических напитков на последнем холодильном прилавке — том, что ближе к выходу. Продавцы будут злиться, но ты хотя бы позаботился о спасении скоропортящихся продуктов. Тактика у тебя простая: ты останавливаешься на некотором расстоянии от кассы и изучаешь очередь, делая вид, что оцениваешь ее длину и пытаешься понять, быстро ли она движется. На самом деле, любая очередь кажется тебе слишком длинной. Ты поворачиваешься к стоящему за тобой и говоришь: очередь. И уходишь.

Когда ты едешь куда-нибудь на скутере, твоя священная задача состоит в том, чтобы перед красным сигналом светофора оказаться впереди всех. Тебе все равно, забита ли дорога, заденешь ли ты кого-то зеркалом, оставишь ли несмываемую цветную полосу на чьей-то машине. Тебе все равно, что на тебя бросают косые взгляды, что кому-то приходится сдавать назад, чтобы пропустить тебя, что люди за рулем сжимаются в комок, когда ты, уверенный в себе, пробираешься между их машинами. Тебе все равно. Твоя единственная задача опередить всех, занять место в первом ряду, рядом с другими скутерами, такими же настырными и решительными, как твой, такими же самолюбивыми и самонадеянными, — в первом ряду, почти на пешеходном переходе, впереди всех. Под самым светофором, рискуя не увидеть, когда зажжется зеленый. Впрочем, тебе и видеть ничего не надо: засигналят машины, все разом, и ты поедешь. Первым или одним из первых. Перед тобой могут оказаться только мотоциклы и такие же, как твой, скутера. Машины, все до одной, сзади.

В ответ на косые взгляды, которые бросают на тебя из машин, ты отвечаешь уверенным ледяным взглядом. Затем вежливым знаком предлагаешь опустить стекло.

Когда они опускают стекло, ты говоришь: если бы я хотел стоять в очереди, я бы купил машину.

Обычно они понимают, что ты хочешь этим сказать. К тем же, кто не понимает, ты испытываешь умиление. Тебе бы хотелось разведать их привычные маршруты и дождаться первого дождливого дня. И когда такой день настанет, доехать следом за ними до первого красного светофора. Как только они останавливаются на красный, ты тормозишь рядом с ними. Ты не просишь их опустить стекло, это ни к чему, достаточно, чтобы они на тебя посмотрели. Им грех жаловаться, они в машине, а ты, жмурясь, съежившись, мокнешь под дождем. Ты хочешь, чтобы они чувствовали свое преимущество перед тобой, хочешь, чтобы они думали: так тебе и надо.

Ты не водишь дочку в зоопарк, сколько она тебя ни упрашивает, сколько ни плачет. Ты просто показываешь ей очередь у входа и говоришь: очередь. Дочка устраивает истерику, зная при этом, что ничего не добьется: она уже поняла, что не дело стоять в очередях. Может быть, она спрашивает себя, почему другие стоят, может, завидует детям других отцов, она хотела бы оказаться на их месте, она должна догадываться, что это судьба — быть дочерью человека, который стоит в очередях, или дочерью человека, который в очередях не стоит. Но это ничего не меняет. Ее родители в очереди не стоят, и она учится смотреть на очереди издалека и привыкает к мысли о возможности альтернативного выбора.

Потом появляется эта женщина, которая кажется тебе девочкой, и уже одно это плохо. Никто из женщин больше не должен был бы казаться тебе девочкой — только девочки. Появляется девочка, и ты понимаешь, что твоя уверенность в себе под угрозой, и это тебе не нравится. Но ничего не поделаешь. Ты знаешь, что вечером на скутере она будет дрожать от холода, что она привыкла по воскресеньям ездить на море, что она захочет, чтобы в магазин за продуктами ходила не одна, а с тобой. Она будет говорить, что очередь, даже самая длинная, движется быстро, каждый раз будет это говорить, уверяя тебя, что вы не потеряете много времени, что следует быть терпеливее, что ты должен верить ей, что ты капризничаешь, что нужно проще относиться к жизни. Что, стоя в очереди, вы разговариваете, и время идет незаметно. Все это, по большому счету, означает, что ты должен стоять в очередях. Ты понимаешь, что она — быть может, сама того не сознавая, — не хочет стоять в очередях, а хочет, чтобы вместо нее это делал ты. И понимаешь, что откуда-то из глубины твоего внутреннего я поступает сигнал, что ты готов сдаться. Что еще немного, и ты скажешь: ладно, попробуем. Что еще немного, и ты начнешь стоять в очередях, и, если холодно, ездить с ней не на скутере, а на машине. Ты

даже станешь ходить в супермаркет, брать талончик к прилавку колбасного отдела и не выбрасывать его, увидев, что ты девяносто шестой, а обслуживают шестьдесят третий номер, но будешь терпеливо ждать, читая газету или книгу. А то и ничего не делая — только наблюдая за бегом номеров на дисплее, определяя среднюю скорость их движения и прикидывая, сколько при такой скорости тебе еще стоять.

Глядишь, и она заставит тебя подумать однажды, когда ты при виде очереди задашься вопросом, не слишком ли она длинная и быстро ли движется, что она движется быстро. И что ты можешь стать в хвост. Чтобы заставить тебя, ей даже не потребуется особых усилий, потому что она сильнее, чем ты. В вашей жизни может даже произойти такой эпизод: вы с ней сидите в машине перед светофором, и какой-то мотоцикл старается протиснуться между вашей машиной и другой, и ты уверен, что он поцарапает тебе кузов только ради того, чтобы оказаться на светофоре впереди всех. И если ты посмотришь на мотоциклиста так, как ты на него посмотришь, не исключено, что он знаком предложит тебе опустить стекло, и ты поймешь, что́ он хочет тебе сказать.

И в эту минуту ты обнаружишь, что между красным сигналом светофора, царапиной на кузове — допустим, красной — и платьем девочки — допустим, тоже красным — существует чрезмерное совпадение, а чрезмерные совпадения равносильны судьбе, бежать от которой покажется тебе бесполезным. Если судьба послала твоей дочери отца, который не стоит в очередях, судьба пошлет тебе подругу, которая приучит тебя стоять в очередях. И все снова придет в равновесие. Комар носа не подточит. Иначе зачем было этой женщине появляться однажды в твоей жизни и почему она должна была показаться тебе девочкой? Она такая красивая, что тебе ничего не стоит влюбиться, это произойдет само собой, уже произошло, хватило одного мгновения, чтобы ты влюбился. Всё, приехали, если угодно. Вернее если это угодно ей.

Итак, ты покоряешься судьбе, если это судьба. Тебя тянет к девочке. Но девочка красивая, такая красивая, что к ней тянет не только тебя. Другие, пока ты смотрел на нее, опередили тебя. Не забивая себе голову совпадениями и прочей галиматьей, они потеряли меньше времени. Короче говоря, хоть это и не называется очередью, для тебя это очередь. Как ни крути. И остается только понять, не слишком ли она длинная. И быстро ли движется.

Вислава Шимборская

Нобелевская премия 1996 года

Карта

Перевод с польского К. Старосельской

От переводчика

Это — последнее стихотворение, написанное Вислава Шимборской и 31 января 2012 года переданное в редакцию еженедельника "Тыгодник повшехны" ее секретарем и ближайшим помощником Михалом Русинеком; на следующий день, 1 февраля, Шимборской не стало. А 20 февраля в Москве скончался лучший ее переводчик Асар Эппель. Мой перевод "Карты" — дань памяти Мастерам.

Плоская, как стол,
на котором лежит.
Ничто под ней не шелохнется
и не переменит места.
Над ней — от простого человеческого дыхания
не взвихрится воздух
и ничто ее чистых цветов не нарушит.

© Wisława Szymborska, 2012
© К. Старосельская. Перевод, 2012

Даже моря всегда приветливо синие
у истерзанных берегов.

Все тут небольшое, доступное, близкое.
Могу вулкан придавить ногтем,
полюса погладить, не надевая перчаток,
могу одним взглядом
охватить любую пустыню
вместе с рекой, которая вот она, рядом.

Бор обозначен тремя сосенками,
в которых трудно заблудиться.

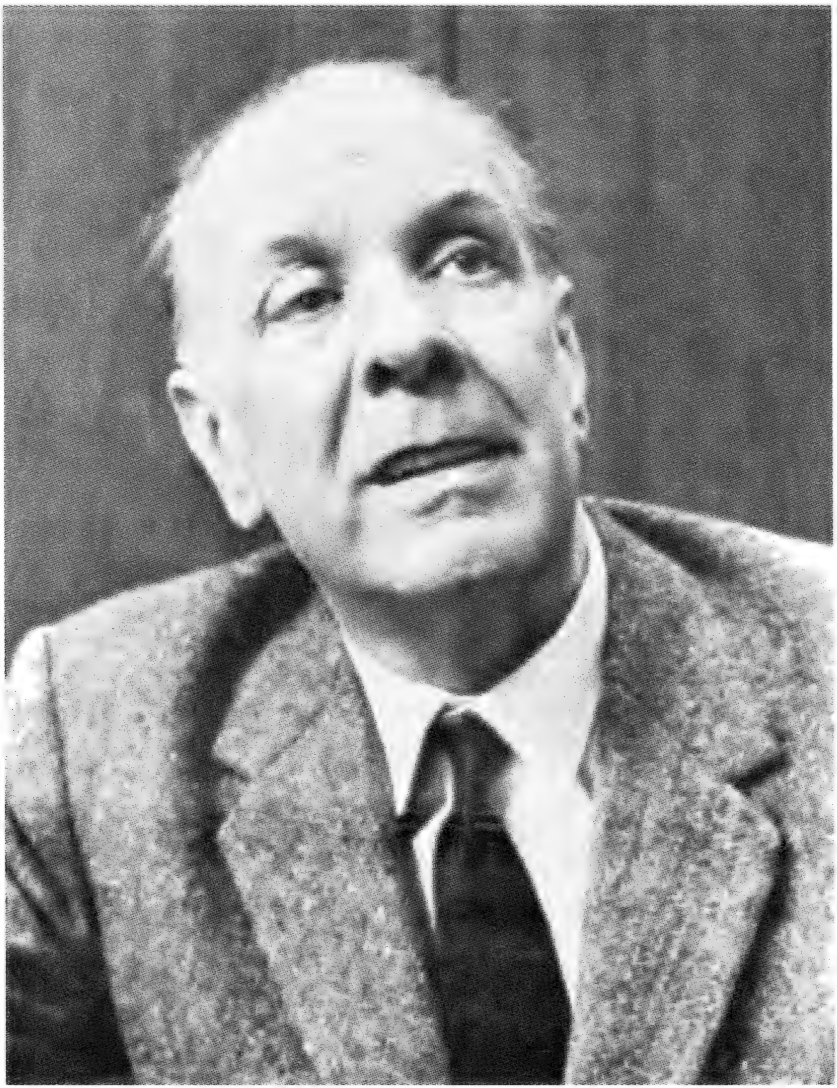
На востоке и на западе,
выше и ниже экватора тихо —
слышно, как пролетит муха,
а в черненьких точках мушиных следов
живут себе люди.
Массовые захоронения и неожиданные развалины —
не на этой картинке.

Границы государств чуть заметны,
как будто еще не решили:
быть или не быть.

Я люблю карты за то, что врут.
За то, что не подпускают настырную правду.
За то, что великодушно, с незлобивой усмешкой
расстилают для меня на столе мир
не от мира сего.

Хорхе Луис Борхес
Стихи разных лет. Борхеизмы

Перевод с испанского Павла Грушко



© 1995, Maria Kodama, used by permission of The Wylie Agency (UK) Limited
© Павел Грушко. Перевод, 2011

Из книги “Пыл Буэнос-Айреса” (1923)

Улицы

Улицы Буэнос-Айреса
стали плотью от плоти моей.
Не алчные улицы,
где донимает толпа и сутолока,
а безвольные улицы в глубине квартала,
где почти не увидишь людей,
затушёванные полумраком и сумерками,
и те, что подальше,
без сердобольных деревьев,
где неприветливые домишки,
удручённые вечными далями,
рискуют затеряться в беспредельности
неба и пампы.
Они прибежище для одиночки,
их населяют тысячи редкостных душ,
единственных перед лицом Бога и Времени
и безусловно чудесных.
Эти улицы расходятся к западу, северу и югу,
и они тоже родина — эти улицы:
вот бы в строчках, которые я пишу
плескали эти знамёна.

Юг

С одного из твоих дворов глядеть
на древние звёзды,
со скамейки в тени
следить
за разбросанными огоньками,
которые моё невежество не могло ни наречь,
ни собрать в созвездия,
слышать биение воды
в потаённом колодце,
запах жасмина и жимолости,
безмолвие спящей птицы,
ощущать свод прихожей, влажность,
возможно, всё это — стихи?

Из *книги* “Золото тигров” (1972)

В *манере пятистиший танка*

1

Выше по склону —
сад, весь в золоте лунном,
так и сияет.
Но только губы твои
намного слаще в тени.

2

Птица умолкла
в глуби тенистой сада.
Бродишь в печали.
Разве не вижу: тебе
чего-то недостаёт.

3

Чаша чужая,
меч, который другому
когда-то служил,
свет луны за окошком —
разве этого мало?

4

Тигр под луною,
в золотых позументах,
смотрит на лапы.
Не помнит, что растерзал
человека когтями.

5

Дождь так печально
омывает надгробье.
Грустно быть камнем,
грустно не быть человеческой
жизнью и сном на заре.

6

Не в пример предкам —
не погибнуть в сраженье.
Полночью скучной
быть тем, кто старательно
слоги считает в стихах[1].

Ослепший

Мариане Грондоне

I

Навечно он лишён земных обличий
и лиц, чьи не меняются черты,
нет близких улиц, все за три версты,
нет некогда бездонной сферы птичьей.
От книг ему остался только вид
того, что память — этот род забвенья —
удерживает в форме оглавленья,
являя вместо смысла алфавит.
Неверный шаг — и падаешь куда-то,
от уровней различных спасу нет...
Так робким узником сонливых лет
живу я без рассвета и заката.
Сплошная ночь. И ни души. Лишь стих —
ваятель беспросветных дней моих.

II

Со дня моего рожденья в девяносто девятом
от виноградных лоз и глубокого чана —
длинное время, что позже видится мигом сжатым,
зримый мир похищало у глаз моих постоянно.
Жадные дни и ночи вымарывали в упоенье
милые сердцу лица и дорогие строки,
попусту вопрошает моё иссякшее зренье
библиотеки и храмы, тонущие в поволоке.
Голубизна и пурпур стали серым туманом,
двумя пустыми словами. Зеркало полнится ныне
пепельной пустотою. В парке благоуханном
скорбную розу мрака я обоняю в унынье.

1. Как известно, в каждом пятистишье танка 31 слог (5+7+5+7+7). (*Здесь и далее – прим. перев., кроме тех, что принадлежат Х. Л. Борхесу.*)

Выжили только одни мертвенно-жёлтые тени,
Зреньем я наделён — лицезреть наважденья.

Золото тигров

До поры пожелтевших сумерек
я столько раз наблюдал,
как могучий бенгальский тигр
слонялся тропой судьбы
по вольеру, не понимая,
что это его тюрьма.
А там и другие тигры:
огненный — Уильяма Блейка,
другое золото — пылкий
Зевесов металл, и кольцо,
что каждой девятой ночью
зачинает девять колец,
а эти — новые девять,
и так без конца...[1]
С годами
стали меня покидать
прочие дивные краски,
остался лишь робкий свет,
нерасторжимая тень
и первоначальное золото.
О закаты, о тигры,
о пламя мифа и эпоса,
о самое дивное золото —
твои пряди, желанные
вот этим рукам.

Ист-Ленсинг, 1972

Из книги "Железная монета" (1976)

Элегия невозможному воспоминанию

Я всё бы отдал — только бы припомнить
тот пыльный немощёный переулок
среди приземистых белёных стен,
где стройный всадник заслонил зарю

1. О "кольце девяти ночей" любознательный читатель может справиться в гл. 49 "Младшей Эдды" — кольцо это звалось Драупнир. (*Прим. Х. Л. Борхеса.*)

(на нём большое выцветшее пончо),
вокруг равнина в некий день без даты...
Я всё бы отдал — только бы припомнить,
как мать в имении Санта-Ирене
глядит на утро и ещё не знает
фамилии своей грядущей — Борхес...
Я всё бы отдал — только бы припомнить
сраженье у Сепеды, где бы я
мог свидеться с самим Эстанислао
дель Кампо[1], встретив посвист первых пуль
своей беспечно радостной отвагой...
Я всё бы отдал — только бы припомнить
дверь в потаённом загородном доме,
которую отец мой еженощно
толкал, пока во сне не затерялся,
пока четырнадцатого числа
февральским днём 38-го года
не отворил её в последний раз...
Я всё бы отдал — только бы припомнить,
как корабли Энгиста[2] отплывают
от датских дюн, чтоб остров захватить,
ещё не ставший Англией покуда...
Я всё бы отдал — только бы припомнить,
как внемлю я Сократовым словам
в тот вечер неминуемой цикуты,
когда он преспокойно размышлял,
что есть бессмертие, неторопливо
суждения и мифы вороша,
а между тем от ног его холодных
струилась к сердцу синяя погибель...
Я всё бы отдал — только бы припомнить
тот миг, когда бы ты в любви призналась,
а я не мог бы до утра заснуть,
мятущийся, счастливый...

Из книги "История ночи" (1977)

Зеркало

Ребёнком я боялся увидеть в зеркале
чужое лицо или слепую, безликую

1. Эстанислао дель Кампо (1834—1880) — аргентинский поэт, автор поэмы о вольном пастухе-гаучо "Фауст", давшей начало так называемому гаучистскому направлению в аргентинской литературе.
2. Энгист — один из героев "Беовульфа", скорее всего, его прототип — саксонский король V в. Энгист Кентский.

маску, за которой скрывалось бы
нечто ужасное. И ещё я боялся,
что в зеркале молчаливое время
собьётся однажды с ежедневного курса
человечьих часов да и приютит
в своём ленивом мнимом пространстве
новые существа, формы и краски.
(Я об этом помалкивал — дети пугливы.)
Теперь я боюсь, не вобрало бы зеркало
истинное обличие моей души,
терзаемой мраком и прегрешениями,
которую зрит Бог и, возможно, люди.

Из *книги* "Тайнопись" (1981)

Гимн

Этим утром воздух
напитан невероятным благоуханием
райских роз.
На берегу Евфрата
Адам постигает всю свежесть воды.
Золотой дождь струится с неба любовью Зевса[1].
Выныривает из моря рыба,
и человек из Агригента[2] вспомнит,
что он был этой рыбой.
В пещере, которую назовут Альтамира[3],
безликая рука вычерчивает
крутой хребет бизона.
Рука Виргилия лениво ласкает
шелка, которые везли
из царства Жёлтого Императора
караваны и корабли.
Первый соловей запевает в Венгрии.
Иисус разглядывает на монете профиль Кесаря.
Пифагор рассказывает своим грекам,
что у времени та же форма, что у круга.
На одном из островов Океана
серебристые борзые преследуют золотых ланей.

1. Зевс, упав золотым дождём на заточённую в бронзовой башне Данаю, сделал её матерью Персея.
2. Человек из Агригента — древнегреческий философ и поэт Эмпедокл (490–430 до н. э.).
3. Альтамира — пещера в испанской провинции Сантандер с красочными настенными изображениями мадленской культуры позднего палеолита.

На звонкой наковальне куют меч,
который не подведёт Сигурда[1].
Уитмен поёт на Манхэттене.
Рождается в семи городах Гомер.
Дева только что пленила
белого единорога.
Прошлое возвращается, как прилив,
и все эти древности наплывают
потому, что тебя поцеловала женщина.

Удача

Каждый обнимающий женщину — Адам.
Женщина — Ева.
Всё вершится впервые.
В небе я увидел белое. Мне говорят, что это луна,
но что я могу сделать одним словом
и одной мифологией?
Деревья меня немного страшат. Они такие красивые.
Тихие животные приходят, чтобы я им нарёк имя.
Книга в библиотеке без букв.
Они возникают, едва я её раскрываю.
Листая атлас, я творю контур Суматры.

Зажигающий в темноте спичку изобретает огонь.
В зеркале таится ещё кто-то.
Глядящий на море видит Англию.
Читающий вслух стихи Лилиенкрона[2]
ринулся в битву.
Мне снился Карфаген и разорившие его легионы.
Мне снился меч и весы.
Да святится любовь без овладевающего
и овладеваемой, когда оба отдаются друг другу.
Да святится кошмарный сон, открывающий нам,
что преисподнюю творим мы сами.
Каждый, входящий в реку, входит в Ганг.
Глядящий на песочные часы
видит развеянную империю.
Играющий клинком предрекает смерть Цезаря.
Спящий — все люди.
В пустыне я видел юного сфинкса,
которого только что сотворили.

1. Сигурд — герой скандинавской мифологии.
2. Лилиенкрон фон Детлев (1844–1909) — немецкий писатель.

Под солнцем нет ничего сколь-нибудь древнего.
Всё вершится впервые, но на вечный манер.
Читающий мои слова, выдумывает их.

Суть

То, что в веках начертано другими,
не облегченье страху твоему,
ты — не они, вокруг ты видишь тьму,
свой лабиринт ты сам возвёл своими
шагами. Не спасут тебя, увы,
страданья Иисуса и Сократа,
ни золотой Сиддхартха[1], в час заката
принявший смерть под пение листвы.
Всё, что рука твоя запечатлела,
всего лишь прах, и всё, что ты изрёк,
лишь прах. Не знает сожаленья Рок,
и ночь Творца не ведает предела.
Из времени сквозного ты возник.
И в нем ты каждый одинокий миг.

Сон

Нас учит ночь своим делам волшебным,
мы распускаем с нею ткань Вселенной,
бесчисленные сопряженья следствий
и их причин, которые таятся
во времени, чья бездна необъятна.
Ночь хочет, чтоб забыл ты этой ночью
свой род, и кровь, и родовое имя,
забыл слова и слёзы всех людей,
всё то, чему тебя учила явь,
весь мир обманный геометров — точку,
прямую, плоскость, куб и пирамиду,
цилиндр и сферу, океан и волны,
и собственную щёку на подушке,
и свежесть новой простыни, сады,
империи и цезарей, Шекспира,
то, что всего труднее — что любимо.
Смешно: невзрачная таблетка может
стереть весь мир и учредить хаос.

1. Сиддхартха Гаутама (623–544 до н. э.) — индийский принц, основатель буддизма.

Слава

Видеть рост Буэнос-Айреса, его рост и упадок.
Вспоминать землистый двор и виноградник,
крыльцо и колодец.
Унаследовать английский,
домогаться англосаксонского.
Испытывать любовь к немецкому и тоску по латыни.
Беседовать в Палермо со старым убийцей.
Быть благодарным шахматам и жасмину,
тиграм и гекзаметру.
Читать Маседонио Фернандеса[1] его голосом.
Познать знаменитые сомнения,
коими является метафизика.
Прославлять клинки и разумно желать мира.
Не зариться на острова.
Не покидать домашнюю библиотеку.
Быть Алонсо Кихано
и не решиться стать Дон Кихотом.
Объяснять то, чего не знаешь,
тем, кто узнает больше тебя.
Радоваться дарам луны и Поля Верлена.
Правильно соткать какой-нибудь восьмисложник.
Снова рассказывать те же старинные истории.
Упорядочить на диалекте наших дней
пять-шесть метафор.
Избежать подкупов.
Быть гражданином Женевы, Монтевидео,
Остина и — подобно всем людям — Рима.
Боготворить Конрада.
Быть тем, что никем неопределимо, — аргентинцем.
Быть слепым.
Не столь уж диковинные вещи, но вместе — они
наделяют меня славой,
которую я никак не могу уяснить.

Нить жизни

В каком из моих городов я умру?
В Женеве, где я сподобился откровения
не столько Кальвина, сколько Вергилия
и Тацита?

1. Маседонио Фернандес (1874—1952) — аргентинский поэт, прозаик, философ. Близкий друг Борхеса.

В Монтевидео, где Луис Мелиан Лафинур[1],
ослепший и обременённый летами, скончался
среди документов,
готовясь написать беспристрастную
историю Уругвая, которую так никогда
и не написал?
В Наре, где на японском постоялом дворе
я спал на полу и увидел во сне ужасную
фигуру Будды, которую я тронул, но никогда не
видел?
В Буэнос-Айресе, где я почти что
чужак, учитывая мои немалые годы и то,
что взяли привычку брать у меня
автографы?
В техасском Остине, где мы с матерью
осенью 1961 года открыли Америку?..
Другие узнают об этом и позабудут.
На каком языке мне придётся умереть? На
испанском, который мои предки использовали для
команд при атаке или
при игре в карты?
На английском — той Библии, которую моя
бабушка читала, стоя лицом к пустыне?
Другие узнают об этом и позабудут.
В котором часу?
В рассветных сумерках голубя, когда нет ещё
никаких тонов, или в вечерних сумерках ворона,
когда ночь упрощает и расточает видимое,
или в банальные
два часа пополудни?[2]
Другие узнают об этом и позабудут.
Эти вопросы — не от
страха, а от нетерпеливой надежды.
Они часть рокового сюжета следствий и
причин, которые никто из людей не может
предсказать, да и боги — вряд ли.

1. Луис Мелиан Лафинур (1850–1939) — уругвайский юрист, эссеист, дипломат. Дядя Борхеса.
2. Борхес умер 86-ти лет в Женеве в начале первого часа ночи в субботу 15 июня 1986 г.

Борхеизмы

Аборт. Говорят, аборт убивает будущего Шекспира. Так ведь и Макбета.

Автографы. Я надписал столько своих книг, что в день моей смерти та, что не надписана, станет бесценной.

Ангелы. Журналисты взяли за обыкновение спрашивать: "Каково ваше послание?" Я им отвечаю, никакого послания у меня нет, послания свойственны ангелам, *ангел* ведь по-гречески значит *посланец*, а я никакой не ангел.

Бессонница. Недавно я никак не мог заснуть и стал подсчитывать количество стран. Дошёл до девятнадцатой и уснул.

Бестселлеры. В мою пору не было бестселлеров, и поэтому мы не могли предлагать себя публике. Не нашлось бы тех, кто на нас позарился бы.

Биографии. Всё это пустяшные, абсурдные упражнения. Некоторые сводятся лишь к упоминанию нового местожительства.

Блеск. Я предпочитаю быть тусклым и серым, нежели блестящим. Тем более блещущим.

Блеф. Я как-то гулял с другом и уловил, как шедший мимо парень сказал: "Борхес? Но это же чистый блеф!" Согласен, подумал я, но только блеф непреднамеренный. Я хотел поговорить с ним, но он ушёл, так что я до сих пор не знаю, блефую я или нет?

Братья Мачадо[1]. Безусловно у Антонио Мачадо есть ряд блистательных страниц, но и ряд других, где виден андалусец, который, стремясь выглядеть кастильцем, обильно использует географические названия. Я решительно склоняюсь к мнению

1. Братья Мачадо – Мануэль (1874–1947) и Антонио (1875–1939) – выдающиеся испанские поэты, которые придерживались противоположных политических воззрений, их пути во время Гражданской войны разошлись. Антонио придерживался республиканских взглядов. Мануэль после победы путчистов занимал видные посты, посвятил Франко стихотворение "Сабля Каудильо" (о чём сокрушался, узнав о смерти матери и брата, совершивших трагический исход во Францию).

Касиноса Ассенса[1], который считает, что Мануэль Мачадо превосходит своего брата Антонио. Разумеется, о писателе надо судить по его лучшим страницам. И я думаю, что лучшие страницы Мануэля не хуже лучших страниц Антонио. К тому же, полагаю, на оценку влияет то, что Антонио был республиканцем, а Мануэль франкистом, и мне представляется абсурдным судить о писателях по их политическим взглядам.

Будущее. Как-то во время длинных каникул, проведённых в Монтевидео, отец посоветовал мне запоминать всё, что нас окружало, потому что эти вещи будут исчезать, а я смогу потом рассказать моим детям и внукам, что я всё это видел. Он просил вглядываться в постройки, во флаги, в карты, где у каждой страны свой цвет, в мясные лавки, в церкви, в священников, в таможни, потому что всё это исчезнет, когда мир станет одинаковым и люди забудут о различиях. Пока что этот прогноз не сбылся, но, полагаю, однажды сбудется.

Буэнос-Айрес. Я всегда чувствовал, что есть в Буэнос-Айресе нечто, нравящееся мне. Он мне нравится настолько, что мне не нравится, что он нравится другим.

Вера. Я заметил, что верующие не чувствуют себя счастливыми. Наоборот, они живут в мире сомнений, у них ужасные представления о божественной справедливости, и, кроме того, они ждут поощрений или наказаний, которых не заслужили.

Верблюд. В Коране не упоминаются верблюды. Арабы, писавшие его, не сочли это необходимым.

Виды спорта. Вот бы изобрели игру, в которой не было бы проигравших.

Влияния. Нет такого автора, который не повлиял бы на меня, даже те, которых я не читал, даже те, которые мне не нравятся. Но если бы я должен был выбрать одного-единственного, я указал бы на Честертона, хотя Бернард Шоу лучше Честертона. Но ведь подражаешь не тому, кому хочешь, а кому можешь.

Время и пространство. Как-то я беседовал с одним аргентинским философом о времени. И философ сказал: "Каса-

1. Рафаэль Касинос Ассенс (1882–1964) – испанский поэт, романист и эссеист.

тельно этого вопроса имеет место значительный прогресс в последние годы". Я подумал, что, задай я ему вопрос о пространстве, он наверняка ответил бы: "Касательно этого вопроса имеет место значительный прогресс в последние километры". Философ этот достаточно известный.

Гардель[1]. С Гарделем меня роднит то, что нам обоим не нравится танго.

Голос. Какой голос был у Христа? Должно быть, ужасный.

Двуязычие. Ребёнком я знал, что с бабушкой со стороны матери, Леонорой Асеведо Суарес, я должен говорить одним образом, а с бабушкой со стороны отца, Фрэнсис Хаслам Арнетт, — другим. Со временем я понял, что эти два моих образа речи называются испанским языком и английским языком.

Демократия. Это очень распространённое суеверие и злоупотребление референдумами.

Джойс. Ограничься он написанием только стихов, несомненно стал бы лучшим англоязычным поэтом, но, выразив себя в прозе, он стяжал иное качество. Потому что роман не должен так уж поражать своим языком. Он не должен быть написан тем стилем, каким Кеведо писал стихи, или Лугонес[2] — "Сентиментальный лунный календарь" ("Lunario sentimental"). Он стал бы неудобочитаемым. Это и произошло с романом Джойса. Притом что каждая строка, каждая страница отлично усваивается, в целом же книга неудобоварима.

Доктрины. Те, кто говорят, что искусство не должно порождать доктрины, имеют в виду доктрины, не совпадающие с их собственными.

Дон Кихот. Мысль Мигеля де Унамуно о том, что Дон Кихот — образцовый герой, кажется мне ошибочной: сеньор этот вспыльчив и своенравен. Но, разумеется, безобиден.

Зависть. Тема зависти — очень испанская. Испанцы всегда думают о зависти. Упоминая о чём-то хорошем, они говорят "на зависть".

1. Карлос Гардель (1890—1935) — аргентинский певец, композитор и актер. А также прославленный исполнитель танго.
2. Леопольдо Лугонес (1874—1938) — аргентинский поэт.

Звучки. Взгляд Мигеля де Унамуно на поэзию кажется мне совершенно ложным, он, дескать, не был читателем "звучков". Я считаю, что музыка важнее идеи. Если вы говорите "принцесса бледнее снега на троне своём золотом"[1], этот стих безусловно кра́сив. Если вы говорите "на троне своём золотом бледнее снега принцесса", то вы не сказали абсолютно ничего, не так ли?

Зрение. Во сне у меня великолепное зрение... Во сне я читаю и думаю: "Неужели у меня восстановилось зрение?"

Индейцы. Индейцы-пампы считали на пальцах так: один, два, три, четыре, много. Бесконечность начиналась с большого пальца[2].

Искусство. Пусть бы каждый построил свой собственный собор. Зачем нам пользоваться чужими произведениями искусства, да ещё далёких эпох?

Испанцы. Испания кажется мне страной восхитительной, точней сказать, совокупностью восхитительных областей, особенно, когда я думаю о Галисии, когда думаю о Кастилии (здесь мой энтузиазм несколько остывает), когда думаю об Андалусии. Я полагаю, рядовой испанец, таких в Англии называют the man in the street[3], может служить образцом для подражания, особенно с точки зрения этики. Я не встречал ни одного трусливого испанца, я бы даже сказал, что не знаю ни одного бесчестного испанца. А вот испанские литераторы, за немногими исключениями, не вызывают моего восторга. Если бы я должен был сравнивать испанцев с другими народами, я сказал бы, что испанцы, в основном, превосходят других этически. К примеру, я не встречал ни одного глупого итальянца, ни одного глупого еврея, но встречал немногих испанцев, чей интеллект особо поразил меня. То есть я отметил бы этическое превосходство испанцев.

Кактус. У Флобера в "Саламбо" появляются кактусы, потому что за материалом для романа он отправился в Карфаген, не зная, что кактусы туда завезли из Мексики. Он думал, что

1. Строка из стихотворения Рубена Дарио "Сонатина".
2. Счёт начинался с мизинца.
3. Человек с улицы, рядовой человек (*англ.*).

они африканского происхождения. И ошибся, отправившись за достоверным материалом. Оставался бы дома, не совершил бы ошибки.

Кальдерон де ла Барка. Монолог Сехисмундо в пьесе "Жизнь есть сон" совершенно невообразим. Находясь в своей башне, он упоминает рыб и моря. Человек, всю жизнь живущий уединённо, заточённый в башне, не может размышлять о рыбах и морях. Этот монолог надо было бы переписать.

Католики. Аргентинские католики верят в иной мир, но я заметил, что они им не интересуются. Со мною наоборот: он меня интересует, но я в него не верю.

Корпорации. То, что военных судят военные, — абсурд. Вообразим водолазов, которые судят водолазов, или стоматологов, которые судят стоматологов.

Кубизм. Кубизм я не понимаю. Его теоретики утверждают, что все формы могут быть сведены к кубу. Не знаю, могут ли, тем более — есть ли в этом надобность. Я как-то решил поговорить на эту тему с Петорутти[1], но он не смог мне ничего толком объяснить. Ему нравилось изображать кубы.

Лицо. Хотел бы я знать, какое у меня сегодня лицо? Не знаю, какой жуткий старец разглядывает меня из зеркала. Возможно, вы можете сказать, какое у меня лицо?

Массы. Артист, который позволяет себе шутить с ведущим, принимается залом и нравится зрителям. Массы — простодушны. Это хорошо известно политикам.

Месть. Месть бесполезна, она жестока и абсурдна. Единственно достойная месть — забвение. И прощение.

Молодость. Меня спросили как-то: "Что вы думаете о современных поэтах?" Я ответил: "Есть один молодой и весьма многообещающий поэт — Вергилий".

Наименования. Обыкновение давать имена улицам — ужасающая привычка французов. Леопольдо Лугонес запретил

1. Эмилио Петорутти (1892—1971) — аргентинский художник.

называть улицу своим именем, но этого не приняли во внимание. Я тоже не хочу превращаться в улицу, площадь либо станцию, это было бы прискорбно. Не думаю, что в Англии есть улица Шекспира[1].

Наркотики. Не знаю, постигла ли меня неудача с наркотиками или, наоборот, это была удача: три раза подряд я принимал кокаин и понял, что это то же самое, что принимать ментоловые таблетки.

Национализм. Не надо печься о национальном. То, что мы сегодня делаем, станет в дальнейшем национальным.

Несчастье. Для художника всё что ни есть — во благо, включая несчастье. Всё — глина для лепки. Так что, по существу, со мной не может приключиться ничего плохого.

Неудача. Когда я был молод, часто говорили "raté"[2]. Слово "неудачник" не использовалось. Меня всё время тревожил вопрос, стану ли я однажды "raté"? Я не мог представить себе, что когда-нибудь буду знаменитым. Мне казалось весьма достойным быть "raté". Сейчас я понимаю, что с "raté" меня постигла неудача. И это печально.

Нобелевская премия. Я вечно буду претендентом на эту премию. Должно быть, это стало шведской традицией.

Приятное. Творческий процесс должен быть приятным. Если испытываешь трудности, значит, есть какая-то скованность. Письмо должно быть таким же самопроизвольным, как чтение, оба приносят радость. Хотя, возможно, пишут и по неосмотрительности, чего не скажешь о чтении.

Расстояния. Прежде расстояния были большими, потому что пространство измеряется временем в пути.

Революции. Может ли писатель быть революционером? Язык ведь так консервативен.

Рубен Дарио. Не знаю, что побуждает меня высокомерно относиться к нему. Мне кажется неприличным преувеличе-

1. В Стратфорде-на-Эйвоне такая улица есть (Shakespeare Street).
2. Raté — неудачник, неудачница (*франц.*).

нием связывать Рубена Дарио с символизмом, сравнивать его с Малларме. Дарио стал провозвестником литературной расслабленности: во французском языке ему были важны лишь метрические удобства, а для украшения своих стихов он воспользовался "Ларуссом". Впрочем, я не хотел бы отзываться дурно о Дарио.

Сближение. Я никогда не думал, когда писал, сблизиться с народом. По правде говоря, я ни с кем не думал сближаться.

Семья. Я вспоминаю об одной мысли Маседонио Фернандеса, которую я целиком приемлю. Он говорил, что испанцы и латиноамериканцы должны бы называть себя "семьёй Сервантеса". Нам трудно было бы объединиться, говоря, что мы "семья Кеведо", несмотря на его литературное величие. Но если мы назовем себя "семьёй Сервантеса", у нас не будет ни одного оппонента.

Синтез. Человек всю жизнь пишет книги ради одной страницы и пишет страницы ради одной строки.

Предрасположенности. Все искусства предрасположены к музыке, где форма является содержанием.

Профессии. Профессия писателя, поэта — выражать чувства. Ошибочно считать, что он хороший советчик.

Роман. Читать роман — всё равно что войти в комнату, полную незнакомцев, которых представляют вам одного за другим.

Слава. Я думаю, что мой успех во Франции обязан тому, что мои книги относятся к фантастике. Во всей Европе ждут или боятся, что латиноамериканский писатель напишет социальный памфлет либо опишет, как живут крестьяне. Я редко касался этих тем. Я писатель латиноамериканский, но никогда я не был латиноамериканцем по профессии. Я писатель современный, но никогда не был современным по профессии.

Собственность. После того как я написал свои рассказы, больше я их не перечитывал. Вы их перечитывали много раз. Они скорее ваши, чем мои.

Стиль. Любопытно, что стиль Бога почти тождествен стилю Виктора Гюго.

Счастье. Христианство полагает, что страдание возвеличивает. Я, наоборот, считаю, что возвеличивает радость. Не надо клеветать на счастье.

Танго. У танго низкое происхождение, что нетрудно заметить.

Университет. Университет должен заострять наше внимание на древнем и чужеродном. Если его заботит здешнее и нынешнее, то он бесполезен, поскольку он берёт на себя функции, которые и без него реализует пресса.

Угроза. Чем ещё можно угрожать, кроме смерти? Самым оригинальным было бы, чтобы кто-то угрожал кому-то бессмертием.

Усилия. Нам не следует стараться быть современными, потому что, как это ни печально, мы уже являемся таковыми. Другими мы и не можем быть.

Фрай Луис де Леон[1]. Когда читаешь Фрая Луиса, понимаешь: как личность он выше Кеведо и Гонгоры. Те были людьми барочными, заносчивыми, пытались удивить читателя. В них уже сквозит оцепенение испанского упадка.

Христос. Я неизменно питал к нему особого рода восхищение. Однако мне кажется, у Христа что-то избыточно, а чего-то ему недостаёт, и не всё в нем привлекательно, как того хотелось бы. Есть в нём что-то от политика, и порой он не очень убедителен, а иногда даже кажется мне демагогом. К примеру, когда говорит, что последние станут первыми[2]. Почему? А ещё — что нищие духом унаследуют землю. Почему? Я не понимаю этого. Ещё меньше я приемлю жалкую идею о том, что богатые не обретут Царствия Небесного, поскольку здесь, на земле, уже получили все сполна. Если Царствие Небесное вечно, как оно может равняться короткому числу лет земного блаженства?

1. Фрай Луис де Леон (ок. 1527–1591) — испанский религиозный мыслитель и писатель-мистик, монах-августинец.
2. В стихотворении Борхеса "Фрагменты апокрифического Евангелия" (отсылающем к Нагорной проповеди Иисуса. Мф. Гл. 5–7) есть строки "Недостаточно быть последним, чтобы сподобиться однажды быть первым" и "Несчастлив нищий духом, ибо под землёй пребудет он тем, кем обретается на земле".

Чаепитие. Бернард Шоу сказал, что в его комедиях всегда есть люди, пьющие чай, поскольку публике нравилось видеть, как актеры пьют чай.

Экзамены. Один преподаватель сказал ученику: "Расскажите о третьем акте 'Гамлета'". Ученик не смог ничего ответить, и профессор велел ему прийти ещё раз. Так и Шекспира отправили бы на переэкзаменовку, ведь разделение на акты и сцены было предпринято после Шекспира его издателями.

Экология. Понятие природы — понятие новое, его не существовало до романтиков. У древних его не было. Задумаемся о семи чудесах света. Грека, римлянина Альпы, например, просто ужасали. Дремучий лес казался Данте страшным.

Я. Все мои произведения автобиографичны. Я не умею выдумывать персонажей, как это делает Диккенс. Единственный персонаж у меня — это я.

Языки. Очень важен язык, с которым человек умирает. Я думаю, что умру с испанским.

Радослав Братич

Ты куда, Моисей?

Рассказ

Перевод с сербского Василия Соколова

В знаменитом кафе "Тигр", в пригороде Буэнос-Айреса Палермо, где каждый день собирались разные прославленные личности, в апреле 1921 года случилась драка. Ничего особенного или странного для этих мест. В газетах была напечатана полицейская сводка об убийстве актера, практически никому не известного. Вроде бы три перепивших клиента напали на несчастного и изрезали его ножами. Бедолага тут же и скончался — в луже крови. Об этом преступлении много чего говорили, но столько всего разного, и живописали в таких подробностях, которые превосходили самые изощренные фантазии. Очевидцы происшествия были, но они скрывались от общественности. Однако то, о чем умалчивала полицейская сводка, возникало в рассказах якобы присутствовавших при том лиц: убийцы были людьми известными. Наверное, как раз по этой причине их имена так и не предали гласности. Владелец кафе, судя по одним источникам, три десятилетия спустя стал горячим поклонником Перона, а по другим — противником его режима; он заявил, что ни с одним из участников ин-

© Просвета, 2003
© Василий Соколов. Перевод, 2012
Редакция благодарит Радослава Братича за любезно предоставленную возможность безвозмездной публикации рассказа на страницах журнала.

цидента не знаком, и вообще видел их впервые в жизни. Никто так и не мог сказать, поймали убийц, осудили их или же преступление осталось нераскрытым, как это очень часто бывает в больших городах. На то, чтобы люди забыли об этом случае и репутация заведения была восстановлена, потребовалось время. Теперь уже никто не вспоминал об этом убийстве и никто не знал, как звали жертву и где ее похоронили. Только на стене, над одним из столиков, осталась висеть трость покойного. Но кто помнил — тот помнил.

Как-то осенью 1923 года один известный аргентинский издатель выпустил книгу молодого писателя Хорхе Луиса Борхеса "Пыл Буэнос-Айреса". Критики восторженно приветствовали ее и единодушно постановили, что это — новый и свежий голос в латиноамериканской литературе. Следующие книги автора также пользовались успехом, и вскоре вокруг них образовались целые школы и течения молодых писателей Европы и Америки. Особенно расхваливали последний сборник рассказов Борхеса "Всеобщая история бесчестия", увидевший свет в 1935 году. С именем Борхеса чаще всего связывали следующие слова: "Вавилонская библиотека", "Алеф", "Тигр", "Лабиринт", "Зеркало", "Двойник". Они стали универсальной символикой для всемирной литературы, а сам писатель загадочнейшим явлением в литературе, чем-то вроде Минотавра, мифического хозяина подземелья. Вскоре писатель устроился на службу в маленькую библиотеку, где проработал целых девять лет, и, хотя позже он определил это время как "девять глубоко несчастливых лет", тем не менее, эту библиотеку назвал "пространством рая". Там он написал свои самые главные тексты и рассказы. Многочисленные критики и наилучшие специалисты в области литературного языка уже видели в нем будущего лауреата Нобелевской премии. Произведения этого писателя причисляли к вершинам современного искусства, а литературу стали делить на "до" и "после" появления Борхеса.

Удостоившийся в 1982 году Нобелевской премии Маркес, которого считали антиподом Борхеса, в официальной лекции произнес похвальные слова о творчестве своего соперника. А неофициально, на ужине, данном шведским королем в честь лауреата, Маркес сказал, что Борхес, безусловно, достоин наивысшего признания в литературе, да только очень трудно решить, кому из Борхесов следует ее вручить. Кто-то посчитал, что это просто остроумное высказывание великого писателя, а кто-то отнесся к его словам как к экспромту на извечную тему "писатель и его двойник". Один молодой итальянец, писатель и преподаватель литературы, прочитав в газете это сообщение, увидел и услышал в нем нечто большее. Этот молодой

стипендиат, имя которого в нашей истории не играет никакой роли, писал диссертацию по прозе Борхеса и совершенно случайно оказался в том самом кафе, где произошло убийство никому не известного актера. Он был там один и ненароком стал свидетелем громкой беседы посетителей за соседним столиком. Он расспросил официанта, и оказалось, что это известные писатели Леопольдо Маречаль, Мухика Лайнес и Бьой Касарес[1], книгу Касареса "Беседы с Борхесом" молодой итальянец только что прочел. Они спорили о произведениях Борхеса то всерьез, то со смехом. Лайнес сказал, что у него, как у главного героя, есть серьезные претензии к работе Маречаля и особенно к Касаресу. Подвыпивший Маречаль заявил, что он прекрасно знает, где чья работа, и нечего это обсуждать. Он, смеясь, заявил им, что каждый автор — диктатор, и он никому не позволит вторгаться на чужую территорию. Кто-то из них предложил поменяться ролями в следующей книге и восстановить справедливость, если она была нарушена. Касарес, который слыл большим мастером детективной прозы, смеялся до слез, предупреждая Маречаля, горячего поклонника Перона, авангардиста, увлекающегося мистикой, чтобы тот не забывал все же и о писателе.

Молодой преподаватель с огромным интересом и вниманием следил за остроумной перепалкой, надеясь узнать и имя писателя. Но веселые посетители вскоре покинули кафе. Молодой человек так разволновался от всего услышанного, он уже решил, что напал на след, ведущий к великому открытию. И в то же время его одолевали сомнения. А что если все это просто шутка, забава добрых приятелей. Но его подзадоривали и не давали покоя слова Маркеса, в них ему привиделась тайна.

Именно в эти дни молодой преподаватель прочитал в каком-то журнале беседу некоего журналиста с Борхесом. Писатель говорил: "Многие мои герои — мои недруги, они то и дело норовят подложить мне свинью и совсем со мной не считаются. Моя роль как писателя самая незавидная. Позвольте рассказать вам один анекдот, если у вас нет аллергии на анекдоты. Один актер гастролировал по городам и весям, рассказывая истории о храбром гаучо, которого преследует полиция. И вот в каком-то городке неподалеку от Буэнос-Айреса его попросили поменять имя главного действующего лица его пьески на имя

1. Леопольдо Маречаль (1900—1970) — аргентинский поэт и прозаик; Мануэль Мухика Лайнес (1910—1984) — аргентинский писатель, журналист, переводчик; Адольфо Бьой Касарес (1914—1999) — аргентинский писатель. (*Прим. перев.*)

местной знаменитости, скажем так, местного Билли Кида, чтобы доставить удовольствие здешней публике. Но за два-три дня до представления к нему явился старик. Актер сразу почувствовал, что этому человеку не раз приходилось убивать. Он был замкнутый, с трудом подбирал слова. Не мог даже толком объяснить, чего он хочет, поскольку всю свою жизнь только и делал, что убивал и убегал от полиции. Старик сказал актеру: 'Я слышал, что кто-то появится на сцене и объявит, что он — это я. Я хочу предупредить вас, что вам не удастся никого обмануть, потому что в этом городе меня знает каждый'. Актер пытался что-то говорить ему об искусстве драматургии, но несчастный гаучо ни в какую не желал понимать его. В конце концов, он заявил: 'Ну, может, вы и правы. Вы ученый человек, а я неграмотен. Всю жизнь я скрывался от полиции и боролся с ней. Но хочу предупредить вас, что хоть я и стар, но все еще могу постоять за себя. Если кто-то вылезет на сцену и скажет, что он — это я, у меня достанет силы подняться на сцену, и кое-кто об этом пожалеет!' И представление отменили". В конце интервью Борхес добавил: "Я часто спрашиваю себя, найдется ли в моих трудах хотя бы одна оригинальная строчка? Может быть, то, что мы называем вымыслом, есть всего лишь обрывки наших воспоминаний?"

Молодого человека это удивило, поскольку похожую историю про гаучо он слышал накануне в кафе. Рассказывал ее Касарес, а Маречаль и Лайнес уговаривали его, чтобы тот спас героя, за которым гонится полиция, и защитил его. Это еще больше разожгло любопытство молодого человека. Он провел в Буэнос-Айресе несколько месяцев, корпя над текстами Борхеса и о Борхесе, готовясь к диссертации, а потом, с помощью знакомых, сумел добраться и до самого писателя. Ему представилась возможность лично поговорить с Борхесом и задать ему непростые вопросы и даже настойчиво потребовать ответа на них. Эта встреча была для молодого человека как волшебное сновидение — и слепой писатель, и мистическая атмосфера его дома, и слова, произнесенные им. Более всего его занимала тема двойника писателя, которая так часто появляется в рассказах Борхеса. Сам Борхес говорил о себе, что он сам как писатель — это множество людей, и потому пребывает в постоянной полемике со вторым, третьим, четвертым Борхесом. Ответы, которые выслушал молодой преподаватель, были загадочными и многозначными. Вернулся он от автора с еще более тяжким грузом дилемм и вопросов.

Молодой докторант посещал литературные вечера, участвовал в дискуссиях, общался со многими писателями, критиками и профессорами. На одной из лекций, читанных Борхесом

студентам, писатель говорил о своих героях как о лицах, которые делают с ним все, что захотят, и повсюду сопровождают его. Один из описанных им героев показался внимательному слушателю похожим на Бьоя Касареса. Неужели и это всего лишь выдумка? Борхес цитировал разных авторов, пересказывал фрагменты своих книг, вспоминал записки, наброски, заметки. Говоря о своем двойнике, он походя сообщил, что Демокрит сам себе выцарапал глаза. Молодой преподаватель усмотрел в этом что-то схожее с судьбой Борхеса. А упомянув Микеланджело, знаменитый лектор поведал любопытную историю. Когда гений Возрождения закончил прославленную фигуру Моисея, ему показалось, что его герой выглядит каким-то хмурым, даже озлобленным. Собственное творение настолько испугало его, что скульптор решил, что Моисей может накинуться на своего создателя и даже убить его. Скульптор попросил своего друга привести в мастерскую певцов и музыкантов. И когда они пришли, Микеланджело запел первым, остальные присоединились к нему. Он хотел развлечь, развеселить своего героя. Они пели и играли до поздней ночи. Но Моисей оставался хмурым и злобным. Когда гости ушли, скульптор остался один на один со своим творением. Он пытался остудить свой гнев, но вместо этого впал в депрессию. А потом вдруг страшно разозлился. Какое право имеет созданный им герой так издеваться над автором и мстить ему? Он принялся орать на него, распаляясь все сильней и сильней, требовал, чтобы его герой ему ответил. "Парли, Моси, парли, Моси! Говори, Моисей, говори!" — кричал он. Но хмурая гримаса не сходила с лица Моисея. Тогда маэстро с громким воплем набросился на святителя и долго бил его молотком по ноге, пока наконец не понял, что колотит уже по собственному телу. По сей день — за ограждением — в храме Святого Петра в Риме можно рассмотреть шрам: незалеченную рану на колене Моисея. Говорят, когда гений утихомирился, его герой встал и пошел. Художник закричал: "Ты куда, Моисей?" Ему удалось вернуть Моисея, и тот принял прежнее положение, но с тех пор Микеланджело страдал от сильнейших болей в колене. А еще Борхес говорил о том, насколько жизнь писателя зависит от его героев. А молодой преподаватель вспоминал веселую болтовню в кафе и неспешно сопоставлял обрывки того разговора.

Вокруг Борхеса разгорались нешуточные страсти. Одни расхваливали его и возносили до небес, другие, в основном демократы и левые, осуждали за поддержку ужасного режима и даже обвиняли в симпатиях к фашизму. Его скромность, о которой часто говорил сам писатель, по мнению многих, бы-

ла не более чем маской, дающей ему возможность оправдывать свои довольно-таки странные взгляды. В текстах писатель часто себе противоречил. Обожатели охотно ему это прощали, другие же осуждали его и даже презирали. Молодой преподаватель, который родился на Сицилии, копался в архивах, изучал материалы. Он уже прекрасно представлял себе свой будущий труд о Борхесе и его творчестве. Перечитывая книгу Касареса "Беседы с Борхесом", он не мог не обратить внимание на то, как близки были взгляды обоих писателей. Как будто тот, кто задавал вопросы, сам же и отвечал на них. Итальянец не мог не заметить, что, когда речь заходила о Лайнесе и Маречале, один из них всегда представал страстным ненавистником Гитлера, а второй — поклонником Пиночета. Борхес же тем временем защищался от нападок — говорил, что, будучи незрячим, он не может читать газеты и потому не располагает необходимой информацией.

А между тем молодой преподаватель уже расшифровал псевдонимы Бустоса Домека и Б. Суареса Линча, имена которых стояли рядом с фамилией Борхеса на многих книгах. За ними скрывался никто иной, как Бьой Касарес. От одной женщины, работавшей поварихой в преподавательской столовой, он услышал совершенно невероятную историю. Ее сын, который преподавал литературу в Северной Америке, по секрету поведал ей, что Борхес — всего-навсего актер, который сам ничего не пишет. Борхес — это собирательное имя, метафора, придуманная группой писателей, издающих книги под чужим именем. А на сцене Борхеса изображает итальянский актер Аквилес Скатамаччи, ранее довольно известный в узких кругах. Женщина назвала и имена трех писателей, которые вместе сочиняют и стихи, и прозу, и эссе. Именно их наш молодой преподаватель и повстречал некогда в кафе "Тигр". Женщина рассказывала об этом скорее как об анекдоте, не придавая ему особого значения. Ей просто хотелось развлечь иностранца и показать, как много знает ее ученый сын.

После беседы с поварихой молодой докторант из Рима написал письмо одному из своих друзей с просьбой разузнать что-либо об итальянской семье Скатамаччи, и не переселялся ли кто-нибудь из них в конце прошлого или в начале нынешнего века в Аргентину. Вскоре он получил положительный ответ. Некий Сандро Скатамаччи, мореплаватель, в 1893 году уехал в Буэнос-Айрес, где у него родились дочь Нора и сын Аквилес. Последний якобы без особого успеха выступал на сцене и был убит в драке в одном из кафе; к тому времени он уже совсем ослеп из-за перенесенной травмы

глаза. И якобы где-то были опубликованы слова актера о том, что сначала он перестал различать белый и красный цвета, а потом и все прочие. Другие утверждали, что он вовсе не был слепым, но в его роду ослепли отец, бабушка и дед. Бабушка актера по отцовской линии была англичанкой, и многие члены их семьи пострадали во времена диктатуры Перона. У молодого ученого и писателя уже складывалась поразительное мозаичное панно, в котором все же отсутствовали некоторые детали. Действительно ли в кафе было совершено убийство, и как там оказался этот человек Аквилес Скатамаччи? И вот наш ученый отправился в кафе "Тигр", где его уже хорошо знали, и попросил о встрече с хозяином. Он хотел расспросить его о давнем убийстве некоего актера и об именах его убийц. Хозяин кафе, человек в уже более чем солидном возрасте, передавший заведение своему сыну, сказал, что ничего не помнит, а может, просто не хотел вспоминать. Потом итальянец направился в полицию, нашел бывшего судью, разыскал кладбище, на котором могла быть похоронена жертва. Но никаких следов могилы или надгробия обнаружить не удалось. Как будто вся эта история была тщательно продумана до мельчайших деталей. И тогда его осенило: актера не убивали в кафе, просто ему дали новую роль, а может, заодно и новое лицо. Символы всегда что-то скрывают. Он набрался храбрости, сел за стол и написал статью, смело развернув загадочные слова Маркеса в широкое полотно. Текст он напечатал в студенческой газете одного из университетов. Правый аргентинский журнал "Кабило" моментально перепечатал его удивительное исследование, потом статью опубликовали многие европейские и американские газеты. Весть об этом докатилась и до подножия трона Нобелевского комитета, и бомба взорвалась. Несмотря на свои реакционные взгляды, Борхес все же должен был получить высокую награду. Но теперь выяснилось, что Маркес вовсе не шутил.

Данило Киш в романе "Склад" воспроизвел сведения, напечатанные в упомянутом журнале. Говорят, что король Швеции, когда ему зачитали, или пересказали, эту статью, горько вздохнул: "Какой гнусный обман!" Одного из самых известных итальянских прозаиков, Леонардо Шаша, некоторые газеты напрямую связывают с именем трагического французского писателя Ажара. Шаша утверждал, что Ромен Гари придумал для своего родственника Поля Павловича псевдоним Эмиль Ажар, после чего издал под этим именем четыре весьма успешные книги. Когда обман раскрылся, в прессе этот поступок назвали гнусным и аморальным. Несчастный

писатель не вынес нападок и покончил жизнь самоубийством. До появления Борхеса псевдонимы были одной из важнейших тем в дискуссиях о чести и морали. Но Бьой Касарес решил эту дилемму в книге "Образцовое убийство", сочиненную вместе с Борхесом и подписанную псевдонимом Б. Суарес Линч. Он выдал вымышленные факты за свершившиеся на самом деле события. Читателям остается только догадываться, действительно ли переезд Борхеса из Аргентины в Швейцарию был бегством от самоубийства. В это трудно поверить. Некоторые критики считали, что главная причина такого поступка — желание бывшей секретарши писателя Марии Кодама, ставшей впоследствии его женой. Правда, Шаша во всем винит самого Борхеса, который якобы презирал себя как писателя и частенько устраивал вокруг своих книг различные мистификации. Сам Борхес писал, что все книги мира вышли из одной и все они сливаются в одну книгу. И потому не имеет никакого значения, кто является автором той или иной книги. Если к этому добавить его же утверждение о том, что писатель как таковой вообще не существует, то вот вам головоломка и готова — как для молодого итальянского преподавателя, так и для всего нашего века.

А чтобы еще больше все запутать, следует сказать, что хозяин кафе, которое вовсе не случайно называется "Тигр", где якобы случилось то самое убийство, незадолго до смерти прочитал статью молодого итальянца и вроде бы сказал: "Да! Эти ребята сыграли роли Отца, Сына и Святого Духа. А Скатамаччи-Борхес только произнес: аминь!"

Может быть, душа Борхеса, как считают в Индии, переселилась в тело другого живого существа. Все равно в какого. И совсем не важно, был ли он слеп, как Гомер, или же прекрасно видел, а молодой итальянский преподаватель — просто еще один двойник писателя. Кто из них был двойником, а кто — подлинным, кто с кем играл и кто с кем забавлялся, похоже, никто не знает, и сам писатель тоже. В каждом новом зеркале отражалось его иное лицо. Не важно, в каких отношениях были эти лица между собой. Может, спор между зеркалами и стал причиной того, что Борхес не написал ни одного романа. Но романы написали его двойники. А с каким именно из двойников Борхеса это случилось — может быть, важно, а может, и нет. Равно как и для того, кто теперь ходит с тростью, снятой со стены кафе "Тигр" в пригороде Буэнос-Айреса Палермо.

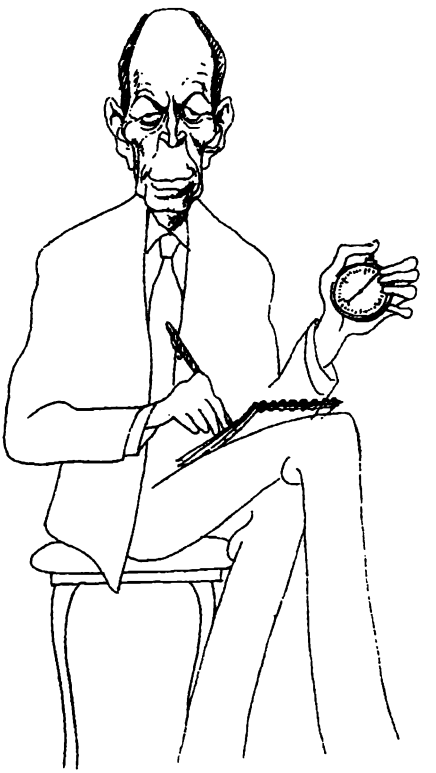
Иштван Эркень
Письма-минутки

Перевод с венгерского и вступление Татьяны Воронкиной

© Örkény István örökösei, 2004
© Татьяна Воронкина. Перевод, вступление, 2012
Редакция благодарит Жужу Радноти за любезно предоставленную возможность безвозмездной публикации писем Иштвана Эркеня на страницах журнала.

Каких-то два десятка лет назад не было нужды представлять любителям переводной литературы, тем более столь взыскательной публике, как читатели "ИЛ", классика венгерской литературы, писателя с мировой известностью Иштвана Эркеня (1912—1979). Произведения Эркеня выходили отдельными изданиями, публиковались в журналах, фильмы, снятые по его сценариям ("Семья Тотов", "Кошки-мышки"), мелькали на экранах. Пьесы его обошли все театральные подмостки мира от стран Европы до Америки и Австралии. Во Франции спектакль "Семья Тотов" в 1970 году был удостоен премии "Черный юмор". В нашей стране в 70—80-е годы прошлого века И. Эркеня считали своим драматургом двадцать шесть советских театров, знаменитые постановки Товстоногова в БДТ ("Кошки-мышки" и "Семья Тотов") вошли в историю не только отечественной, но и мировой сценографии. Спектакль "Семья Тотов" в театре "Современник" (начало 70-х) запомнился блистательным исполнением Олегом Табаковым главной роли. Олег Табаков, лично знакомый с автором и не раз встречавшийся с ним, отзывался об Эркене как о писателе, "символизирующем венгерскую культуру", и остался верен своему суждению до наших дней: вот уже восьмой сезон в МХТ с аншлагом идет спектакль "Кошки-мышки" в звездном составе. А ярчайшей постановке "Семьи Тотов" в Московском областном драматическом театре имени А. Н. Островского аплодировали зрители Будапешта и Вены, московская же публика имеет возможность оценить талант венгерского автора и исполнителей шестой театральный сезон.

Впрочем, оглушительной карьере драматурга сам И. Эркень предпочитал известность писательскую. Завоевать внимание читателей своей художественной прозой Эркень считал для себя важнейшей и почетной творческой задачей. Хотя на недостаток читательского успеха ему жаловаться не приходилось. Гротескное видение мира, отражение его предельно скупыми художественными средствами привело к созданию жанра "рассказа-минутки", качественно нового, экспериментального вида короткого рассказа, где каждый рассказ словно диковинный кадр, запечатленный магниевой вспышкой. Чтобы прочесть его, достаточно минуты, а то и того меньше. "'Рассказы-минутки' возникли потому, что я попросту ленился писать более длинные".



Шарж Тибора Каяна

За этим шутливым объяснением писателя — его явное нежелание следовать установкам, отказ от усердного иллюстрирования жизни. Короткие, емкие тексты — от анекдотических историй до философских притч — снискали автору мировую известность.

В Венгрии произведения писателя выходили и выходят отдельными книгами, собраниями сочинений, выдержавшими несколько изданий. Да и на русском языке увидели свет семь книг И. Эркеня, в том числе такие, как "Записки из блокнота 1956 года", "Народ лагерей" — уникальное социографическое исследование жизни военнопленных, в частности венгерских, написанное в Красногорском лагере под Москвой, где Эркень был среди участников Антифашистской школы, а затем и сам преподавал там. Двуязычный — с параллельными текстами на венгерском и русском языках — сборник "рассказов-минуток" вышел в 2008 году в издательстве "Вагриус".

Совершенно неизвестно в России эпистолярное наследие И. Эркеня. Читать письма всегда любопытно. В них интересны приметы эпохи, былых времен, ушедших нравов, характеры людей и в первую очередь автопортрет писавшего. Если же вдруг автором эпистол оказывается писатель, они интересны вдвойне: талант, дар слова непременно скажется, независимо от жанра. Письма Иштвана Эркеня, составившие том собрания его сочинений, выдержали уже три издания, сейчас готовится четвертый, дополненный выпуск. Том этот, составленный Жужей Радноти, вдовой писателя и попечителем его творческого наследия, неслучайно назван "Письма-минутки" — по аналогии с изобретенными Эркенем рассказами-минутками. Краткие послания друзьям, коллегам в большинстве своем читаются как художественные миниатюры, полные юмора, иронии и самоиронии.

Отмечая столетие со дня рождения Иштвана Эркеня, нам хотелось уйти от традиционного рассказа о жизненном и творческом пути, хотелось дать возможность высказаться писателю самому. Наша публикация — это тоже своего рода эксперимент. Письма Эркеня родным и близким, отрывки из интервью, другие документы, говорящие сами за себя, неожиданно складываются в целостную картину, в своеобразную автобиографию, не требующую комментариев. Эти "неглавные тексты", в которых отразились глубочайшие переживания его жизни и опыт венгерской истории, позволяют проследить и творческий путь Иштвана Эркеня — от "восприимчивого ученика" до зрелого мастера, на чью долю выпали и признание, и осуждение, и годы вынужденного молчания, и триумфальное возвращение в литературу в конце 60-х. Многие адресаты писем Эркеня — Тибор Дери, Ласло Надь, Маргит Сечи, Милан Фюшт — хорошо знакомы читателям "ИЛ".

"Эркень внес в венгерскую прозу и драматургию нечто неповторимо индивидуальное и действительно новое, нечто такое, что в самом деле знал и умел только он", — писал известный литературовед Деже Тот, член-корреспондент Венгерской академии наук. Стихия Эркеня — поиск новых художественных форм, гротеск и абсурд. "Предпочитая свободно парить во времени и пространстве... я, даже если и допускал долгие ли, короткие ли экскурсы в бытописательский реализм, неуклонно протаскивал в него эле-

мент гротеска", — признавался писатель. Специфический эркеневский гротеск выразил и национальное своеобразие венгерского духовного мира и органично вписался в общую тональность современной мировой литературы.

В "Иностранной литературе" Иштван Эркень давно свой человек. Первая публикация его рассказов на русском языке состоялась более четырех десятилетий назад именно на страницах "ИЛ", где затем выходили его повести — "Семья Тотов" и "Выставка роз", печатались его критические заметки, в частности — "Размышление о гротеске", присланное им в редакцию в рукописи. Писатель очень дорожил этой трибуной, а в 1971 году, будучи в Москве, приезжал в редакцию познакомиться с сотрудниками и поблагодарить за внимание к своим произведениям.

В столетний юбилей со дня рождения Иштван Эркень вновь в гостях у своего любимого журнала.

До войны

В *нескольких словах о себе*

Я появился на свет младенцем необычайной красоты, так что врач подхватил меня на руки и понес из палаты в палату показывать. Говорят, якобы при этом я даже улыбался, вызывая у других мамаш завистливые вздохи.

Событие сие свершилось незадолго до начала Первой мировой войны, в 1912 году, и, пожалуй, это было моим единственным абсолютным успехом. Начиная с того момента жизнь моя покатилась под откос. Я не только лишился своей первозданной красоты, порастерял волосы и зубы, но и в гонках с внешним миром все время шел в отстающих.

Ни волю свою мне проявить не удавалось, ни использовать должным образом заложенные во мне способности. Я стремился стать писателем, но тщетно: отец мой, будучи аптекарем, и мне прочил то же самое поприще. Но и этого ему казалось мало! Каждый отец мечтает, чтобы сын превзошел его, и стоило мне получить диплом фармацевта, как меня снова отправили в университет — осваивать профессию инженера-химика. Опять пришлось ждать четыре с половиной года, чтобы сердцем и душой отдаться писательскому делу.

Не тут-то было! Я и охнуть не успел, как разразилась новая война. Венгрия выступила против Советского Союза, и

меня послали на фронт. Армию нашу вскоре разбили, а я попал к русским в плен, где провел очередные четыре с половиной года. По возвращении на родину меня поджидали всякие трудности и передряги, отнюдь не способствовавшие писательской карьере.

Полагаю, из этого со всей очевидностью явствует: все, что мне удалось сотворить — несколько повестей, с полдюжины сборников рассказов и две пьесы, — писалось исподволь, за те считаные часы, что посчастливилось урвать у мировой истории. Вероятно по этой причине, я всегда стремился к немногословью, краткости и точности самовыражения, докапываясь до самой сути. При этом зачастую второпях, вздрагивая от каждого звонка, ведь ни от почтальона, ни от любого другого посетителя добра не жди.

Должно быть, в том и разгадка: своим появлением на свет я достиг совершенства, а затем стал бледнеть, тускнеть, оскользаться, спотыкаться. И хотя с годами все лучше осваивал писательское мастерство, познавал самого себя, но все острее чувствовал: изначального совершенства, увы, никогда не достичь.

1968

Дому на улице Дамьянича посвящается

Мы жили здесь, пока мне не исполнилось три года.

Неприглядный доходный дом. Я обвожу взглядом унылые вереницы окон и пытаюсь пробудить в себе какие-либо чувства. "Здесь я появился на свет, — говорю про себя. — Здесь мать дала мне жизнь. Здесь я сделал свой первый вдох". Говори не говори, никакой растроганности я не испытываю, глаза не увлажняются слезой. Если хочешь гордиться родным домом, изволь родиться или в хижине, или во дворце.

Что же получил я от этого дома? Крышу над головой. Дом не наложил на меня "печать индивидуальности", потому что сам не носит следа какой бы то ни было индивидуальности. Серый, облупившийся, мрачный, старый. Ничего патетического в нем нет; впрочем, во мне тоже. Никакого честолюбия в нем не осталось, да и во мне его почитай что нет. Более десяти лет дом хранит следы поражений, нанесенных снарядными осколками. Судя по всему, шрамы подобного рода не исчезают, на моем теле тоже не один рубец. Значит, все-таки у нас с ним есть нечто общее. Одна и та же рука вершила нашими судьбами. И я, еще только что намеревавшийся равнодушно пройти мимо, захожу в подъезд.

Меня встречают безмолвие, полумрак и могильный холод.

Во всех пештских подъездах пахнет одинаково. Запахи отсырелой керамической облицовки, жаренного на топленом сале лука, гнили, въевшейся во все трещины штукатурки, — в одинаковых пронорциях одни и те же запахи повсюду. Бог весть, действительно ли припоминаю я эту сумрачную берлогу, или же в ней отражаются воспоминания о виденных-перевиданных впоследствии подъездах — но мне представляются знакомыми кафельная кладка понизу и каждая трещина голых стен над облицовкой. Мне все знакомо здесь, хотя это не мой дом. Я здесь родился, но все же не чувствую себя дома. Подобно тому, как ласточка из былинок травы, слюны, из долготерпения вьет гнездо, так и городской человек искусственно создает себе обиталище. Отчий уголок для горожанина существует лишь в его воображении.

Вот и у меня в Пеште есть свои деревья, комнаты, дома, в которых я никогда не жил, где я и бывал лишь мимоходом да изредка, но куда меня отовсюду тянет, как в родные, обжитые места. Улица Дамьянича — не из числа этих мест.

А ведь в одной из квартир этого дома, в какой-то комнате, быть может, до сих пор цел дверной косяк, на котором лет сорок тому назад моя мать провела черточку: таким был мой рост в три годика. Отыскать бы этот косяк, измерить бы, на сколько я подрос с тех пор. Но с какой мерой сопоставить, сколь вырос я по уму, образованности, навыку рук, музыкальному слуху, состраданию и человечности? Нет такой отметины.

Когда я жил здесь, я любил только отца с матерью. И тетю Гизи с дядей Йожи, и обеих бабушек. Они меня поили-кормили, потчевали леденцами, целовали-ласкали, играли со мной. Я любил только их и лишь за ту доброту, что получал от них.

Ну а теперь? Прикинем, насколько я вырос! Пусть не намного, но все же кое в чем продвинулся. Теперь я способен любить человека, даже если тот обманывает, грабит и предает меня.

Сорок лет — для обучения срок ничтожный. Но ежели тебе удалось освоить хотя бы такую малость, как умение прощать, считай, что ты подрос.

1955

В нашей компании, как выяснилось впоследствии, два десятилетия спустя, было немало коммунистов. Как бы мы ни были привязаны друг к другу, сколько бы ни вели разговоров, сколько ни шалопайничали, о своей принадлежности к ком-

мунистам приятели, естественно, меня в известность не ставили. И вот как-то раз к отцу моему заявились два сыщика и — тоже ведь гротескная ситуация — почтительнейшим образом повели разговор: так, мол, и так, ваше высокоблагородие (отец носил титул королевского статского советника), вынуждены сообщить вам скверную весть.

— В чем дело? — поинтересовался отец.

— Видите ли, ваш сын попал в дурную компанию.

— Мой сын?! Каким образом?

— Дело пахнет неприятностями. Позвольте дать совет, ваше высокоблагородие? Отправьте-ка вы сына в Париж или еще куда, с глаз долой, покуда страсти не улягутся.

И отец отправил меня в Париж.

Из телевизионного интервью 1974 года

Годы войны

Из Парижа я возвратился в тот день, когда разразилась война. Правда, прежде я хотел было записаться волонтером во французскую армию. Гримаса судьбы, иначе не назовешь! Мы с приятелем, Андрашем Хевеши[1], условились, что каждый из нас отправится на призывный пункт, ближайший к месту жительства. Бедняга Андраш и солдатская служба, как говорится, изначально были противопоказаны друг другу. Изнеженный, раскормленный, рыхлый, неповоротливый увалень... Какой из него вояка!..

Я же не только прошел обучение, но даже получил звание прапорщика, неоднократно призывался на сборы и военные маневры. Впоследствии принимал участие в операции по присоединению Трансильвании, а когда хортистские войска напали на Югославию, опять был мобилизован.

И вот мы с Хевеши решили стать добровольцами. Его взяли, а меня признали негодным. Выбора не было — во всяком случае, тогда мне так казалось, — я и поспел на последний поезд, шедший через Германию, в Будапешт.

Из интервью 1978 года

1. Андраш Хевеши (1902—1940) — венгерский писатель, критик. После введения закона, ограничивающего права евреев, весной 1939-го эмигрировал в Париж, вступил добровольцем во французскую армию и пал смертью храбрых в первые дни войны. (*Здесь и далее – прим. Жужи Радноти и Татьяны Воронкиной.*)

МИЛАНУ ФЮШТУ, 1941

Глубокоуважаемый господин профессор!

Несколько недель назад я обратился к своему другу Гезе Хавашу[1] с просьбой раздобыть для меня сборник Ваших стихотворений. К искренней своей радости я получил от Вас в подарок том "Избранных стихотворений", к тому же с лестным для меня посвящением. Это авансом проявленное доверие побудило меня — помимо благодарности дарителю — испытать чувство укора самому себе, укора, с каким я читаю Ваши стихотворения. "Почему же лишь теперь?" — начинает свои упреки разбуженная совесть, но затем я успокаиваю ее и себя мыслью: так оно и должно было случиться, чтобы встреча с Вами произошла именно теперь, "nel mezzo del cammin"[2]. Именно в эти трудные годы, когда из-за моего еврейского происхождения я все острее чувствую свое одиночество, оно громоздится вокруг меня подобно ледяным торосам в Арктике. Пожалуй, мне никогда не удалось бы настолько глубоко проникнуться Вашим первозданным одиночеством и совершенно свободно блуждать в Вашем задымленном, прокопченном и все же извечном мире, если бы не нынешние времена, когда рамки реального мира смыкаются все тесней. "Куда ни ступи, словно воды разверзаются. Народ захлопнул дверь перед нами", — говорится в строках о Страхе, и на эти слова откликается и мой собственный страх: страх смерти и отверженности, что в конечном счете одно и то же.

Дабы не злоупотреблять Вашим терпением, позвольте завершить письмо словами благодарности — не за книгу, не за дарственную надпись, а за нечто гораздо большее. Если это слово не стерлось от частых употреблений в редакционных посланиях, благодарю Вас за утешение. Пожалуй, это максимум того, что один человек может дать другому.

Будапешт, 28 февраля 1941

Ваш искренний почитатель и приверженец

Иштван Эркень.

1. Геза К. Хаваш — погибший на войне репортер, историк культуры. Его памяти посвящен рассказ-минутка "In memoriam dr. K.H.G."
2. "На полпути" (*итал.*).

In memoriam dr. K.H.G.

– Halderlin ist ihnen unbekannt? Вы знаете Гельдерлина? – поинтересовался профессор К.Х.Г., когда рыл яму, чтобы закопать дохлую лошадь.

– А кто это? – спросил немецкий охранник.

– Автор "Гипериона", – пояснил профессор К.Х.Г, он очень любил просвещать людей. – Крупнейший представитель немецкого романтизма. Ну а Гейне?

– Кто они такие? – спросил охранник.

– Поэты, – ответил профессор К.Х.Г. – Но ведь имя Шиллера вам знакомо?

– Знакомо, как же, – огрызнулся охранник.

– А Рильке?

– И этого знаем, – побагровел охранник и застрелил профессора К.Х.Г.

Из книги "Рассказы-минутки", 1968

Письма с фронта, 1942

ОТКРЫТКА ДЁРДЮ ЯНОШУ СИЛАДИ[1]

Ни в оперу, ни на концерты ходить не очень получается. В данный момент главный упор делаю на умение ползать попластунски и убивать себе подобных.

Венгерский Красный Крест
Информационное бюро

ЭРКЕНЬ ИШТВАН Будапешт

С прискорбием сообщаем, что Эркень Иштван, рядовой трудбата, родившийся в Будапеште в 1912 г., девичье имя матери – Поллак Маргит, в боях против Советского Союза 18 января 1943 года пропал без вести.

По линии Красного Креста мы сделали все возможное, чтобы отыскать его.

По вопросу получения пособия следует обратиться в соответствующие учреждения по месту жительства.

2 ноября 1943 г.

1. Янош Дёрдь Силади – специалист в области классической филологии, входил в дружеский круг И. Эркеня; позднее также попал в русский плен, затем был отпущен на родину.

Я был зачислен в трудбат при 12-й легко оснащенной дивизии, в составе которой и попал на фронт. В задачи трудбатовцев входило: установка проволочных заграждений и противотанковых "ежей", изготовление и укладка шпал на взорванных железнодорожных путях. Этим мы и занимались вплоть до января 1943 года, когда началось крупное наступление Красной армии, вошедшее в историю под названием Воронежского прорыва. Скверно снаряженная, морально сломленная, лишенная всякой способности к сопротивлению да и не жаждущая сопротивляться венгерская армия была сметена мощным ударом советских сил. Воцарился полный хаос. В лютый мороз, неся чудовищные потери, мы вынуждены были отступать. Я шел пешком три недели, лишился всех своих товарищей. Сбиваясь в группы, мы с собратьями по несчастью пытались выжить и пробиться на Запад. Прошли километров триста, пока не наткнулись на русских. <...>

Пленных развернули обратно и погнали на восток, к лагерю. По-моему, русские сами не рассчитывали на столь стремительное и глубокое продвижение, а посему и не позаботились о том, где разместить такое количество пленных. Вот и брели мы не одну неделю. На ночлег пускали к себе русские крестьяне — их доброты вовек не забыть! — делились последним куском, ведь им и самим есть было нечего. Наконец погрузили в вагоны и повезли в лагерь.

Территория лагеря была обширной, с множеством длинных, наполовину ушедших в землю бараков. Собралось нас там тысяч двадцать, в основном, конечно, немцев, но и венгров хватало. Были и румыны, чехи, поляки, французы — из числа эльзасцев, воевавших на стороне Гитлера. <...> Располагался наш лагерь под Тамбовом, в лесу, так что и работали мы главным образом на лесоповале. Постепенно, по мере того как происходило перераспределение по национальному признаку, стала складываться и специфически лагерная жизнь. Затем мы начали получать книги, открыли библиотеку, создали театр, иногда показывали кино. Даже эти скудные проблески жизни худо ль, бедно ль поддерживали в нас дух. Для некоторых из нас важную роль сыграла так называемая Антифашистская школа. К нам в лагерь приезжали живущие в СССР венгерские эмигранты, жили с нами бок о бок, отбирая кандидатов для обучения в школе. Мне известны две такие крупные школы, одна находилась под Москвой[1]. Пока шла война, окончившие школу курсанты продолжали

1. В городе Красногорске, где ныне размещается мемориальный музей.

свою агитационную деятельность в других лагерях, а с окончанием военных действий были отправлены на родину, в Венгрию. Таким образом вернулся домой и я.

Из интервью 1970 года

Извещение из венгерского консульского отдела г. Анкары

Анкара, 1946, 11 сентября
Тема: состояние здоровья военнопленного Иштваня Эркеня

Господину Хуго Эркеню
аптекарю
Будапешт
V, ул. Андора Юхаса, 12

Венгерский военнопленный Иштван Эркень, находящийся в Советской России (лагерь № 188), в своей открытке от 1 июля 1944 года просит сообщить, что он жив-здоров.

Письма из плена

Дорогие мои родители и Марианн!

Небольшая группа наших возвращается домой, в том числе мой друг Бузаш, который расскажет вам обо мне подробнее. Я был бесконечно счастлив узнать, что вы все трое живы-здоровы. Напишите, пожалуйста, как вы, где вы. Бузаш объяснит, каким образом переправить ответ.

Думается, наша встреча не за горами, а писать о себе по прошествии столь долгих лет трудно. Много случилось всякого — всего не пересказать, да и письмо не вместит. Но у меня все в порядке, со здоровьем вполне терпимо, смотрю на вещи с непробиваемым юмором — это был единственный способ выжить в эти тяжкие времена. Больше всего изводила тревога о вас, вести с родины приходили до того ужасные, что даже теперь, читая газеты, диву даешься, как вам удалось уцелеть. <...>

Беспокоиться обо мне нет никаких причин, живу в условиях, вполне благоприятных, и по возможности пишу. Очерков социографического характера набралось на отдельную книгу, глядишь, и роман написать удастся, хотя завершить его я

предпочел бы дома. Что творится у нас в стране, понятия не имею, неотвязно думаю, как отразятся на вас материально эти трудные времена, однако не вижу ни малейшей возможности помочь вам, пока нахожусь здесь. <...> И вновь, и вновь тревожит мысль: здоровы ли вы? Меня беспокоило это еще в тот момент, когда мы разлучались, а ведь главные передряги были тогда впереди. К счастью, человек способен вынести гораздо больше, чем мог бы предположить.

Вижу, каким тревожным и грустным получилось письмо, а ведь я задумывал написать его не таким, да и вообще оно не соответствует моему настроению. На том кончаю письмо в надежде, что Рождество мы встретим вместе, и с любовью целую вас всех.

Ваш любящий сын

Пишта.
12.X.1945

30.X.1945

Это мое последнее письмо. Отсылаю с оказией лишь для того, чтоб этот музейной ценности документ не пропал понапрасну.

На станции уже формируют эшелон, и я с большей охотой поучаствовал бы в сборах, а не отсиживался здесь, в тепле и уюте, при электрическом свете и за новой пишущей машинкой. Однако же нечего сокрушаться попусту, ведь я давно усвоил: иной раз все складывается гораздо лучше, чем тебе хотелось бы поначалу. Вот и все, что касается философии.

К сожалению, не упомнить в деталях, что я понаписал вам за прошедшие три недели, но, надеюсь, в результате какая-то картина все же вырисуется из моих посланий. В первую очередь это касается моих просьб относительно рукописей. За это время кое-что изменилось: появилась пишущая машинка, и я взялся за перепечатку. Хотелось отправить вам хотя бы три рассказа, наиболее близких моему сердцу. Два перепечатать успел, а вот третий вынужден был прервать на 13-й странице. Придется вам продиктовать кому-нибудь остальное по рукописи. <...> Ну, да что это я все о делах!..

Чувствую, надо бы сказать хоть что-то и о себе, вот только боюсь показаться нескромным. Надеюсь, приятели мои должным образом отзовутся о моем уме и приятной наружности и не преминут подчеркнуть, насколько я прост и скромен при всех своих достоинствах. Ведь вздумай кто понаблюдать за мной при утренней побудке — нипочем не догадается, какая пропасть талантов во мне заложена. И вообще, я очень сдер-

жанный, чуть ли не робкий, хотя поведения образцового. Вся прочая информация, какой располагают Бузаш и Ланг, — сплошь порождение их зависти. Это что касается моих друзей.

Рад бы похвастаться своими языковыми способностями, но мой русский пока что не безупречен. Должен признаться, находятся русские, в особенности среди людей образованных, которые только по выговору определяют во мне иностранца. Вообще хотелось бы расписать себя во всех деталях, но вокруг шум, гам, суматоха, каждую минуту новые вести, люди заходят, выходят — где уж тут сосредоточиться. <...> Пожалуй, и хватит о себе.

И наконец о способе переписки. Напишите о себе всё — обстоятельно, подробнейшим образом и передайте кому-нибудь из членов КП, желательно в надежные руки. Если почему-либо не получится, можно отправить через Бузаша в Москву, на адрес редакции "Игаз Со" или московскому руководству КП. Для подстраховки неплохо бы указать и мой адрес, который официально звучит так: "СССР, Спецобъект 40", или "Антифашистская школа, Красногорск". С адресами все. Письма идут довольно медленно, так что об отправке следует позаботиться заблаговременно.

Дорогие мои, кругом дым коромыслом, так что письмо кончаю. В надежде на скорую радостную встречу всех вас целую и обнимаю.

Пишта.

Дорогие мои родители!

"По техническим причинам" сложилось так, что мы, ассистенты преподавателей, включены не в первую, а во вторую группу, поэтому приедем с опозданием в несколько недель, если не месяцев. Конечно, нашей общей радости это убавляет, но тут мы ничего изменить не в силах. Значит, надо как-нибудь продержаться эти недели.

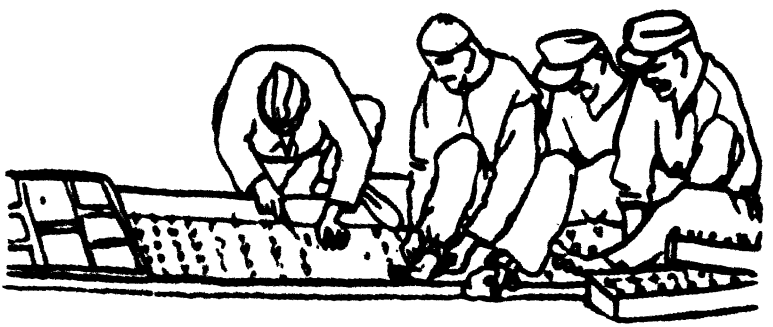


Рис. Ласло Луковски

Зато вместо себя направляю к вам своего чрезвычайного посланника, Ласло Луковски; он-то и передаст вам это письмо. Прошу принять его с большей любовью, чем та, что выпала бы на мою долю, поскольку в теплоте и внимании он нуждается сильнее. Минувшей зимой, которая оказалась отнюдь не легкой, он в конечном счете спас меня от морального и физического срыва, вдохнул силы и желание продолжать трудиться. Мы строили планы, как по возвращении домой Лаци поселится у нас, даже творческие замыслы были общими, насколько могут сработаться писатель и художник и насколько можно вообще что бы то ни было загадывать, находясь здесь. Прошу вас считать его своим сыном, ведь он мне больше, чем брат, и подобно тому, как тут мы делили с ним горе и радость, скудные пожитки, которые у нас были, хотим, чтобы и впредь все оставалось так же. Поэтому всю мою сохранившуюся одежду, пожалуйста, отдайте ему и до моего возвращения поддержите его материально, не позволяйте переселиться от нас, но главное — не давайте падать духом. О семье своей он по-прежнему ничего не знает, а даже если и узнает, боюсь, как бы это не оказалось хуже неизвестности.

Конечно, я понимаю, в какое щекотливое положение ставлю всех вас, и наверняка все было бы естественнее и проще, находись я с вами в качестве посредника, этакого "наведенного моста". А так вы в конце концов друг другу чужие, к тому же вас неизбежно ждет разочарование: вместо Эркеня получили Луковски, художника вместо писателя, а он, в свою очередь, станет деликатничать и стесняться, как тот обездоленный человек, кто не привык получать милостыню, но обойтись без нее не может. Держитесь радушнее и веселее, чтобы рассеять его смущение. Представьте себе, что я с вами: уж я бы сумел шутить и дурачиться, постарался бы переломить всякую неловкость.

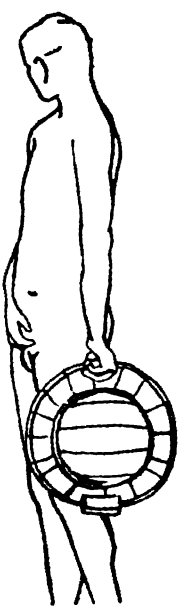


Рис. Ласло Луковски

Я и к другим обращаюсь с просьбой помочь ему устроиться на первых порах, но прежде всего рассчитываю на вас. Коль скоро уж нам не суждено вернуться домой вместе, пусть хотя бы наши мечты о совместных книгах не развеются прахом. Окажите Лаци необходимую материальную и моральную поддержку, чтобы он не хватался за любую работу, а смог заняться тем, к чему душа лежит. А главное — прошу уделить ему внимания и любви: в плену жа-

ждешь не леденцов, но человеческого тепла и участия, и жажда эта неутолима. Думается, не стоит вдаваться в подробности, полагаюсь на ваши добросердечность и такт. Пожалуйста, прошу вас, примите Лаци как сына, покуда я не вернусь. Хотя, по-моему, и тогда положение не изменится, разве что семья пополнится еще одним членом.

О себе вряд ли еще стоит писать — Лаци расскажет обо мне куда больше, нежели любые пространные послания. Меня прямо-таки распирает от нетерпеливого ожидания, даже работа из рук валится. Посылаю рукопись, более-менее полную подборку русских стихов, которую мне останется потом лишь чуть дополнить и снабдить предисловием. Не знаю, стоит ли что-либо предпринимать на этот счет до моего приезда — может, послать несколько стихотворений в газеты, пусть начинают подготовительные работы. <...> Очень рад выпуску цикла "Они вспоминают", а также предполагаемому изданию рассказов. Больше ничего готового у меня нет, но дома будет. Чую нутром: теперешнее мое нервозное состояние не способствует сочинительству.

Здоровье мое — лучше не бывает. Лаци распишет в красках, как я растолстел, чем — вспоминая о недавних временах, когда во мне едва набиралось тридцать девять килограммов, — горжусь до чрезвычайности. Делать ничего не делаю, отдыхаю, будто на курорте, и жду, жду. Непрестанно жду. <...>

Обнимаю вас и всех моих друзей.

Ваш Пишта.

Красногорск, 14 июня 1946 года[1].

Возвращение на Родину
Пятидесятые и шестидесятые годы

Пять с половиной лет провел я с тобой в разлуке, Будапешт. Первый мой путь с Восточного вокзала вел к Цепному мосту. Я не успел еще повидать мать, но увидеть мост мне не терпелось. Прощание с городом — четыре весны и пять ледоходов тому назад — было связано именно с этим мостом. Это было последней картиной, и когда в памяти возникал Будапешт — сто или тысячу раз на дню — я всегда видел перед собой Цепной мост таким же, как тогда: в легкой дымке, пропитанной ароматом цветущих акаций, в гирляндах сияющих фонарей весь будто сотканный из света. Это была последняя картина. Тогда, при прощании, мне казалось: я погибну. И вот, я цел-невредим, а мост — в руинах. Я все стоял и стоял, навалившись грудью на

1. К Рождеству 1946 г. Иштван Эркень возвратился в родной Будапешт.

парапет, над громоздящимися внизу льдинами, не в силах оторвать взгляд от бессильного поникшего крыльями Цепного моста, от рухнувшего в воду моста Эржебет, схожего с поверженным ангелом... Без помех длилось наше с мостом свидание. Никто не обращал на нас внимания, подобно тому, как в Париже никому нет дела до ссорящихся влюбленных. Этих руин, думал я, никто не замечает. Привыкли — это в порядке вещей. Люди видят возрождение жизни там, где мне чудятся страхи, кошмары, где терзаешься самообвинениями...

Из газеты "Новая Венгрия". 17 января 1947 г.

Характеристика от 1953 года

Иштван Эркень родился в 1912 году, в состоятельной буржуазной семье. Имеет дипломы инженера-химика и фармацевта. В 1937—1939-х годах жил в Англии и Франции. Сочинять начал еще в студенческие годы, публиковался главным образом в газете "Сейп Со". В 1942-м вышел в свет сборник сюрреалистических рассказов под общим названием "Пляска моря".

В 1942-м в составе трудбата попал на передовые позиции на Дону. В январе 1943-го был взят в плен. В 1945-м прошел курс обучения в красногорской Антифашистской школе, где провел полтора года и вновь занялся писательской деятельностью. По возвращении на родину вступил в партию, однако для его творчества по-прежнему оставались характерны ярко выраженные буржуазные проявления не самого лучшего толка. После того как при проверке был переведен из членов партии в кандидаты, стал более сознательно относиться к делам партии, что сказалось и на его творчестве (роман "Супруги" и репортажи о жизни рабочих). За прошлый год в его творческом развитии опять произошел срыв, проявившийся в публикации сатиры "Лиловые чернила". В данный момент работает над романом о Сталинвароше, где и проводит большую часть времени. Иштван Эркень — человек умный, образованный, одаренный, однако ему свойственны высокомерие и цинизм. В основном по этой причине в начале года ему пришлось расстаться с работой в литературной части театра Народной армии. Согласно отзыву партсекретаря театра, к обязанностям своим Эркень относился плохо, поверхностно. Мы считаем его способным к развитию, хотя сдерживающим началом являются его прежние взгляды и слабая идеологическая подготовка. В текущем сезоне курс политобучения проходил самостоятельно, а когда занялся

темой Сталинвароша, подготовку прекратил вообще. Роман предположительно будет закончен к концу декабря.

Было бы целесообразно привлечь его к подготовке на более высоком, систематическом уровне, что поспособствовало бы формированию его гражданских и политических взглядов и углублению литературного творчества.

(Без подписи[1].)

Секретное донесение, 1955

С середины марта я провел шесть недель в вышеградском доме творчества. В одно время со мной там находился товарищ Иштван Эркень и товарищ Бела Ремени[2]. Мы неоднократно беседовали на литературные темы, обсуждали проблемы формирования личности и отражения действительности в духе социалистического реализма.

Как-то раз беседовали втроем, находясь в комнате Ремени, и Эркень заявил, что, мол, отражение действительности в партийном духе столкнулось бы с большими трудностями: ведь не напишешь же, что спокойствие в стране достигается лишь средствами диктатуры с помощью АВХ[3]. Не будь АВХ столь сильной организацией, могло бы дойти до беды.

В другой раз, в более широкой компании, Эркень в юмористическом стиле пересказал свою так называемую историю "Тринадцать партизан из Нови-Сада", наверняка известную партийному руководству. Меня поразила такая деталь: Эркень был у товарища Ракоши и, когда выходил из кабинета, товарищ Ракоши сказал ему вслед: "Вот видите, мы даже не докапываемся до вашей истории про тринадцать партизан"[4]. Не уверен, что передаю слова Эркеня буквально.

Не будучи в курсе подробностей, не считаю себя вправе делать какие-либо выводы, я всего лишь изложил факты. В свою очередь настаиваю на строжайшем соблюдении секретности, так как кое-кого даже в партийном руководстве связывают с Эркенем дружеские отношения.

Л.

1. После революции 1956 г. писателям были переданы подобные характеристики, тайные доносы и прочее из досье, хранящихся в Союзе писателей.
2. Бела Ремени (1914–1962) – венгерский поэт, писатель.
3. Служба государственной безопасности.
4. Один из документов, обнаруженных впоследствии в Венгерском сводном архиве, свидетельствует о том, что Иштвана Эркеня чуть не арестовали за огласку этой гротескной истории.

В 56 году я, по сути, принимал участие в немногих политических акциях. В конце октября, когда зародилось Свободное радио, меня пригласили в парламент (вещание происходило оттуда) и попросили написать вступление к первой передаче. Я с готовностью согласился и прямо там, на месте, сочинил текст, начинавшийся словами: "Долгие годы радио выступало рупором лжи. Мы лгали днем и ночью, лгали часто и на всех частотах..." Эта заставка к радиопередаче да газетная статья — гимн революционному Будапешту — вот и все мои деяния. Больше ничего не могли вменить мне в вину. <...> Правда, когда писателей призвали к ответу, я отказался признать свои ошибки, не считая собственные убеждения заблуждениями. За это и угодил в черный список: пять лет мои произведения не печатали, я был лишен работы репортера и даже корректора. <...> Извлек на свет божий пылящийся втуне диплом инженера-химика и пошел работать на фармацевтический завод.

И между делом продолжал писать, обретя свой голос. Тогда-то зародились мои рассказы-минутки.

О*да* Б*удапешту*

Я, рожденный здесь, все же не знал тебя; я, тебя любящий, не раз поносил тебя. Прости своего заблуждавшегося сына, славный город мой, Будапешт!

Как же мог я считать тебя, родной мой город, таким же, как другие, одним городом из многих?!

Ходил по булыжным твоим мостовым и думал, будто мостовые только для того и предназначены. Садился в трамвай, считая, что трамвай должен быть лишь транспортным средством. Я побывал во множестве домов твоих и верил, будто в этих стенах можно только жить, есть, пить, обитать. Я не знал, что окна — это бойницы, что из трамваев можно сооружать баррикады, а на улицах твоих — сражаться, идти в наступление и побеждать.

Во всех краях земли, на всех картах и глобусах сегодня заново пишут твое имя, Будапешт. Этим словом обозначают не только город. Будапешт сегодня говорит о том, что против танков можно идти с голыми руками. Будапешт на всех языках мира означает верность, самоотверженность, свободу, честь нации. Каждый, кто любит свой родной город, желает ему: будь и ты таким, как Будапешт!

Желаю и я — пребывать тебе веки вечные таким, как сегодня, Будапешт! Обиталищем гордых и смелых людей, наставителем венгров на добрый путь, стань для всего человече-

ского рода путеводной звездою, о Будапешт! Будь гостеприимным хозяином для всех народов мира, но не терпи среди священных стен своих орды захватчиков и чужие флаги.

Будь же и ты, мой родной город, таким, как Будапешт, и сделай так, чтобы мы, недостойные сыны твои, стали достойными тебя и друг друга. Живи вечно — в труде, борьбе, в дыму и копоти, в крови. Да восславится вольный город Будапешт!

2 ноября 1956 г., пятница

МИЛАНУ ФЮШТУ, 1958

Дорогой Милан!

Моей любви и восхищения тобою ничуть не умаляет тот факт, что я забыл поздравить тебя с днем рождения. (Слабым оправданием служат обрушившиеся на меня неурядицы и беды.) Зато в знак почтения я вновь — вот уже третий раз — перечитал "Историю моей жены"[1] и опять испытал такое наслаждение, что в душе не осталось места досаде на собственную забывчивость.

Итак, поздравляю с днем рождения — вероятно, последним в ряду поздравителей — и прошу, в случае крайней необходимости, дозволь и мне приникнуть к источнику вечной молодости.

Твой истинный поклонник,
почитатель и друг

Иштван Эркень.

Из письма Флоре о Жуже[2]

Любовь наша, нежная, и счастливая и очень странная своим волшебством, вероятно, обязана тому, что оба мы понимали: она обречена на смерть, однажды неизбежно насту-

1. В русском переводе роман М. Фюшта "История моей жены" вышел в 2010 г. в издательстве "Водолей", а в "ИЛ" (2011, № 7) опубликовано предисловие автора к его первому изданию.

2. Флора Гёнци — первая жена И. Эркеня, с которой у писателя до конца сохранились дружеские отношения. Жужа Радноти — третья и последняя супруга писателя, сподвижница во всех его делах. Ведущий театровед, критик, автор множества книг и монографий, посвященных венгерской драматургии, несколько десятилетий заведовала литературной частью будапештского театра комедии "Виг".

пит конец, как и положено по законам природы, хотя ничего хорошего в этом нет. За что она любит меня, не знаю. Целый год я не мог пригласить ее в какое-нибудь приличное место, купить хотя бы грошовый подарок — за время болезни поиздержался до того, что даже сигаретой угостить ее был не в состоянии. Я и теперь чувствую себя молодым, но в зеркале отражается лицо старого человека, осунувшееся и подурневшее от болезненных мук. Однако любовь порой бывает неразборчива, или же выбирает эту странную форму печали, тем не менее согревающей минуты нашей жизни. Каждая любовь жаждет продлиться как минимум вечность, а если не получается, улетучивается легкой дымкой.

Письма В *Балатонфюред, Супругам Липтак*[1]

Дорогие Габор и Пульчи!

Приехать нам не удастся. В ночь с субботы на воскресенье я оставил машину возле дома, чтобы с утра пораньше не заходить в гараж, а сразу тронуться в путь. Сотни раз оставлял на улице, и все обходилось без происшествий.

А тут в шесть утра звонит в дверь привратница, которая на радостях даже челюсть вставить забыла, и сообщает, что в машине вышибли окно и залезли внутрь. Кошмар, да и только: сбили дверную ручку, расколошматили стекло и выгребли все подчистую — красивый плед, все запчасти, очки и документы. Вольно тебе смеяться над чужой бедой, коли сам машиной не обзавелся. Но я с тебя усмешечку сотру. Грабители утащили и книгу, которую тебе так хотелось заполучить, — ее я тоже оставил в машине. Тем самым рассчитывал внести свой вклад в празднование вашей четвертьвековой моногамии. Подарок теперь ищи-свищи, а ты хохочи вволю.

1. Липтак Габор (1912—1985) — литератор, этнограф, краевед, посвятивший свою жизнь и творчество родному Прибалатонью. Сам Липтак и его супруга, Пирошка, были знатоками, ценителями и увлеченными собирателями предметов старины и венгерского народного искусства и оставили после себя богатейшую коллекцию. Гостеприимный дом Липтаков в Балатонфюреде долгие годы давал приют выдающимся писателям, поэтам, музыкантам, художникам, скульпторам и другим творческим личностям, составившим гордость венгерской культуры. В их числе был и Эркень, не раз гостивший у друзей. Вот уже второе десятилетие в Доме Липтака в Балатонфюреде действует Международный дом творчества переводчиков.

Явилась полиция. У меня и привратницы взяли отпечатки пальцев. Думаю, на том дело и кончится. К сожалению, без документов машиной не воспользуешься, вот и ношусь, пытаясь восстановить водительские права. Мораль — яснее некуда: кому нечего терять, тому не о чем горевать. Блажен, кто без мотора.

Кстати, поздравляю с 25-летней годовщиной. Желаю и на ближайшие 25 годов попутного ветра, пусть на вашей мачте и впредь развевается знамя любви.

С тем и обнимает вас потерпевший, ограбленный, обездоленный, у которого и не осталось-то ничего, кроме отпечатков пальцев,

Иштван Эркень.

Мои дорогие!

Переписка моя настолько обширна, что приходится соблюдать хоть какую-то очередность. Вчера — запрос от эмигрировавших гомиков, можно ли им вернуться на родину. Позавчера — Мао Цзэдун, убивается, что жизнь пошла псу под хвост, спрашивает, как быть. Объявилась Бриджит Бардо: замучило одиночество, по ночам плачет, взывает к моей помощи.

Вот и вам пишу в двух словах. Приедем ли к вам? Возможно, в феврале. Числа 6—8-го, как там выпадут выходные. И если будет хорошая погода. От ночевки в отдельных комнатах готовы отказаться. Отапливать помещение желательно не этнографическими редкостями, а обычными печками.

Отвечайте, да поласковее, не то испарится даже слабое желание заглянуть в ваши края.

Обнимаю.

Пишта.

P. S. Сочинил повесть[1]. Я гений.

1965

Жужа Радноти и Иштван Эркень
с радостью извещают,
что 17 июня с. г. вступили в законный брак,
стало быть, размещению по отдельным комнатам
не подлежат.

1. Повесть "Кошки-мышки".

Поздравления, свадебные подарки, денежные конверты
принимаются по адресу:
Будапешт IX, пр. Ференца, 1.

1965

Золотые вы мои, бесценные!

Не приходилось ли вам подмечать, что даже сама форма приглашения проливает яркий свет на характер человека?

Например, если вам пишут:

"В связи с приближающимся двойным праздником будем рады видеть вас у себя в фюредском доме" и т. д. и т. п.

Что за человек, ваш корреспондент?

Честный, открытый, душа нараспашку, истинный венгр. Смотрит прямо в глаза, не хихикает у тебя за спиной. У такого что на уме, то и на языке.

Такого человека нельзя не любить.

На могилку ему кладут цветы, вспоминают добром.

"До зельца был большой охотник" — даже такие мелочи всплывают в памяти.

Но ведь не всякий ему чета.

Напишет, к примеру:

"Вот когда мы вернемся с лечебного курорта, да когда покончим с ремонтом, опрыскаем виноградник, да ежели не нагрянет знатный гость, и если бы да кабы..."

Спрашивается, что это за тип? Истинный венгр? Прямой человек? Не венгр, и не прямой.

У этого всегда припасен камень за пазухой. Тихоня, а себе на уме, с такого станется в обществе исподтишка воздух испортить, а выковырянную из носа козюльку прилепить снизу к сиденью стула.

Даже Ленина и того небось недолюбливает.

Язык держит на привязи, за гнилыми зубами. Могила его зарастет бурьяном, лебедой да лопухами, а усопшего никто и словом не помянет.

К нам ведь многие обращаются с вопросом: "Что они за типы такие, эти Липтаки?" Мы сдержанно отвечаем: сами, мол, не знаем. Или: "Сами знаем — не проболтаемся". И выжидаем.

Берегитесь, Липтаки! Мы пока что помалкиваем да ждем.

Пишта и Жужа.

Дорогой Габор!

По-прежнему ничего не знаем о Пульчи и очень беспокоимся о ее здоровье. Черкнул бы хоть несколько строчек.

У нас все хорошо, произошел целый ряд приятных перемен, касающихся прежде всего меня. Мой репортаж о наводнении вызвал целый переполох, и наш замминистра на каком-то высоком собрании расхвалил меня почем зря. Повесть "Кошки-мышки" тоже пользуется успехом — одним словом, положение в корне изменилось. В идеологическом отделе ЦК состоялась беседа, закончившаяся для меня весьма положительными результатами: от Издательства художественной литературы пришел договор на сборник рассказов, а на другой день я получил заграничный паспорт.

Разумеется, тотчас разнесся слух о том, что положение мое изменилось, и в один день объявились просители от двух газет и двух театров за материалами.

Надеюсь, вскорости тебя постигнет невезение, и уж тогда-то я сумею отплатить тебе за все, что ты делал для меня в черные дни.

Пульчи желаем скорейшего выздоровления!!! Обнимаю.

Пишта.
1965

Семидесятые годы

ТИБОРУ ДЕРИ, В БАЛАТОНФЮРЕД

Сиглигет
1 июля 1971

Дражайшая Бёбе, дорогой Тибор!

Смеялся до слез над твоим письмом. Однако слезы мои, вскоре смешавшись с известковой пылью, осели на пол. Рассеянный маляр наступил на белую массу и раздавил ее в крошево. Тогда-то я и сбежал сюда, взвалив на Жужу все передряги ремонта, который сейчас в самом разгаре. Повсюду цементная пыль, обломки штукатурки, вонь краски и огонь сварочных горелок. Маляры, газовщики, водопроводчики, педерасты, слесари, коммунисты. Позавчера заявился паркетчик, да так и пропал в этом бедламе; никто его больше в

глаза не видел, родственники разыскивают беднягу до сих пор. Мастеровые галдят все четверо вместе, трое требуют денег, одного по недосмотру замуровали, так он стучит в стенку: не только подает признаки жизни, но тоже требует свою долю. Вы втравили нас в этот кошмар, а сами живете припеваючи в особняке с дюжиной обширных покоев и нет чтобы пригласить измученного друга отдохнуть от всех тревог и забот. Пришлось купить путевку в дом творчества, считай, тысяча псу под хвост. Приехали бы, что ли, утешили меня. Тем более что я собрался ехать в Тапольцу, сандалии купить, но машины нет. И вдруг да сандалии местного производства и вам понравятся.

Словом, жду с любовью у себя в 8-м номере.

Пишта.

ТИБОРУ ДЕРИ, В БАЛАТОНФЮРЕД

Примерно 3-го числа 1971 года

Дорогой Тибор, бесценная Бёбе!

Возвращайтесь же наконец! Небось и цветы в саду все засохли, и сами со скуки вянете, чего же прохлаждаться, спрашивается! Хвалебное письмо Тибора — как бальзам на душу, знаю, что на похвалы он скуп (не то, что в денежных вопросах). Прочел дважды, так что радость двойная.

Здесь все в порядке. Страху было натерпелись, но все обошлось. На улице Кароя Лотца вспыхнул пожар. Понаехали пожарные, давай орудовать огнетушителями, водой заливать, шум, гам, крики — горит дом 20! К счастью, память мне не всегда отказывает. Тихо, говорю, люди, спокойно! Семейство Дери живет не в 20-м, а в 22-м, так что не будем хозяев попусту беспокоить. Но вы бы все-таки поторопились, цветы ваши здешние наверняка покрылись копотью-сажей. С цветами вам определенно не везет.

Возвращайтесь поскорее уже хотя бы для того, чтобы познакомиться с нашим питомцем. Мы подобрали бездомную, бродячую собаку. Породу установить трудно, больше всего собака эта похожа на детеныша косули, возможно, из нее и вырастет косуля, а пока она еще не определилась по молодости лет. Обращаться с собаками я не умею, лишь кормлю, пою и чешу за ушами. Проделываю все это из чистого альтруизма, у нас в доме не будет культа собак; приютили пса, так как ночью, под проливным дождем, он скулил у двери. В

моем случае это вполне естественно. Если бы ты и Бёбе скулили в дождь у меня под дверью, я бы и вас приютил. Стал бы кормить, поить, чесать у вас за ушами. На то и писатель-гуманист.

На прощание сообщу лишь, что прохиндей (которого Бёбе столь любезно порекомендовала нам) провел-таки газовое отопление (за 72000 форинтов!), но сегодня из управления коммунального хозяйства пришло извещение: расход газа в нашем районе и без того превышает норму, а посему в подключении газа нам отказано. В связи с чем шлю Бёбе горячую благодарность и припадаю к ручке.

Обнимаю.

Пишта.

ВЕРКОРУ[1] В ПАРИЖ

Дорогой друг!

Что же Вы мне посоветуете? После того как я прочел первые 30 страниц, обратиться к другому переводчику? Да воскресни из мертвых сам господин де Мольер, к тому же в совершенстве владеющий венгерским и попроси у меня эту пьесу на перевод, я бы ему ответил: "Почтеннейший Жан Батист Поклен, честь имею сообщить, что мой друг Веркор перевел первые 30 страниц моей пьесы и, ознакомившись с переводом и его превосходным романом 'Сильвия', отдаю ему предпочтение". Словом, я очень рад, что Вы приступили к переводу и убежден, что он окажется превосходным. Более того: в Вене пьеса пользовалась настолько большим успехом, что после премьеры во Франции мы с Вами обогатимся. Вы купите себе еще одну мельницу под загородный домик, а я — хоть какой-нибудь крохотный островок, лишь бы было где жарить на костре колбасу и творить шедевры.

Благодарю за добрые вести, почтительно кланяюсь мадам Веркор, а Вам выражаю наилучшие дружеские пожелания.

Иштван Эркень.
22.X.1972

1. Веркор (1902–1991) — французский писатель, критик, венгр по происхождению. Ознакомившись с текстом пьесы "Кошки-мышки" на английском языке, загорелся желанием перевести ее на французский и обратился к Эркеню с просьбой разрешить ему перевести эту пьесу. Веркор сомневался в качестве своего перевода и прислал Эркеню отрывок на отзыв.

ТИБОРУ ЧЕРЕШУ[1]

16.V.1973

Спасибо за присланное (присланную? не знаю, как склонять) "Здесь, на Земле". Прочел почти все. *Почти* лишь потому, что, как появляется дервиш, я удаляюсь. Стало быть, дервишей я обошел стороной. Зато с наслаждением читал остальное, отдавая дань твоим заигрываниям с формой (в "Большом загуле") и силой драматизма (в "Летних упражнениях").

На упражнениях задержимся, поскольку я вот уже 20 лет проедаю тебе плешь по поводу способа подачи информации, то есть чисто черешевских штучек, вводящих читателя в заблуждение. До сих пор ты к моим словам не прислушивался. А жаль. Но на сей раз ты забил гол в собственные ворота, мое дело — сидеть и надрывать живот от смеха. Открой страницы 132—133 и изволь внимательно прочесть. Сперва идет диалог, оставляющий читателя в полном неведении, а потом (потом, Череш, то бишь *после?*) следует объяснение. Ты проделываешь это со мной, 60-летним, дважды. Хотя удачно выстроенный диалог дает почувствовать, заранее услышать нарративное пояснение, которые тем самым становится излишним. Сначала надо обрисовать ситуацию, а уж потом пусть собеседник разглагольствует всласть. А у тебя что? Все с точностью до наоборот, что я (идиот!) талдычу тебе два десятка лет. Сам расставил себе капкан, сам попался в него, теперь выбирайся.

Кстати сказать, книга действительно хорошая.

Обнимаю.

Пишта.

ФЕРЕНЦУ КАРИНТИ[2]

29 авг. 1973

Дорогой Цини!

Знаток человеческих душ — равно как и истории — из тебя никудышный. С чего ты взял, будто бы я запамятовал

1. Тибор Череш (1915 — 1993) — венгерский писатель.
2. Ференц Каринти (1921—1992) — венгерский писатель, близкий друг Эркеня.

I съезд писателей, милейшего Реваи и свое скромное выступление? Помню, все помню, хотя с тех пор немало воды утекло в Дунае и меня не единожды, не дважды, а трижды освободил Советский Союз. Перечисляю по пунктам:

1. В 45-м. Комментарии излишни.

2. В период "культа личности", как теперь стало модным выражаться. Передо мной, до той поры сочинявшим как бог на душу положит, социалистический реализм распахнул новые просторы. Прежде я ни сном ни духом не ведал, что бывают на свете положительные герои (токарь Лугоши в моем романе "Супруги"), партийность, революционная романтика. Тужься, пока не лопнешь — нипочем об этом не догадаешься. Теперь наконец догадался.

3. 4 ноября 56 года, когда прогремели советские орудия и загрохотали дружественные танки, дабы наконец дать мне возможность познакомиться с пролетариатом, с неутомимыми тружениками Завода по изготовлению медикаментов и перевязочных средств, где я провел пять лет безо всяких понуканий-подстегиваний к писательскому творчеству и без угрозы публикации. Да здравствует Красная армия!

К сожалению, в башке у тебя кавардак. Не знать, что означает слово "освобождение"! В нем такая глубина, многоплановость смыслов. Кто этого не понимает (к примеру, ты), от того и не добьешься внятного ответа на вопрос, по какой такой причине и по сей день пребывают в Венгрии (разумеется, по нашей собственной просьбе и, к сожалению, лишь временно) советские воинские части.

Ежели сомневаешься в целесообразности подобной ситуации, признавайся как на духу, а я передам, кому следует.

Жду твоих обдуманных и откровенных соображений на этот счет. И не вздумай прибегать к отговоркам типа "где нас нет, там враг тут как тут". Конечно, если ты считаешь, будто им пора уходить, так и напиши. Может, они потому и не уходят, что их некому надоумить. Солдаты, сам знаешь, какие тугодумы.

В ожидании твоих любезных строк...

Обнимаю.

Пишта.

ШАНДОРУ ВАЙДЕ[1]

7.II.1974

Дорогой Алекс!

Не за книгу благодари, а за пересылку. Если ты не заметил, то знай, что окаянная почта слупила с меня чуть ли не тридцатку за марки. Сколько всего на эти деньги можно бы накупить!

У нас все хорошо. В театре приступают к репетиции моей новой пьесы "Кровные родственники" — это всегда дело непростое, но надеюсь, на сей раз обойдется без осложнений. Я побывал в Брюсселе, где "Кошки-мышки" снискали подлинный успех. Меня постоянно путали с Веркором, так что, раздавая автографы, я подписывался: Пишта Веркор. Встретил множество венгерской молодежи, что меня очень огорчило. В одном только Лувенском университете получили дипломы 45 венгерских студентов. А сколько еще, кроме этих, — бог весть.

Сейчас в Пешт лучше не приезжай. Холод, туман, дышать нечем. Даже женщины, и те некрасивые.

Обнимаю.

Пишта.

ЗОЛТАНУ ВАРКОНИ[2], 1974

Рождественские заботы

— Видите ли, товарищ Эркень, у этого Золтана Варкони все есть: два театра, вилла, машина, внуки, коллекция картин, премия им. Кошута и игрушечная железная дорога. Чем еще может порадовать Дед Мороз?

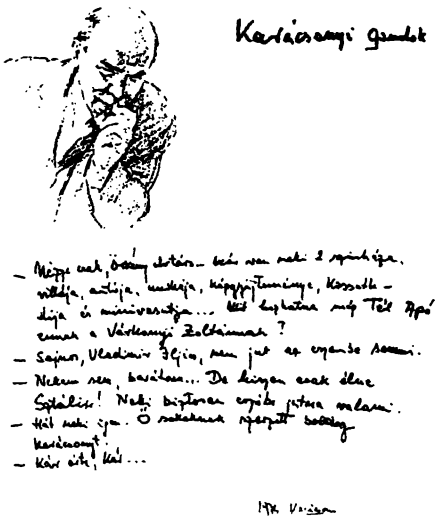
— Ума не приложу, Владимир Ильич.

— И я тоже, дорогой товарищ. Был бы жив Сталин, он бы что-нибудь придумал.

1. Шандор Вайда (1902–1979) — венгерский поэт, критик. До 1931 г. жил в Вене, затем в Москве, а после войны — снова в Вене. Читал лекции в советских лагерях для военнопленных, где и произошло их знакомство с И. Эркенем, перешедшее в дружбу.
2. Золтан Варкони (1912–1979) — венгерский режиссер, постановщик пьес Эркеня.

— Уж это точно. Он-то многим обеспечил счастливое Рождество!

— М-да. Жаль-жаль!



ЛАСЛО НАДЮ, 1975

Дорогой Лаци!

Спасибо за присланные тома твоих стихов и переводов. Взял четырехтомник в руки с почтением — ведь это малая часть сотворенного тобою, остальное — впереди. В общем, шляпу долой! До переводов я еще не добрался, так как первый том уложил меня на обе лопатки. М-да, любезный мой приятель, нелегкое чтиво ты мне подбросил. В примечаниях к первому тому ты нехотя признаешься, что твоя поэзия, мол, вряд ли доступна общему пониманию, а я вот лишь после второго, третьего захода решился сказать: ага, эти головоломные стихи вроде как начинают поддаваться разгадке. Такого уговора промеж нас не было. Мои сетования относятся прежде всего к стихам последних 10—15 лет. Эти годы и для тебя не прошли бесследно, о чем и хочу написать несколько слов.

Стихотворение само по себе вроде бы не "говорит" ничего, но поскольку это "ничего" — призраки, видения, переданные языком образного мира, стало быть, оно говорит обо

всем. Когда-то давно мне довелось прочесть — кажется, у Бретона, в одном из "Манифестов сюрреализма", — что сравнение хорошо, если сопоставляет полярно далекие вещи. Чем дальше отстоит сравниваемое от объекта сравнения, тем лучше. Значит, "журчащий ручей" — образ ничего не выражающий, поскольку констатирует очевидный факт, но, если поэту послышится в журчании ручья, скажем, позвякивание обнаженных лезвий, сравнение покажется вспышкой вольтовой дуги, сразу вызывая напряжение между двумя полюсами. Так вот, в хронологии твоих стихов я уловил возрастание взаимоудаленности полюсов. По мере чтения я выписал для себя кое-какие твои поэтические образы, и стало совершенно ясно (если бы каждое твое стихотворение было для меня так же ясно!): твой отправной пункт — поэзия Аттилы Йожефа, — а затем происходит постепенное отдаление от него. "Похлебка из конины с запахом резеды", "возмущенный уран", "из миски, молниями сверкающей, ты поедаешь смерть" и "тонкого холста шуршащие врата" — строки эти вызывают в памяти Йожефа не созвучием, а смыканием полюсов: сколь бы ни было неожиданным сопоставление, оно может быть прослежено умозрительно, то есть ошеломляет в первый момент, но тотчас же и поддается истолкованию. Его поэтическое пространство витает где-то между сознанием и подсознанием, но всегда соприкасается с читателем, который так или иначе отзывается на него.

Ты же — в чем убеждаешься по мере чтения книги — постепенно отделяешься от этого пространства и погружаешься в более глубокие пласты восприятия. Разница примерно такова: то, что я назвал образной системой Аттилы Йожефа, пусть и не столь прямолинейно, но все же смыкается с очевидной реальностью "журчащего ручья", поскольку между ними существует некое отдаленное родство. На тебя это не распространяется. Выхватываю наугад из своих выписок: "летишь — с красным сахаром на кончиках перстов" или "перевернувшись под распятьем, я взглядываю вниз, о-о, там долгоносики кишмя кишат!" — эти метафоры впоследствии никак не проясняются, не становятся очевидностью. Поэтому твои позднейшие стихи не то что заранее непредсказуемы и производят впечатление полной неожиданности — этот эффект они выдерживают до конца, не переходя в доступную на уровне сознания или объяснимую систему изображения. О "красном сахаре" можно лишь мечтать, если тебе дано видеть только черно-белые, а не цветные сны.

Или взять, к примеру, такую метафору: "Слюною сладкою травинки натягивают окна вокруг нас". Прелесть этой

поэтической декларации заключается в том, что здесь любое утверждение может быть опровергнуто. (Слюна не сладкая, окна не натягивают, тем более травинки, и уж вовсе не вокруг нас.) Но именно терзая читателя этой абсурдностью, ты вынуждаешь и нас отринуть принципы формальной логики и последовать за тобой на уровень подсознания, где вольтова дуга натянута до такой степени, что даже искра не образуется, аккумулируя напряжение меж полюсами.

<...> Поделиться с читателями миром своих сновидений по плечу лишь очень сильной личности. Мне сколько не внушай полицейский регулировщик, что "полная луна нас осыпает пеплом", я не поверю, хотя отношусь к регулировщику с боязливым почтением, с тобой же попытаюсь спорить и сдамся под конец, тебе поверив. В тебе заключена столь мощная сила, словно на пятой точке у тебя вулкан.

Хотелось бы еще долго-долго сопровождать тебя на избранном тобой пути, но это — увы! — не позволят подлые законы биологии. Впрочем, я согласен побыть с тобой и недолго, дождавшись, покуда стихи твои станут доступны разумению каждого — не только благодаря твоей поэтической силе, но и правоте. Аминь.

Тебя обнимаю, Маргит нежно целую ручки.

Иштван Эркень.

ШАНДОРУ ВАЙДЕ

18.VII.1977

Дорогой Шандор!

Давно тебе не писал — с головой ушел в работу, трудился все лето, а результат? Одноактная пьеса! Но она не давала жить, не позволяла думать ни о чем другом. Ну а сегодня скончался Дери, с которым, если не ошибаюсь, ты был знаком. Месяц назад он упал у себя дома в Балатонфюреде — перелом шейки бедра, операция прошла удачно, что большая редкость в 83 года. Но встать на ноги он уже не смог. Из-за худобы у него образовались тяжелые пролежни, и сегодня утром сердце перестало биться. Он очень мучился, до самого конца был в сознании, еще четыре дня назад шутил, подтрунивал надо мной. В понедельник мы его хороним. Вместе с ним умерла и какая-то часть моего существа...

На следующей неделе мы отбываем в Америку, в Миннеаполис, где состоялась уже вторая премьера "Кошек-мышек" – с большим успехом. Театр пригласил нас обоих, беспримерный случай, ведь авиабилеты стоят целое состояние. Поездка займет три-четыре недели, и это большая радость, поскольку предыдущее мое посещение Америки произвело на меня потрясающее впечатление, в хорошем и плохом смысле, но силы необычайной. Это отразилось в моей повести "Выставка роз" (я словно заранее предугадал смерть Тибора. В сентябре книга выйдет, и я пришлю тебе).

Надеюсь, вы здоровы, чего вам от души желаю. Надо держаться, насколько возможно, и уйти как-то иначе, не так, как Тибор, который в последний раз говорил со мной, не снимая кислородной маски. Чувствовалось, что он уже сдался: не боль, а унижение сломило его. С этим он никогда не мог смириться.

Пишта.

ШАНДОРУ ВАЙДЕ

30 ноября 1977

Дорогой Алекс!

Получил твое невеселое письмо. Сам я тоже невесел: подхватил грипп, с последствиями. Шесть дней тянулись размягчение мозгов и кашель, в результате кашель все же прошел, а все остальное...

У нас все в порядке, занимаемся политикой, все идет по принципу качелей, а стало быть, ничего не происходит, даже в литературе. Я тоже палец о палец не ударил для того, чтобы что-то происходило. Полгода бьюсь, пытаясь сочинить пьесу, а не написал еще и половины. Силюсь разгадать психологию сфальсифицированных процессов, вплетая события 1951-го[1] в рамки цирковых сцен. Похоже, сочинитель трагедии сам превратится в трагического персонажа – ни с одним своим произведением столько не мучился. С посторонними не особенно делюсь, чтобы в случае неудачи не потешались надо мной.

1. Пьеса "Сценарий" о "показательных" политических процессах, только действие перенесено к событиям 1949 г.

Надеюсь, у вас все хорошо, ты вывезешь свою подагру на ванны, а значит, встретимся. Если книга не дошла по почте, получишь еще одну "Выставку роз". Она имеет большой успех, тираж в 40 тысяч разошелся в течение нескольких дней, даже сам не могу достать. Нравится всем, кто боится смерти. А кто не боится? Только я, так как излил свой страх на бумагу. <...>

Береги себя неустанно, на тротуарах сейчас скользко, не падай.

Обнимаю.

Пишта.

МАРГИТ СЕЧИ ПО СЛУЧАЮ СМЕРТИ ЛАСЛО НАДЯ

16.II.1978

Дорогая Маргит!

В этом мире все измеримо, лишь силу чувств приборы отмечать не умеют. Даже частота или, наоборот, редкость встреч не является показателем любви, дружбы, привязанности. Хоть мы и редко встречались, я ощущал постоянную братскую близость вашу (всегда обоих), и наша душевная близость уже навсегда, поэтому сейчас я не в состоянии измерить всю значимость утраты.

Я и теперь по-прежнему обращаюсь к вам во множественном числе и в утешение могу сказать лишь одно: я всегда восхищался тем, как вблизи этого знойного урагана вам удавалось сохранять свой поэтический суверенитет и независимость при вашей с Лаци взаимозависимости. Лишь это может стать для вас — и станет — вашим якорем жизни. Ну а Лаци сохраним не воспоминанием, он по-прежнему будет сопровождать всех нас по жизни, являясь образцом поведения.

То, что не успел сказать ему, позвольте сказать хотя бы Вам, прежде чем тоже умолкну, сказать слова искренней дружеской любви.

Ваш Иштван Эркень.

P. S. На похоронах Лаци (из-за автокатастрофы накануне проводов) я быть не мог. Оно и к лучшему: для меня он никогда не будет ассоциироваться с похоронами.

Из писем Татьяне Воронкиной

17.VII.1970

Дорогая Татьяна Воронкина!

Получил журнал "Иностранная литература"[1] с подборкой моих рассказов в вашем превосходном переводе. Даже передать не могу, до чего я был рад, ведь это первое появление моих работ на русском.

Хотелось бы выразить свою благодарность при личной встрече, каковая, возможно, и состоится. Судя по всему, в ноябре в Ленинграде у Товстоногова пройдет премьера моей пьесы "Семья Тотов", тогда постараюсь отыскать и Вас.

А пока благодарю за великолепную работу!

Целую руку.

Иштван Эркень.

Пришел журнал "Иностранки"[2], чему я очень обрадовался. Даже от редакции была приписка в несколько строк, что очень трогательно: от наших редакций такой учтивости не дождешься.

<...>

декабрь 1970

Таня, дорогая!

Счастлив, что Вы взялись за перевод "Выставки роз"[3]: признаться, я об этом мечтал. Здесь Вас тоже ждет нелегкая задача, поскольку надо дать почувствовать некоторую циничность стиля разговорной речи, принятого среди телевизионщиков, киношников и работников радио и, полагаю, существующего в каждой стране. Чем отстраненнее станут держаться эти телевизионщики, тем явственнее отразится напряжение между смертью и ее обстоятельствами. <...>

С давней и вечной любовью желает счастливых праздников

Иштван Эркень.

1.III.1978

1. В № 3 за 1970 г. была опубликована подборка "рассказов-минуток".
2. В 11-м номере журнала за 1970 г. была опубликована повесть "Семья Тотов".
3. Повесть была опубликована в журнале "Иностранная литература" в № 12 за 1980 г.

Марина Ефимова

Чарльз Диккенс в Америке

Март. Теплый день. Мы в дилижансе где-то между Луисвиллем и Цинцинатти. Все разговоры между пассажирами начинаются, кончаются и практически состоят из одной фразы – "Да, сэр" (Yes, Sir), произнесенной с разнообразными интонациями.

Час пополудни – время ланча. Мы останавливаемся у маленькой гостиницы. На крыльце в кресле качалке – худой человек в рыжей шляпе. К нему обращается пассажир в соломенной шляпе.

Соломенная шляпа: Полагаю, это судья Джефферсон?
Рыжая шляпа (*качаясь и произнося слова очень медленно*): Yes, Sir.
Соломенная шляпа: Неплохая погода сегодня, судья.
Рыжая шляпа (*согласно*): Yes, Sir.
Соломенная шляпа (*заверительно*): Yes, Sir!
Обе шляпы (*глядя вдоль улицы, философски*): Yes, Sir...

Снова пауза, и они взглядывают друг на друга еще серьезней, чем прежде[1].

Это мимолетная запись Чарльза Диккенса в его книге "Американские записки". Не узнаем ли мы в этом разговоре, подслушанном чутким ухом стилиста, персонажей Фолкнера или диалоги из фильма братьев Коэнов "Фарго"?..

Диккенс приехал в Америку в канун 1842 года, ответив, наконец, на давнишнее приглашение самого знаменитого тогда американского писателя Вашингтона Ирвинга – автора "Рипа Ван Винкля", "Спящей долины" и сатирической "Никербокеровской истории Нью-Йорка". К 1842 году сам Диккенс был уже классиком, автором пяти знаменитых книг, включая "Посмертные записки Пиквикского клуба", "Давида Копперфильда" и "Николаса Никлби". И Америка читала его запоем. Вскоре по прибытии он писал своему другу Джону Форстеру:

Не было на Земле императора, которого встречали бы такие толпы, как меня в Бостоне, Нью-Йорке и в Филадельфии. Балы, обеды, депутации... В церквах мне оставляют почетные места. Если я еду в экипаже, толпа провожает меня до дому. Если я иду в театр, зал встает как один человек. Мог ты себе это вообразить? Я – нет.

Диккенс действительно не был готов к такой популярности. Он приехал в Америку не за славой. Он был недоволен старой Британской империей

© Марина Ефимова, 2012
1. Здесь и далее перевод автора.

и давно мечтал познакомиться с новым социальным и экономическим экспериментом — с Соединенными Штатами Америки. Но ждало его разочарование, которое так объясняет специалист по творчеству Диккенса — профессор Калифорнийского университета Джон Джордан:

Диккенс ожидал увидеть то, что он называл "республикой своей мечты". Он (возможно подсознательно) представлял себе американскую демократию демократией интеллигенции, в то время как она оказалась именно тем, что и обещала, — воплощением мнений и вкусов большинства. А это было неминуемо связано с вульгарностью манер, языка и обычаев, которые и смешили, и раздражали Диккенса. Особенно донимала его манера класть ноги на стол и привычка жевать табак и сплевывать жвачку куда придется.

"Дебаты в Конгрессе, — писал Диккенс в "Записках", — ведутся с неизменным взаимоуважением (в отличие от нашего парламента), но, если иностранцу случится побывать в кулуарах Капитолия, советую ему не смотреть на пол".

Однако прежде всего еще до всех выводов, до обоснования и даже до осознания своих разочарований, Диккенс в Америке подглядывал и подслушивал — например, в поезде, идущем по Массачусетсу:

У кондуктора форменной одежды не было. Он то расхаживал по проходу, то стоял, прислонясь к стенке (руки в карманах), разглядывал пассажиров и заговаривал с ними, когда ему приходила охота. "Небось, в Англии так быстро не ездят, — сказал он, распознав во мне англичанина и присев рядом. "Ездят", — ответил я. "Да? — сказал он, явно не поверив, и добавил: — Вообще-то янки считаются людьми, которые впереди всех". — "Да", — согласился я. "Да, — повторил он. — небось, едете в город N.?" — "Нет", — сказал я. "Да? — сказал он. — Ну и напрасно. Местоположение прекрасное — железнодорожный узел". Затем пошли расспросы о моем маршруте, и тут же выяснилось, что места, куда я еду, неинтересны, опасны и труднодоступны, а все, что стоит посмотреть, находится в совершенно других местах.

Любопытно, что, приехав в Америку через 130 лет после Диккенса, мы, советские эмигранты, часто удивлялись тем же вещам. Он пишет, например: "Мимо нас проносились мили и мили девственного леса, в который нельзя и помыслить войти, так он забит поваленными деревьями на разных степенях разложения". И до сих пор так. Еще одно (особенно удивительное через 130 лет) ощущение — новизны страны. Читаем у Диккенса: "Домики Новой Англии — такие белые, такие новые, что, кажется, стоит мне проехать, как их разберут и упакуют в коробку".

"Диккенса, — рассказывает профессор Джордан, — многое и восхитило в Америке. Фабрики, дома для бедных, даже провинциальные тюрьмы (кстати, он прозвал заключенных в их полосатой форме "вылинявшими тиграми")... но особенно — текстильные фабрики Массачусетса. Он

был поражен тем, что девушки-ткачихи веселы и привлекательны, тепло и мило одеты — "даже не без кокетства". "Не видел ни одного лица, — писал он, — которое хотелось бы пожалеть". Его удивил уют пансионов для ткачих, обилие библиотек и бесплатных лекций. Он знал фабрики Северной Англии. И сравнение было не в пользу Англии".

Но, конечно, Диккенс и тут подглядел смешные детали. Он заметил, например, почти полное отсутствие веселых развлечений в Америке. "Все развлечения дам — лекции и церковные проповеди", — пишет он в "Записках". И позже — в романе "Жизнь и приключения Мартина Чазлвита":

"Ходили на лекцию, миссис Брик?" — спросил Боуэн и подмигнул мне. "Йес, сэр". — "Какая была тема?" — "Какой день недели вы имеете в виду? — спросила дама с чуть заметным выражением интеллектуального превосходства. — По средам у нас 'Философия души'". — "О?! А по понедельникам?" — "Философия преступности". — "И по пятницам?" — "Философия растительности". — "Вы забыли четверг, моя дорогая, — воскликнула другая дама, — философия правительства!" — "Нет, это — по вторникам, — холодно перебила первая дама. — А по четвергам — философия материи".

В "Американских записках" Диккенс пишет: "Проповедей еще больше, чем лекций. Религия для американцев — замена выпивки, способ вырваться из рутины. Не удивительно, что те священники, которые приправляют свои проповеди перцем, имеют самый большой успех. Тот, кто ставит самые трудные препоны на пути к Небесам, кто безжалостно выдирает с корнем все цветы, украшающие обходные пути, тот и есть истинно верующий". Диккенс попал в пуританское общество. Он ожидал найти в Америке свободу духа, а нашел диктат религии. Правда, все религии были разрешены и процветали, но пуританский дух преобладал.

В Америке Диккенс осознал, что он — гораздо больше англичанин, чем он думал, что он предпочитает английское общество, английский юмор, английские развлечения, английские манеры и даже английскую еду.

В Бостонском отеле перед обедом на стол ставят, Бог знает почему, миску с клюквой, — пишет Диккенс. — А завтрак не обходится без огромного деформированного бифштекса, плавающего в масле и обсыпанного самым черным в мире перцем. Правда, невероятно вкусны устрицы на пару. Во всех домах, самых простых и самых изысканных, их подают к обеду в такой огромной миске, что в ней можно утопить человека.

Секретарем Диккенса в Америке был молодой американец, Джордж Путнам. В 1870 году, вскоре после смерти Диккенса, он опубликовал в журнале "Атлантик" статью "Четыре месяца с Чарльзом Диккенсом", в которой писал:

Во время пребывания мистера Диккенса в Нью-Йорке, после какой-то его реплики, возникло подозрение, что он не одобряет

американское рабство. Это сразу вызвало охлаждение к нему на Юге. А на Севере дело окончательно испортило его выступление в Хартфорде. Ехали туда на речном пароходике с двигателем, по выражению мистера Диккенса, "мощностью в пол-ослиных силы". Там, после выступления, он говорил о необходимости соблюдения законов об авторских правах и привел печальный пример смерти сэра Вальтера Скотта. Тема авторского права у нас страшно непопулярна, и газеты начали кампанию против мистера Диккенса, которая позже стала агрессивной и даже враждебной.

Вот что говорит по этому поводу профессор Джордан:

Одной из целей приезда Диккенса в Америку была агитация за соблюдение европейских законов о копирайте. Международных законов еще не было — их приняли в 1891 году, — а пока в Америке массовыми тиражами издавали европейских писателей, не платя им гонораров. Больше всего в этом пиратстве была заинтересована именно пресса, поскольку журналы и газеты заполняли свои страницы бесплатными текстами популярных английских книг и тем увеличивали тиражи. Поэтому пресса так злобно и накинулась на Диккенса, обвиняя его в эгоизме, материалистичности и жадности.

Взаимно. Одна из самых разоблачительных сцен в "Мартине Чазлвите" — послеобеденный разговор американских мужчин в придорожной гостинице:

Беседа, правду сказать, была небогата темами, и почти все их можно свести к одному слову — доллары. Все заботы собеседников, их надежды, удовольствия, привязанности, добродетели и ассоциации переводились и пересчитывались на доллары. Какой бы ингредиент не бросался в чугунный котел их беседы, они тут же делали из него густую долларовую похлебку. Люди взвешивались и мерялись долларами. Сама жизнь оценивалась, строилась и разрушалась долларами.

В заключительной главе "Американских записок" Диккенс признается, что в Америке у него остались самые дорогие, близкие и щедрые друзья — имея в виду Вашингтона Ирвинга и его круг. Однако дальше он пишет:

По моим наблюдениям, американцы по натуре своей — искренние, смелые, сердечные и гостеприимные люди. Но есть одно пятно на их общенациональном сознании — непреодолимое влечение к хитроумной сделке. Сто раз в Америке я вел такой диалог: "Почему, — спрашивал я, — мистера Икс не лишают его богатств и принимают в хорошем обществе? Он был пойман на вранье?" — "Yes, Sir". — "Он сидел в тюрьме за финансовые преступления?" — "Yes, Sir". — "Он был обесчещен за разбазаривание чужих денег?" — "Yes, Sir". — "Тогда в чем его достоинства?" — "Понимаете, сэр, он такой сообразительный!" (He is so smart!).

"Американцам, — писал Диккенс в "Записках", — надо бы чуть меньше любить реальность и чуть больше — идеалы". По мнению профессора Джордана, это было не самое справедливое обобщение:

Диккенс воспринял американцев как нацию предпринимателей – может быть, потому что больше всего времени он провел в Новой Англии, среди "коннектикутских янки", чья предприимчивость и деловой гений юмористически описаны и до Диккенса (Вашингтоном Ирвингом), и после него – Марком Твеном. Эти черты в американцах можно найти и сейчас, но я с недоверием отношусь к самой идее "национального характера". А вот другое обобщение Диккенса я принимаю: он писал, что беспардонность американской прессы и ее вмешательство в частную жизнь известных людей может привести к тому, что благородные люди поостерегутся участвовать в политической жизни страны. Что мы сейчас и наблюдаем. Было и другое точное его замечание – о суперпатриотизме многих американцев. Они не воспринимали мнение иностранца об Америке, если это не был сплошной восторг и полное приятие. Когда "Американские записки" вышли в свет, их встретили у нас презрением. А журнальный вариант романа "Холодный дом" вышел в Америке только в газете Фредерика Дугласа – известного борца с рабством.

Диккенс выбрал действенный способ показать своим читателям американское рабство: две страницы его "Записок" заполнены объявлениями из газет о беглых рабах. Например: "Имя – Майра, 12-ти лет отроду. Примета – железный ошейник"... или: "Сбежала негритянка с двумя детьми. Примета – клеймо на щеке, но не четкое – я пытался выжечь букву 'М'". Есть в "Записках" и абсолютно провидческие пассажи о рабстве:

Сторонников рабства в Америке я бы разделил на три категории: первые – те, кто пользуется выгодами рабства, но понимает его пугающую природу и наказание, которое падет на их повинные головы. Вторые – те, кто яростно защищает свое право на рабство и будет защищать его до неизбежно кровавого конца. Свобода для них – это и свобода быть бесчеловечными. Они с готовностью вовлекут Америку в любую войну на защиту рабства, включая гражданскую. Третья категория – масса белых южан, в которых наличие рабов поддерживает гордое сознание, что есть кто-то ниже их. Они тоже пойдут воевать за рабство.

Гражданская война в Америке началась через двадцать лет после визита Диккенса. И сразу после ее окончания он, уже больной, приехал в Америку второй раз. И произнес речь на огромном приеме в Нью-Йорке:

Я потрясен переменами, которые вижу на каждом шагу: не только освоением гигантских пространств, не только расцветом и ростом городов, но и переменами нравственными. Конечно, я и сам изменился и понял многое из того, чего раньше не понимал, но я тронут всем, что увидел: приветливостью, добродушием, гостеприимством и деликатностью американцев. И я буду неустанно это повторять – не из чувства благодарности, но как акт справедливости и дело чести.

Он и действительно был поражен тем, как страна достой-

но опомнилась после кровавого ужаса Гражданской войны, как вчерашние враги быстро забыли свою вражду, как поскромнели, как научились смотреть на себя со стороны. Визит Диккенса 1868 года был последним. Через два года он умер. И остался в Америке вечно любимым. Один из его поклонников — современный писатель Джон Ирвинг (автор популярных романов "Мир глазами Гарпа", "Правила яблочного амбара", "Дверь в полу"):

Диккенс не облегчает читателю дело чтения. У него длинные пассажи, он слишком повествователен, он сентиментален — даже для подростков. Но детали!.. Но язык!.. Но мудрость!.. И мастерство: первая фраза написана так, что хочется прочесть вторую, первая глава — так, что хочется узнать, что в следующей. Я прочел все вещи Диккенса, кроме одного романа — "Наш общий друг". Он ждет того дня, когда я сам не смогу больше писать или когда мне объявят, что у меня смертельная болезнь. И тогда меня будет ждать чтение, по крайней мере, одной книги, про которую я точно знаю, что она замечательная.

Я думаю, что безумный темп и стресс американской жизни делает книги Диккенса почти целебными: они восхитительно неторопливы, в них даже зло имеет свою смешную сторону, в них бедность уютна, несчастья преодолимы и каждая маленькая жизнь — бесценна.

Огден Нэш

Вот что должно быть вышито на каждом слюнявчике

Стихи

Перевод с английского и вступление Михаила Матвеева

Когда Огдена Нэша попросили написать предисловие к сборнику произведений Вудхауса, Нэш ограничился фразой: "Сочинения Вудхауса не нуждаются в предисловии". Очень хотелось бы последовать примеру столь выразительного лаконизма. Но, увы! Публикации стихов Огдена Нэша *все еще* в предисловии нуждаются. А в Соединенных Штатах — по прошествии четырех десятилетий после смерти поэта — *уже* нуждаются. В книге Брендана Гилла "Здесь, в 'Нью-Йоркере'", как с сожалением заметил Ричард Корлисс на страницах журнала "Тайм", Нэш даже не упомянут, в то время как с 1930 года по 1971-й — год смерти поэта — "Нью-Йоркер" опубликовал триста двадцать девять стихотворений Нэша.

Огден Нэш родился в 1902 году, свою деятельность начал в издательстве "Дабблдей", где он и "дабблдействовал" по его же словам некоторое время, пока как-то не набросал стихотворение "Весна приходит в Мюррей-Хилл". Нэш счел, видимо, занятие стихосложением глупостью и отправил свои каракули в мусорную корзину. Однако, поразмыслив, он извлек их и вместо корзины отправил в журнал "Нью-Йоркер", где они были опубликованы в 1930 году и произвели настоящую сенсацию.

Биографы и журналисты предпочитают рассказывать именно эту историю поэтического дебюта Нэша, она выглядит весьма привлекательной, хотя справедливости ради следует сказать, что первое стихотворение Нэша появилось в "Нью-Йоркере" четырьмя месяцами ранее — 11 января 1930 года.

Если заглянуть в любую энциклопедию, в любую публикацию, посвященную Огдену Нэшу, он там будет назван непревзойденным мастером легкой поэзии — "поэзии-лайт". "Лайт"! Слово ныне хорошо знакомое нам и без перевода по надписям на бутылках с прохладительными напитками и пачках сигарет, что уже могло бы стать темой для стихотворения Нэша. "Сам термин 'легкая поэзия' — пишет Арчибальд Маклиш в предисловии к солидному изданию избранных произведений Нэша, — несет в

© Frances Nash, Isabel Nash Eberstadt and Linell Nash Smith, 1995
© Михаил Матвеев. Перевод, вступление, 2012

себе уничижительную коннотацию. Есть только один вид поэзии, — считает Маклиш, — поэзия!" Утверждение банально, но неоспоримо. Подлинное искусство не терпит классификации.

Мы же позволим себе, преодолев "трудности перевода", все же причислить Огдена Нэша к мастерам так называемой светлой поэзии.

По признанию самого Нэша, манерой своего письма он обязан плохим поэтам, и пальму первенства в том влиянии, какое они оказали на его технику, отдавал Джулии А. Мур. О Джулии Мур, получившей титул Сладкоголосого певца Мичигана (так называлось одно из ее стихотворений), Марк Твен как-то сказал: "Она вызывает жалость в тех стихах, которыми она хотела вызвать смех, и — смех там, где она пыталась вызвать жалость".

Нэш, заимствуя у Джулии Мур *сверх*дифирамбические, выспренные метры, псевдопоэтические инверсии, нескладные, неуклюжие асимметричные строки, чрезвычайно банальные или с невероятным тщанием подобранные неточные рифмы, игру слов там, где она не подразумевалась (и, безусловно, пародируя ее), создавал свой метод письма, где все перечисленные недостатки становились совершенно осознанным художественным приемом, позволяющим бросить ироничный, но неизменно добродушный взгляд на окружающую его действительность.

Нэш утверждал, что "намеренно вольно обращался с правилами грамматики, правописания и просодии". Таким образом выработанный стиль позволил впоследствии Нэшу сказать о себе: "Я сделал свой выбор, и пусть лучше я буду хорошим 'плохим поэтом' ('a great bad poet'), чем плохим 'хорошим поэтом' ('a bad good poet')". В отличие от Уайльда, считавшего словари рифм очень полезным подспорьем для поэтической лиры, Нэш "не утруждал" себя поиском рифмы, он их выдумывал, изобретал там, где это позволял его творческий метод, создавая тем самым свой собственный словарь рифм — необычных и экстравагантных.

Стиховую строку Нэш "произвольно удлинил, превратил ее практически в 'безразмерную': от начальной прописной буквы до рифмы она может растянуться на три-четыре строки печатного текста"[1]. Но иногда стихи Нэша оказывались такими короткими, что на марке, выпущенной почтовым

1. Из предисловия И. Комаровой к сборнику стихотворений Огдена Нэша "Все, кроме нас с тобой". (Лениздат, 1988.)

ведомством США к столетию со дня рождения Огдена Нэша, поместилось шесть (!) его стихотворений.

"Если уж строки Нэша не превосходят фолкнеровы
или джеймсджойсовы пассажи,
Они оказываются столь коротки, что короче уже не скаже..." —
писал Ричард Корлисс в упоминаемой уже статье из журнала "Тайм".

И все же метод Нэша не сработал бы, не обладай он удивительным слухом на "несовместимость понятий и на неуместность выражений", не обладай он уникальным даром сближения вещей возвышенных и приземленных, не ощущай он, как никто другой, с невероятной остротой и чуткостью, что "быт" и "бытие" — слова того же корня. Ни одному другому поэту, пожалуй, не удалось столь ярко и выразительно подчеркнуть, что и слова "гуманность" и "юмор" имеют общее происхождение. В английском эта общность выглядит еще более наглядно: "human" и "humor". А если учесть, что слово "юмор" восходит своими корнями к слову "гумор", которое в этимологических словарях толкуется как "жизненные соки" организма, определяющие темперамент человека, то стихи Нэша совершенно оправданно можно назвать "сочными". И живительными!

Репертуар Нэша обширен, если не сказать — всеобъемлющ. Нэш пишет обо всем! Стоит только взглянуть на оглавление почти всех посмертных изданий Нэша, составленных, как правило, по тематическому принципу: "Дела семейные", "Он и она", "Любовь и брак", "Путешествуем с Нэшем", "Спортивная жизнь", "Интересные люди", "Такова американская жизнь", "Человек за работой", бестиарий, названный в одном из сборников "Нэшиональным зверинцем"... еда, выпивка, болезни и здоровье, возраст человека, его старение и, конечно, — писательство, а также темы для размышлений, краткие, как правило, двухстрочные, но неизменно емкие размышления самого Нэша.

Нэш написал множество книг для детей и взрослых, хотя сказать с определенностью, какие из них для детей, а какие для взрослых, весьма затруднительно. Его короткие строки — которые, кажется, *еще* не поэзия, равно как почти безразмерные, которые, кажется, *уже* не поэзия — с яркой парадоксальной рифмой позволяют вычленить "поэтические вкрапления" из прозы жизни. А искажения в рифмовке только подчеркивают, что всего пара букв, звуков отделяют прозу от поэзии, они как бы говорят: чуть-чуть подправь орфографию — и проза станет поэзией.

И, конечно, главным талантом Нэша была его способность смешить. Нэш смешил миссис Нэш, смешил своих дочерей, на протяжении всей своей жизни смешил читателей. Но, обладая несомненным чувством юмора, Нэш довольно скромно оценил вклад людей, "у которых есть чувство юмора", в поэзию:

Люди, у которых есть чувство юмора, проводят время в общем неплохо, Но они не совершат ничего выдающегося и ничем не обессмертят свою эпоху...[1]

1. Перевод И. Комаровой.

Один из американских журналов назвал Нэша "божьим даром Америке". И не только Америке, добавим мы.

Вот Пэлем Вустер, вновь жив и шустр он[1]

В книжный бегите и в библиотеку,
Гоните монету, платите по чеку.
Что книг вам хватает, не думайте даже,
Вудхаус и Вустер снова в продаже.

Готовьтесь вкушать, ибо это не проза, а
Пища богов — нектар и амброзия.
Смакуйте, скандируйте перлы, покуда
Не станет ясна вся изысканность блюда.
И лишь насладившись, молю вас, ответьте,
Кем все-таки перлы написаны эти?

Кто первый из них? Кто яйцо, а кто курица?
Вустер? Вудхаус? Тут впору нахмуриться:
Сокола с цаплей[2] не спутаю — драма
В том, что я путаю с Пламом[3] Бертрама.

1. Стихотворение было написано Огденом Нэшем к выходу первой после войны книги Пэлема Грэнвила Вудхауса "Радость поутру" и опубликовано в "Геральд трибюн" 22 мая 1946 г. В 1941 г. П. Г. Вудхаус, находясь на территории оккупированной Франции, сотрудничал с немецкой радиовещательной компанией, ведущей пропагандистские передачи на еще не вступившую в войну Америку. Уильям Коннор (1909–1967), левый журналист "Дейли миррор", выступавший под именем Кассандра, резко осудил Вудхауса за "пронацистские" передачи, обвинив его в предательстве своей страны. А. А. Милн и, безусловно, Уинстон Черчилль разделили эту точку зрения, в то время как Ивлин Во и Джордж Оруэлл встали на защиту Вудхауса. После войны состоялось примирение Коннора и П. Г. Вудхауса, ознаменовавшееся совместным завтраком. Вудхаус был прощен публикой и критикой и возведен в рыцарское достоинство королевой Великобритании. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Цитата из "Гамлета: "Я помешан только в норд-норд-вест. При южном ветре я еще отличу сокола от цапли". Акт II, сцена II. Перевод Б. Пастернака.
3. Прозвище П. Г. Вудхауса.

Как разобраться? В сознании хаос.
Автор ли Вустера Берти Вудхаус?
Или Вудхаус написан П. Вустером?
Не разделить их, как "Саймона с Шустером"[1].

Что было и с кем из двоих в сорок первом,
Нет смысла уже разбираться теперь вам.
Faux pas не случился бы, Дживс воспротивься,
Но не оказалось поблизости Дживса.
Сомнений теперь не осталось ни кампли,
Раз Дживс — слава Богу — вернулся в Стипл-Бампли.

Нищий

(Подражание Уильяму Блейку)[2]

Нищий, нищий, в хлад и мрак
Тусклый свой вперивший зрак!
Кто сумел тебя создать?
Хладом кто посмел объять?

Как случилось, что исчез
В бездне лжи огонь очес?
Кто приял такой позор,
Погасив твой ясный взор?

Кто в биенье слабых жил
Жизни ток остановил?
Боль в глазах твоих, испуг
Делом чьих явились рук?

Кто ужасный млат вздымал?
Кто в клещах твой мозг терзал?
А, исполнив бизнес-план,
В нем узрел ли Он изъян?

Или был творенью рад,
Встретив твой застывший взгляд?
Неужели это был
Тот, кто Форда сотворил?

1. Издательская фирма.
2. В тексте использована лексика одной из русских версий стихотворения "Тигр". Перевод С. Степанова.

Встану я, и пойду...[1]

Живет в далеком
Тибете лама,
У бедолаги
Нет с папой мамы,

Нет даже дочки,
Жены и сына.
Не принимает
Пенициллина,

Живет без опер,
Живет без мыла,
Не отличает
“Персил” от “Прила”.

Не слышал зонгов,
Не видел театра,
Не знает толком,
Кто Фрэнк Синатра.

Лишен зубов он,
Лишен дирола
И супа “Кэмпбелл”,
И кока-колы.

Сбривает смело
Волос излишки —
Зачем беречь их,
Раз нету стрижки.

Любые чужды
Ему изыски.
Знай, молоко пьет
Он вместо виски.

Ему не нужен
Лосьон для кожи,
Автомашина,
Страховка — тоже.

1. Начальная строка стихотворения Уильяма Батлера Йейтса: “Встану я, и пойду, и направлюсь на Иннисфри...” Перевод А. Сергеева.

Он не подписчик,
Не телезритель —
Эгоцентричный
Непотребитель.

Бедняк названий
Вещей не знает
Всех тех, что лама
Не потребляет.

Когда измучат
Меня рекламой,
Уйду в Тибет я
Жить рядом с ламой.

Вот что должно быть вышито на каждом слюнявчике

Безусловно, король Артур
Никогда не глотал микстур;
Принц Гамлет и сам Шекспир
Знать не знали про рыбий жир;
Данте Габриел Россетти
Не имел понятия о диете;
Граф Леннокс сумел ухитриться,
Не прибегая к помощи витаминов и гимнастики,
расправиться с Риццо.
А вот Платон с Сократом
Заедали десерт салатом;
И почти ничего не ели
Всякие Леонардо и Рафаэли.
Соглашусь, вопрос небесспорен,
А ты пока ешь кашку из питательных зерен.
Так что, если хочешь сам решать, чем питаться,
Приобрети-ка сперва репутацца.

Полтергость, мой полтергость

Я проводил мисс Хоппер на поезд,
В последний раз, решил я... то есть
Если б решил я наоборот,
То проводил бы не на, а под.

Никогда ни один хозяин дома
Такой гостье не оказывал приема,
Чтоб вздохнуть с облегченьем, едва жилица
Соизволила все-таки удалиться.

В нашем доме мисс Хоппер Геката
Почитала себя персоной грата,
По себе оставив налет высокомерия,
Незабвенная Геката Хопперия.
Ее монополией стала утренняя пресса,
Она читала первой, Геката Хоппереса,
Изредка зачитывая владельцу газет
Что-нибудь из колонки "Вопрос-ответ".

Не желаете синоним к слову "терроризировать"?
Как насчет "гекатохопперризировать"?
Она подавать заставляла нас
Завтрак в постель ей без четверти час.

Не только Геката — она настояла на этом, —
Но и все семейство предавалось диетам,
И всю неделю, подобно поросятам,
Мы брюквой кормились и кресс-салатом.

Она засорила трубы, сломала стулья
И кресло-качалку нашей бабульи,
И зачем-то на аптечке выместила злость
Геката Хоппер, наш полтергость.

Геката Хоппер, пополтергостив,
Нам отправить пожитки свои поручив,
С присущей ей обходительностью скрылась,
Но на этом моя история не завершилась.

Если б столкнул я мисс Хоппер под поезд,
Толкать во второй раз пришлось бы... то есть
Я как-то раз столкнул ее с лодки в заводь,
Так она, оказалось, умеет плавать.

Романтический возраст

Дочь подросла, и непременно
Вас ждут чувствительные сцены.

Ей мнится свадебный венец,
И долговязый есть юнец,
Она вам скажет, что она
Для свадьбы вовсе не юна.
Мол, вспомнить следует тебе о
Джульетте и Ромео.
Не спорь, а вскользь упомяни,
Как плохо кончили они.

Гиппопотам

Смотрите-ка! Гиппопотам!
Он кажется забавным нам!
А мы на взгляд гиппопотамий
Не выглядим смешными сами?
О, мир тебе, гиппопотам!
Наш внешний вид приятен нам,
И твой — когда мы взглянем сами
Гиппопотамьими глазами.

Свинья

Свинья — нижайший ей поклон —
Дает сосиски и бекон.
Вот, скажут, щедрая натура,
А я считаю, просто дура.

Лама по-английски

С одним “l” lama –
Служитель Будды.
С двумя “l” llama –
Подвид верблюда.
Готов проспорить
Свою пижаму,
Что не найти вам,
С тремя “l” lllam’y.

Артур

Как-то раз старичок из Бомбея
Маслом смазал тра-кха-кха-кха-хею,
Так, что вмиг его храп
От леченья ослаб
И звучит теперь еле-елея.

Раз остряк безрассудный из Юмы
Подшутил неуклюже над пумой.
И скелет его ныне
Сушит солнце в пустыне.
Нет у пумы совсем чувства юмо.

Раз жена крестоносца Кристина
На ночь глядя ушла к сарацину.
Нет, не от вожделенья,
А лишь ради сравненья —
Любопытно, что он за мужчина.

Милимерик

Некто из Лимасола
Был вопросами пола
Так смущен, что не знал,
Кто он — Пол или Пола.

Новые книги Старого Света

с Анной Асланян

Оттенки черного

Teju Cole *Open City*. – Faber and Faber, 2011

Теджу Коул, дебютный роман которого тепло встретили по обе стороны Атлантики, родился и вырос в Нигерии, юношей переехал в Нью-Йорк. Действие книги "Открытый город" происходит там, в городе, по которому бродит, порой без всякой видимой цели, герой – молодой африканец, врач-психиатр, интеллектуал. В ходе этих прогулок он ведет своего рода дневник: размышляет о музыке, философии, истории, вспоминает собственное детство, места, откуда он родом. Нигерия – не единственная африканская страна, о которой идет речь; "черный" континент предстает перед читателем многоцветным (о чем большинству и так, будем надеяться, известно) во всех смыслах.

То же можно сказать о городе, где по большей части происходит действие; чего о нем нельзя сказать, так это то, что расовый вопрос там решен окончательно и повсеместно. Политкорректность – да, победила; равные возможности тоже обеспечены в той или иной мере; равенство же как таковое – о нем разговор особый. В Нью-Йорке, разумеется, царит мультикультурализм, но, если присмотреться, становится ясно, что сторон у этого явления не меньше, чем культур. Герой честно признается, что ему не доводилось испытывать на себе настоящий, открытый расизм, хотя о существовании его он, конечно, знает. Но что ему делать в каждодневных ситуациях, например, когда, придя слушать Малера в Карнеги-холл, он понимает, что люди (почти все среднего возраста, белого цвета кожи), привычно улыбающиеся ему на улицах, тут посматривают в его сторону с недоумением? "Иногда, стоя в очереди в туалет во время антракта, я ловлю на себе взгляды, от которых чувствую себя, как Ота Бенга, человек из племени Мбуту, которого в 1906-м году выставили напоказ в обезьяннике зоопарка Бронкса". Как бы ни раздражали его постоянные напоминания о статусе чужака, герой готов прислушаться – не споря и не соглашаясь – к словам даже случайных встречных; одна из них говорит ему: "Зачем приезжать куда-то, лишь для того

чтобы доказать, как ты отличаешься от других?"

Проза Коула своей отточенностью и ясностью порой напоминает прозу Дж. М. Кутзее — отчасти потому, что сам герой то и дело вспоминает его книги. Так, размышляя о людях, которые толпятся в огороженном переходе, "как животные", он добавляет: "Но почему с животными разрешается поступать подобным образом? Неотступные вопросы Элизабет Костелло возникали в самых неожиданных местах"[1].

Роман затрагивает многочисленные темы, от психоанализа до марксистской философии. На вопрос о том, которая из них главная, однозначно ответить сложно. Поиски себя? Своей истории? Истории города, в котором все, включая тебя, иммигранты? Да, все это присутствует; список можно продолжать. Выводов из обдуманного ни герой, ни автор, к счастью, не делают, как не гонят читателя по ступенькам так называемого сюжета — дневники пишутся не для этого. Пожалуй, наиболее выпукло итог своих размышлений герой подводит, вспоминая похороны отца: "Быть живым, думал я, стоя там, охваченный всевозможными печалями, — значит одновременно быть оригиналом и отражением".

Прошлое не отпускает героя; но ведь то же можно сказать едва ли не о любом из нас. Забыть про цвет кожи не удается, да и не надо, — все равно наиболее тонкие мысли романа прозрачны. При чтении создается впечатление, будто разговариваешь с умным, внятно выражающимся, ненавязчивым собеседником, разговор с которым хочется продолжать. Хочется в этот открытый город: поваляться на траве в Центральном парке, послушать музыку, посмотреть на рассвет над мостом Джорджа Вашингтона; вобрать в себя разнообразные оттенки черного — и других цветов.

1. "Элизабет Костелло" (2003) — роман Дж. М. Кутзее.

John Berger *Bento's Sketchbook*. — Verso, 2011

Новая книга знаменитого британского писателя, арт-критика, художника, драматурга и сценариста Джона Берджера — яркое событие в мире искусства. Ее заглавие, "Блокнот Бенто", отсылает к философу XVII века Бенедикту (Бенто) де Спинозе, бывшему, помимо прочего, рисовальщиком-любителем. На протяжении многих лет Берджер размышлял о содержимом утерянной записной книжки Спинозы и, наконец, получив в подарок от друга блокнот в замшевом переплете, решил: "Это он, тот самый". Вооружившись карандашом, автор воплотил на бумаге собственное представление о том, что могло бы оказаться среди записей и зарисовок философа, не идущего у него из головы; результатом стало прекрасное издание, в котором тексты и рисунки автора перемежаются с цитатами из "Этики" Спинозы. "Я начал делать рисунки, подгоняемый

чем-то, что просило, чтобы его нарисовали", — признается Берджер.

Листая "Блокнот", не устаешь восхищаться воображением автора, художественным, прозаическим, да, пожалуй, и поэтическим — стихов тут, строго говоря, нет, но все-таки книгу можно смело отнести к жанру истинной поэзии, настолько вдохновенно рассуждает автор на все занимающие его темы. Наброски, собранные здесь, разнообразны: от короткой, в пару строчек, записи об ирисах, которые художник обнаруживает в своем саду каждую весну и начинает рисовать, "будто подчиняясь некому приказу", до полнометражного эссе о двух основных формах повествования — интровертной, или той, что связана с "вещами невидимыми, скрытыми", и экстравертной. На сочинение последнего Берджера вдохновили наблюдения за тем, как люди танцуют, — его острый взгляд рисовальщика сумел ухватить параллели между движением в танце и рассказыванием историй.

Одна из зарисовок, сделанных в блокноте, успела попасть в газеты. Придя недавно в лондонскую Национальную галерею, Бедржер остановился перед "Распятием" Антонелло, чтобы сделать набросок. Для этого ему пришлось поставить на пол сумку, что, как выяснилось, категорически запрещено. Страж порядка кинулся делать художнику предупреждение, тот, не переставая рисовать, парировал и, не удержавшись в конце концов, бросил в ответ слово из четырех букв (из тех, что коегде принято заменять звездочками). Берджера выпроводили из галереи со словами: "Просим вас немедленно проследовать к выходу — вам, очевидно, известно, где он".

Среди других музеев, упомянутых в книге, — Прадо и Коллекция Уоллеса. В первом Берджер смотрит на шутов Веласкеса, во втором рассматривает полотно Виллема Дроста, потрясенный взглядом изображенной на нем женщины — обращенный на живописца, он выражает страстное желание, которое, как заключает Берджер, "делает его объект по-настоящему бесстрашным". Чувственные переживания присутствуют едва ли не во всех работах Берджера; "Блокнот Бенто" доказывает, что эротическое восприятие у восьмидесятипятилетнего автора с годами отнюдь не притупилось.

Если в каноническом сборнике эссе "Способы видеть", вышедшем в 1972 году, Берджер писал о трактовке современным человеком символики образов и слов, то новая книга — размышления о процессе рисования, о том, "куда и к чему он может привести". Данная тема для автора всеобъемлюща, поэтому, когда он пишет о консюмеризме или о поисках в местной библиотеке экземпляра "Братьев Карамазовых", это — тоже о рисовании. Разумеется, Берджер не был бы Берджером — обладателем Букеровской премии 1972 года, отдавшим половину денежного приза ультралевой организации "Черные пантеры", если бы не говорил о дра-

мах современного общества даже там, где им, казалось бы, нет места. Место, для того чтобы вспомнить "новых глобальных тиранов", которые "безлики, все до единого", автор находит и здесь, не жертвуя при этом целостностью текста — на то перед нами и блокнот.

Один из поклонников Берджера сказал, что настоящим итогом его творчества является не текст, не рисунок, но читатель или зритель, его для себя открывающий. Трансформация личности начинается с самого автора — речь о том, как он и его герой Бенто делаются "все более и более неотличимы", заходит в самом начале заметок. Ближе к концу Берджер рассказывает о работе над портретом любимого им Андрея Платонова: "Пока я рисовал, у меня росло ощущение, что я делаю автопортрет. Не свой — его. <...> Приставку 'авто' пора перевести в новый разряд, сделать другой частью речи, чтобы она обрела движущую силу предлога 'по направлению к'".

Когда о человеке говорят как о "величайшей интеллектуальной фигуре нашего времени", зачастую это не вызывает ничего, кроме вполне понятного скептицизма. Если при этом его имя сопровождается длинным реестром определений (вроде того, что открывает этот текст), подобная реакция лишь усугубляется. Увы, по-другому должного гению Берджера не отдать. На вопрос о том, кем он считает себя сам, Берждер отвечает просто: "Я — рассказчик". Его повествование, какую бы форму оно ни обретало, всегда захватывает и побуждает думать — о рисовании, а значит, по Берджеру, обо всем, что тебя окружает.

Новые книги Нового Света с Мариной Ефимовой

совместно с радио "Свобода"

CLAIRE TOMALIN *Charles Dickens. A Life.* — The Penguin Press, 2011; ROBERT DOUGLAS-FAIRHURST *Becoming Dickens. The Invention of a Novelist.* — The Belknap Press /Harvard University Press, 2011 и другие биографические книги о Диккенсе.

В 1862 году пятидесятилетний Чарльз Диккенс встретился в Лондоне со своим поклонником — Фёдором Достоевским. Их беседу Достоевский описал в письме много лет спустя, уже после смерти Диккенса:

Он сказал мне, что все хорошие, простые люди в его романах — это те люди, какими он сам хотел бы стать, а злодеи — это те, кем он является на самом деле. Во всяком случае он замечает в себе их свойства: жестокость, отчуждение от тех, кого он должен был бы любить, приступы беспричинной враждебности по отношению к тем, кто слаб и обратился к нему за утешением. "Во мне живут два человека, — сказал он. — Один испытывает те чувства, которые положено испытывать, а другой — прямо противоположные. С последнего я пишу своих злодеев, а по примеру первого пытаюсь жить".

Диккенсу эти попытки не очень удавались — он был слишком сложной личностью, чтобы уложиться в образ кузнеца Джо из "Больших ожиданий", клерка Боба Крэтчита из "Рождественской истории" или даже мистера Джарндиса из "Холодного дома". Диккенс не был образцом добродетели, но, судя по портрету, созданному Клэр Томалин в книге "Жизнь Чарльза Диккенса", даже самому себе в этом не признавался. Томалин пишет:

Только в разговоре с таким человеком, как Достоевский, Диккенс мог сбросить маску безгрешности, которую постоянно носил на публике. Это было самое глубокое признание, сделанное Диккенсом о его внутренней жизни.

За последние двадцать лет написано, по меньшей мере, пять новых биографий Диккенса, и лишь в двух последних (Слэйтера[1] и Томалин) появилось это письмо Достоевского, опубликованное впервые в 2002 году. Однако в каждой биографии было что-нибудь новое.[2] Биографы Слэйтер и Акройд оба описали чудную сценку из истории ухаживания молодого Диккенса за его будущей женой Кэтрин Хоггарт. Диккенс, одетый в матросскую форму, влез в комнату невесты через окно и сплясал перед ней матросский танец "хорнпайп" — нечто вроде русского "яблочка". Потом выпрыгнул обратно в окно, а через некоторое время, переодевшись, чинно зашел в дом,

1. Michael Slater. Charles Dickens. A Life Defined by Writing. — Yale Univ. Press, 2009.
2. Peter Ackroyd. Dickens. — London: Sinclair-Stevenson, 1991.

где вел себя, как образцовый жених.

Биограф Дуглас-Фэрхёрст включил в свою книгу "Становление Диккенса" историю первой юношеской любви писателя к Марии Биднелл.

Любовно представленная в образе нежной и беспомощной Доры в "Дэвиде Копперфильде", Мария Биднелл появляется позже в романе "Крошка Доррит" в безжалостно карикатурном образе Флоры Финчинг, которая пытается вернуть отвергнутого в юности ухажера. В 1912 году бывшая горничная Марии Биднелл опубликовала воспоминания, в которых писала, что к концу жизни Мария сильно пила и в пьяном виде со слезами целовала то место на диване в гостиной, где когда-то сидел Диккенс.

Дуглас-Фэрхёрст, вглядываясь в "странную, по его выражению, технику соблазнения", практикуемую молодым Диккенсом, не без юмора разбирает его юношеское стихотворение, посвященное Марии Биднелл, где поэт описывает чувства, которые бы он испытал, если бы его девушка умерла.

В жизни Диккенса было много тайн, которые раскрывались постепенно, и каждая была подарком для очередного биографа. Из этих тайн, кажется, только одну он сам открыл своему другу и первому биографу Джону Форстеру — печальную историю о том, как его отец, портовый служащий, попал в лондонскую долговую тюрьму Маршальси и как туда бегал маленький Чарльз, отработав смену на фабрике, где он приклеивал этикетки на банки с сапожной ваксой.

Но самым большим секретом Диккенса (который открылся только через шестьдесят лет после его смерти, в 30-х годах) были его отношения с актрисой Эллен Тернан. Ему было сорок шесть, а ей девятнадцать, когда он практически выкупил девушку у ее театральной семьи и на шесть лет сделал своей содержанкой и даже, как писал кто-то из биографов, "рабой любви", затворницей, лишенной нормальной юности. Он ушел от жены, купил себе дом в Лондоне, о котором мечтал когда-то в детстве, снял квартиру для Эллен и тайно ее посещал. Тайна соблюдалась так тщательно, что, когда она выплыла наружу, скудость информации возбудила споры биографов о том, была ли эта связь сексуальной или платонической. Один из лучших специалистов по Диккенсу, английский писатель Питер Акройд, пишет в книге "Диккенс"[1]:

Почти невозможно представить себе этих двоих в постели. Скорей всего, это была реализация одной из самых постоянных литературных фантазий Диккенса — платонический брак с юной девственницей, идеализированной им в его романах.

Большинство специалистов не согласно с Акройдом, включая Эдгара Джонсона — автора первой современной биографии писателя[2]. А Клэр Томалин пишет:

Диккенс был существом сексуальным. За время брака он стал отцом десятерых детей, а после ухода от жены ему вскоре пришлось

1. Peter Ackroyd. Dickens. — London: Sinclair-Stevenson, 1991.
2. Edgar Johnson. Charles Dickens. The Tragedy and Triumph // Simon and Shuster, 1952, Vol. I; Viking, NY, 1977, Vol. II.

пройти курс лечения у венеролога. При этом публике он представлял себя таким образцовым семьянином, что и сам в это почти верил: после его нашумевшего ухода из семьи он задумал новый журнал и решил назвать его "Домашняя гармония". Друзья с трудом уговорили его изменить название.

Об образе жизни Диккенса говорит и его близкая дружба с самыми известными в его время охотниками за любовными приключениями: актерами Стоуном и Маклизом, романистом Уилки Коллинзом и французским дэнди графом Де Орсеем. Но в последние десять лет жизни Диккенс, судя по всему, был лишен многих плотских удовольствий. Уже в 50 лет его начала мучить подагра – настолько, что ему помогали подниматься на сцену, когда он выступал. Диккенс участвовал в постановках пьес по своим романам и читал со сцены отрывки из новых вещей. Эти чтения пользовались огромным успехом у публики, были главной статьей его дохода, но совершенно истощали его слабеющие силы:

Между январем 1869 года и мартом 1870-го Диккенс двадцать восемь раз сыграл зверскую сцену из "Оливера Твиста", в которой Билл Сайкс убивает Нэнси. И когда его импрессарио после окончания сезона попросил устроить еще одно чтение, с Диккенсом случилась истерика.

О поведении Диккенса в последние годы жизни, скрупулезно описанном Клэр Томалин, тяжело читать даже снисходительному современному читателю. Оправдывая свой уход от жены, он дошел до обвинения ее в сумасшествии, а в письмах жаловался, что она "рада бы избавиться от детей, как и дети – от нее". Дочь Диккенса Кэти вспоминала об этом времени с возмущением:

После ухода из дома в отца словно бес вселился. Ему стало абсолютно наплевать на то, что с нами со всеми будет.

Английский писатель и актер Саймон Кэллоу писал[1]: "Контраст между двумя нашими великими писателями – Шекспиром и Диккенсом – в том, что о первом известно слишком мало, а о втором – слишком много". И сам Диккенс, говоря о Шекспире, признался в одном из писем: "Очень утешительно, по моему разумению, что так мало известно о поэте. Он и должен быть загадкой. А я каждый день дрожу от страха – как бы что-нибудь не выплыло наружу".

Диккенс умер в 1870 году от инсульта – очень рано даже по меркам своего времени, – ему было всего 58 лет. И остались только его персонажи, но зато вечные: Оливер Твист и Фэйган, Дэвид Копперфильд и Урия Гипп, Артфул Доджер и Билл Сайкс, и Скрудж, и мистер Домби, и Пип. И в каждом из них хранится частичка необъятной личности Чарльза Диккенса.

1. Simon Callow. Charles Dickens by Michael Slater // The Guardian, 9 Oct. 2009.

Среди книг

с Татьяной Венедиктовой

Страшны ли нам кошмары?

Дина Хапаева *Кошмар: литература и жизнь*. — М.: Текст, 2010. — 365 с.

Аналитическая работа на границе психологии, социологии и литературоведения и требовательна, и увлекательна — в данном случае так явно увлекательна для автора, что и читателя не может не увлечь. Литература, считает Дина Хапаева, хранит тайны кошмара — разумеется, не вся литература вообще, а особый поток в ней, формирующийся и набирающий силу по пути из XVIII столетия в XX: от Чарльза Мэтьюрина к Томасу Манну, от Николая Васильевича Гоголя к Виктору Пелевину и от Федора Михайловича Достоевского к Говарду Филлипсу Лавкрафту.

Кошмар трактуется в книге как психологическое переживание, литературный процесс и "культурный проект", друг с другом тесно взаимосвязанные. Последний зачинался в лоне поисков особой техники письма (адекватной бессознательным, "сновидческим" процессам), с которой экспериментировали ранние "кошмароведы"-писатели. Именно литература, по мнению Д. Хапаевой, окажется со временем "отправной точкой для создания культуры потребления кошмара", в XX веке кошмар прорвется в повседневность, даже колонизирует ее и станет — для нас, в наши дни — "круглосуточным", популярным, остро желанным зрелищем.

Понять силу пугающего и влекущего обаяния кошмара очень помогают литературные разборы, предлагаемые Диной Хапаевой. Все они (особенно — Гоголя и Достоевского) бережны, легки, изящны и, на зависть литературоведу-профессионалу, свободны от наукообразия. Точечные, частные и потому всегда неожиданные *инсайты* рассыпаны так щедро, а переклички между далекими как будто бы авторами возникают так естественно, что закрываешь книгу с ясным ощущением сформированности целостного смысла, даже в отсутствие обширных обобщающих итоговых выводов. Заявка на разработку особой поэтики кошмара — так называемой *гипнотики* — вполне оправдана.

Речь идет, по существу, о том, что Михаил Бахтин применительно к прозе Достоевского назвал "своеобразной лирикой, аналогичной лирическому выражению зубной боли". Выражение боли — это и необходимость, и проблема для любого живого существа. Боль как сон, как эмоция ра-

зом — и несказанна, и "приговорена" к слову (жалобы, плача, заговора или заклинания). В боли и любом вообще аффекте трудноразличимы физическое и "метафизическое", чувственное и воображаемое, что сродни, конечно же, и лирическому импульсу. Другое дело, что лирика лирике рознь. Можно вспомнить, например, "Оду к зубной боли" Р. Бёрнса (известную у нас в переводе С. Маршака) — шутливое торжество риторики над аффектом, столь характерное для самоуверенно-рационалистического XVIII века. Вскоре на сцену выйдут романтики и поставят задачей ровно противоположное — уход от риторики, экспериментальное погружение в неподконтрольную рассудку эмоцию, — а это уже имеет прямое отношение к содержанию рецензируемой книги. Описать кошмар — значит погрузиться в морок, промежуточный между явью и сном, телесным и воображаемым, притом не только погрузиться самому, но и погрузить читателя. "Я хотел написать роман, — признается Виктор Пелевин, — в котором героем является присутствие читателя, его внимание, вовлеченное в текст".

Вообще-то, внимание, вовлеченное в текст, то есть специфически ангажированный читательский интерес, — это невидимый герой любого романа, не только пелевинского. В той мере, в какой мы его замечаем и помещаем в фокус собственного внимания (что именно и делает Дина Хапаева), литература открывается антропологическому прочтению: сквозь канву сюжета, сквозь техники повествования, стилистические, риторические приемы мы начинаем видеть ткань психических и социальных действий и противодействий. В частности, мы начинаем понимать, что действо литературного кошмара производится именно и не иначе как при посредстве нас, читателей, и таким образом самой своей кажущейся стихийностью побуждает нас к рефлексии. Что же мы чувствуем, пребывая в состоянии невыносимой и неотвязной грезы, "наведенной" искусством? Чего стоит погружение в кошмар и что дает? Почему мы нуждаемся в нем? (И неужели нуждаемся?)

Конечно же, не случайно в качестве точки отсчета в своих рассуждениях Дина Хапаева избирает вторую половину XVIII столетия, пору становления европейской литературной готики и так называемой читательской революции, когда одновременно происходили резкий количественный рост читающей публики, распространение новой манеры чтения и раскрепощение чувствительности. Что такое популярные романы, которых в эту пору так жадно ищет относительно новая когорта "буржуазных читателей"? "Чьи-то бредовые фантазмы, — презрительно характеризует их читатель-интеллектуал поэт Сэмюэл Тейлор Кольридж, — поселяются в пустоте сотен мозгов, погружая их в сходный транс". Впрочем, высокомерие в отношении популярной готики не мешает романтикам (самому же Кольриджу!)

использовать сходные приемы, выстраивая изысканные матрешкообразные конструкции. "Сон во сне" (выражение Э. А. По, поклонника, кстати, Кольриджа) — это когда внутри литературной "реальности" — которая сама по себе что как не греза наяву? — разверзается пространство грезы еще более прекрасной или ужасной. Читатель, следуя шаг в шаг с переживаниями лирического героя, вовлекается в воронку сладкого и/или пугающего "кошмаро-подобного" головокружения, притом, *рад* вовлекаться, делает это с простодушным самозабвением, предается чтению не только душою, но даже и телом. Рыдание над книгой, дрожь, зубовный скрежет, заламывание рук — все это в романтическую эпоху входит в состав "модной" манеры чтения. У опытных читателей, таких как Кольридж, эта новая мода, которой и подвержены оказывались прежде всего читатели-неофиты, вызывала презрение и печаль. Строгий Иммануил Кант даже охарактеризовал чтение романов, как "вид умственного расстройства", и ничего хорошего от жанра-выскочки в целом не ожидал. Интригу литературы с оголенной, бессознательной эмоцией он (и не только он) считал опасной, чреватой обеднением и вырождением культуры.

Все, однако, оказалось не так плохо. Культура не погибла, роман стал со временем жанром вполне уважаемым, а литература из испытаний языка невыразимым, в том числе на путях *гипнотики*, многое для себя извлекла. Сегодня, заключает Дина Хапаева, масштаб этих опытов умножился и расширился. Уже вполне освоившись в "пучинах кошмара", аудитория стала сама *требовать* его — побольше, во всех видах, не только печатном, но и видео, и аудио! Без кошмара всем нынче пресно и скучно, он заполонил экраны, от него уже некуда отвернуться. "Кошмар, просочившийся в жизнь из-под пера выдающихся писателей, превратился в культурную норму, в допинг, в массовую потребность, без которой немыслим сегодня никакой популярный продукт или проект". Словом, аналогия между культурным кризисом, переживавшимся в Европе во второй половине XVIII века, и нынешней медийной ситуацией напрашивается сама — но вот как ее интерпретировать? Условно, "по Канту", исходя из классического рационализма как универсальной заведомой нормы, или "не по Канту", допуская возможность пересмотра самой этой нормы? Такая вырисовывается постановка вопроса, ответы на него возможны разные. К какому из двух вариантов склоняется автор книги?

Некоторое противоречие мне видится в том, что, посвятив основную часть своего исследования разнообразным и тонким наблюдениям над игрой человеческого воображения с запредельно страшным, Дина Хапаева чем ближе к финалу, тем более настаивает на довольно простом, "двуслойном" и иерархическом представлении об устройстве человеческой психики: сверху —

достойное и прекрасное ("тонкие причинно-следственные нити морали, идеи общественного блага, пользы, меритократии, творчества"), внизу — темно-телесное, "неупорядоченный хаос, не имеющий морального, этического или эстетического смысла". Нырять в этот хаос увлекательно, но крайне опасно, причем ощущение опасности только усиливает остроту наслаждения. И наоборот: гедонистическое наслаждение, которому мы склонны предаваться, бездумно, повышает уровень опасности. Отсюда вывод: невозможность рационализировать эмоцию чревата исчезновением смысла как такового, — современная готика поэтому есть не что иное, как отрицание человека и ценностей цивилизации; кошмар — "убийца... самосознания, мысли и идей", а массовое тиражирование его художественных моделей однозначно разрушительно для культуры.

Спорить с этим приговором нет смысла, и все же сама его безальтернативность внушает некоторые сомнения. Разве не подсказывает нам исторический опыт, что экспрессивные энергии искусства направлены не только на подтверждение ценностей, уже опознаваемых, санкционированных разумом и моралью, но также и на их развитие, обновление в меняющемся контексте культуры. Хотя бы поэтому интриги современного искусства с бессознательным — в том числе упорные "игры в кошмар", — заслуживают, я думаю, непрямого, небуквального (не "в лоб") истолкования. Да, в них нетрудно увидеть проявление "кризиса научной рациональности" и, соответственно, симптом упадка культуры, но ведь и кризис научной рациональности едва ли стоит отождествлять со смертью рациональности как таковой, и симптомы упадка, столь энергично и ярко себя проявляющие, можно прочесть надвое — в частности, как сигналы о присутствии в культуре подспудно-созидательных ресурсов и энергий.

"В искусство надо верить", — говорил у Бальзака один безнадежно безумный, но все же достойный доверия персонаж. Конечно, он имел в виду скорее "высокое" искусство, чем то, которое сегодня называют "массовым", но граница между ними — в этом убеждает нас книга Дины Хапаевой — принципиально "проходима", как и граница между сном и явью, литературой и жизнью, "слепотой" аффекта и зоркостью рефлексии.

Среди книг

с Верой Калмыковой

"О человек, борись и уповай": Литература в предчувствии трагедии (1862–1916)

Имре Мадач *Трагедия человека* / Издание подготовил Ю. Гусев. – М.: Наука, 2011. – 621 с.

XIX столетие (после наполеоновских войн) из глубин будущего видится едва ли не тишайшим и благополучнейшим, да таковым, пожалуй, оно себя и ощущало. Мало что, казалось бы, предвещало катастрофы следующего века; утописты предсказывали, что технический прогресс встанет на службу гуманизму; пророчества Карла Маркса или Артура Шопенгауэра многим казались мрачными преувеличениями мизантропов...

Если что и готовило тогдашних мечтателей к тому, что для их детей стало реальностью, так это литература. Так вслед за Данте, Милтоном и Гёте венгерский литератор Имре Мадач (1823–1864) избрал для своих трагических предвидений "большую форму". "Трагедия человека" И. Мадача – драматическая поэма. Автор обращается к Священной истории человечества. Господь, Люцифер, Адам, Ева, ангелы, архангелы, духи, люди – сонм персонажей проходит перед читателем, шаг за шагом минуя эпохи истории. Неизменными участниками остаются Адам, Ева и Люцифер; Мадач настаивает: человек неизменен, первородный грех отравил все последующее существование, искупить его невозможно до конца времен.

"...Драматическая поэма 'Трагедия человека', – отмечает в послесловии переводчик и составитель тома Юрий Гусев, – произведение уникальное не только в венгерской, но и в мировой литературе. Взять хотя бы ее формальный 'сюжет': сколько ни перебирай писателей, эпохи, художественные направления, всё равно не найти пьесы, поэмы, романа, где путь человечества был бы художественно осмыслен вот так, целиком, с самого 'начала' – в буквальном смысле слова 'от Адама и Евы' – и до самого 'конца', до 'последних' людей на покрытой льдом Земле, умирающей под остывшим Солнцем".

Фрагменты из "Трагедии человека" переводились в России и раньше (переводы включены в настоящее издание). У этого произведения богатая сценическая история. В книгу, в лучших традициях "Литпамятников", включены интереснейшие материалы, касающиеся создания и анализа текста.

Райнер Мария Рильке *Записки Мальте Лауридса Бригге*: Роман / Пер. с нем. Владимира Летучего. — М.: Русский импульс, 2011. — 192 с.

Райнер Мария Рильке в России — фигура культовая. "Тройственный союз" Рильке, Пастернака и Цветаевой сделал немецкого поэта более чем востребованным в нашей словесности. "Лирическая философия" его поэзии — лакомый кусок и вечный соблазн для переводчиков, которых ход мысли и ассоциации Рильке порою провоцируют на собственное творчество, увы, не *на полях* переводимого текста, но прямо на *чужом* (то есть авторском) *поле*. Что по-человечески объяснимо и понятно: "история души", повесть о сокровенном всегда притягательна, и, обладая хоть сколь-нибудь выраженной способностью к рефлексии, волей-неволей захочешь ее продолжить, а там и увлечешься... Но, коль скоро нас интересует прежде всего оригинал, все это, разумеется, приведет к досадным неточностям.

Перевод Владимира Летучего "Записок Мальте Лауридса Бригге" — не первая попытка воспроизвести по-русски текст этого, без преувеличения, гениального романа XX века. Переводчик отдал работе больше десяти лет, что само по себе впечатляет, учитывая небольшой объем книги. Главной целью В. Летучего было достижение *точности*; однако при этом не должна была, разумеется, пострадать *художественная сторона*. Волшебство Рильке, поэтичность Рильке, наивная умудренность и восторженный скептицизм Рильке — все это передается его интонацией, без которой мир писателя распадается.

Собственно, здесь стоит предоставить читателю право самому судить об особенностях новой работы. Вот начало романа в переводе Е. Суриц:

"Сюда, значит, приезжают, чтоб жить, я-то думал, здесь умирают. Я выходил. Я видел: больницы. Видел человека, который закачался, упал. Его обступили, я был избавлен от остального. Видел беременную. Она тяжко брела вдоль высокой теплой стены и все ощупывала ее, как проверяла, не делась ли куда-то стена".

Тот же самый фрагмент у В. Летучего:

"Итак, люди сюда устремляются, чтобы жить, я бы скорее предположил — чтобы здесь умереть. Я вышел на улицу. Видел: больницы, больницы. Видел человека: он вдруг зашатался и упал. Люди столпились вокруг него, не знаю, чем все закончилось. Видел беременную женщину. Она тяжело передвигалась вдоль высокой теплой стены и перебирала иногда по ней руками, как бы желая убедиться, что она, стена, еще стоит".

Дальнейшее — вопрос выбора и личных предпочтений. Рецензент умолкает.

Луиджи Пиранделло *Записки кинооператора Серафино Губбьо*: Роман / Перевод с ит. Владимира Лукьянчука. — М.: Текст, 2011. — 285 с.

Ещё одна великая книга столетия, роман нобелевского лауреата Луиджи Пиранделло, написанный в 1916 году, впервые опубликован на русском языке совсем недавно. Безусловно, его законное место на книжной полке — рядом с "Записками Мальте Лауридса Бригге". Читать "Записки..." Пиранделло по-русски почти сто лет спустя — все равно что приказать: "Время, назад!", пройти все столетие, дойти до эпохи Серафино Губбьо, а потом, закрыв книгу, вновь мысленно запустить события по порядку.

При такой ретро-перспективе мы обнаружим нечто удивительное. В банальной любовной драме вокруг традиционной для декаданса "женщины-вамп", в лобовых метафорах "женщина-тигрица", "человек-машина", "охота-убийство", "любовь-смерть" и других подобных (в романе их немало) скрыто предчувствие социальных и психологических катастроф XX столетия. Знать о них на втором году Первой мировой войны было невозможно; провидеть, если ты художник, — вполне.

Однако Луиджи Пиранделло, современник и соотечественник знаменитого Филиппо Томмазо Маринетти, главы итальянского футуризма, не останавливается на развитии образов декаданса. Он соединяет его стилистику с футуристической. Пиранделло разворачивает лозунг "Мы воспоем растущее торжество машины", провозглашенный Маринетти, в художественный образ. Машина поглощает человеческую жизнь, фиксируя для кино реальную смерть... А главный герой, кинооператор, — своеобразный глаз фильма, вооруженный машиной, — утрачивает способность говорить, навсегда оставаясь лишь *глазом*. Он не думает, не говорит, не любит, он лишь смотрит и крутит ручку.

"Пошлая и жестокая драма с двумя погибшими" заканчивается торжеством механизма: "Никогда бы не подумал, — говорит самому себе Серафино Губбьо, — что мне доведется кормить человеческой плотью одну из бесчисленных машин, которые люди изобрели ради своего удовольствия".

В увлекательном романе Пиранделло — предвестия экзистенциализма (недаром герой то и дело испытывает *тошноту* от столкновений с людьми), феноменологии, субъективизма: "Извини, а откуда мне знать, что гора — это гора, дерево — дерево, а море — море? Гора есть гора потому, что я говорю: 'Вон то — гора'. Из этого следует, что *я и есть гора* (выделено автором. — *В. К.*). Кто мы? Мы то, чем в данную минуту себя ощущаем. Я — гора, я — дерево, я — море, а также звезда, которая о себе ничего не знает". В таком человеческом самоопределении — антитеза машине, намек на возможность возврата к человечности.

Алан Беннет
Alan Bennett
[р. 1934]. Один из самых известных английских сатириков: драматург, актер, сценарист, прозаик, публицист. Лауреат премии Лоренса Оливье [1989], почетный доктор ряда университетов Великобритании.

Автор множества пьес, в том числе: *Habeas Corpus* [1973], *Сорок лет спустя* [*Forty Years On*, 1969], *Старая страна* [*The Old Country*, 1978], *Безумие Георга III* [*The Madness of George III*, 1991; экранизация, 1994], *Одинокие шпионы* [*Single Spies*, 1988], *Молодые историки* [*History Boys*, 2005], *Говорящие головы* [*Talking Heads*, 1992], а также повестей *Необыкновенный читатель* [*The Uncommon Reader*, 2007; рус. перев. *ИЛ*, 2009, № 12], *Обительница фургона* [*Lady in the Van*, 1994], автобиографической прозы *Письма домой* [*Writing Home*, 1994], *Жизнь как у всех* [*A Life Like Other People's*, 2009] *Нерассказанные истории* [*Untold Stories*, 2010–2011] и др.
Роман публикуется по изданию *The Clothes They Stood Up In* [New York: Random House Trade Paperback, 2002].

Жан-Люк Утерс
Jean-Luc Outers
[р. 1949]. Писатель-романист. С 1987 г. советник по литературе Министерства культуры Французского сообщества Бельгии, издает журнал *Le carnet et les instants*. Лауреат нескольких литературных премий, в том числе премии Виктора Росселя [2008].

Автор романов *Распорядок дня* [*L'Ordre du jour*, 1987], *Суть профессии* [*Corps de métier*, 1993], *Место мертвеца* [*La Place du mort*, 1995], *Компания водных ресурсов* [*La Compagnie des eaux*, 2001], *Контора времени* [*Le Bureau de l'heure*, 2004]. В *ИЛ* опубликована его вступительная статья к специальному номеру *Бельгия: слова и образы* [2011, № 11].
Роман *Путешествие с Люком* публикуется по изданию [*Le voyage de Luca*. Actes Sud, 2008].

Франческо Пикколо
Francesco Piccolo
[р. 1964]. Итальянский писатель и сценарист. Лауреат премий Джузеппе Берто, Пьеро Кьяры и *Альбатрос*.

Автор романов *А если я был, то спал* [*E se c'ero, dormivo*, 1998], *Несовершенное время* [*Il tempo imperfetto*, 2000], *Западное аллегро* [*Allegro occidentale*, 2003] и др., а также книги рассказов *Истории первенцев и единственных детей* [*Storie di primogeniti efigliunici*, 1996]. Сценарист фильмов *Меня зовут Танино* [2002], *Кайман* [2006], *Habemus Papam* [2011] и др. В фильме *Тихий хаос* [2008] снялся также как актер.
Фрагменты книги *Минуты будничного счастья* представлены по изданию *Momenti di trascurabile felicità* [Torino: Einaudi, 2010].

Хорхе Луис Борхес
Jorge Luic Borges
[1899–1986]. Аргентинский писатель, эссеист, переводчик.

Автор книг стихов *Страсть к Буэнос-Айресу* [*Fervor de Buenos Aires*, 1923], *Создатель* [*El hacedor*, 1960], *Сокровенная роза* [*La rosa profunda*, 1975], сборников новелл *Вымышленные истории* [*Ficciones*, 1944], *Алеф* [*El Aleph*, 1949], *Книга песка* [*El libro de arena*, 1975], книг эссе *История вечности* [*Historia*

de la eternidad, 1936], *Новые расследования* [*Otras inquisiciones*, 1952] и др.
Начиная с 1984 г. произведения Борхеса не раз публиковались на русском языке, в том числе в *ИЛ* [1984, № 3; 1990, № 3, 12; 1995, № 1; 1995, № 6; 1998, № 5; 1999, № 9; 2005, № 10 и др.], в *Библиотеке ИЛ* вышел сборник его новелл *Юг* [1984], в издательстве Иностранка — книга новелл *Шесть загадок для дона Исидро Пароди* [2001]. Наиболее полно произведения Борхеса в переводе на русский представлены в Собрании сочинений в 4-х тт. [2000—2001].
Публикуемые тексты взяты из разных сборников.

Радослав Братич
Радослав Брати [р. 1948]. Сербский прозаик. Главный редактор журнала *Нова зора*, издаваемого культурно-просветительским обществом *Просвета*. Лауреат многих национальных литературных премий.

Автор романов *Смерть спасителя* [*Смрт спаситеља*, 1973], *Сомнительная биография* [*Сумња у биографију*, 1980], *Соляной рынок* [*ТРГ соли*, 2002] и др., а также эссе, рассказов и путевых заметок. На русском языке отдельные рассказы Братича печатались в журналах *Аврора*, *Северная Аврора*, *Ладога и Невский альманах*.
Публикуемый рассказ *Куда си пошао, Мојсије* взят из книги *Лучшие рассказы Радослава Братича* [*Најлепше приче Радослава Братића*. Белград: Просвета, 2003].

Иштван Эркень
Örkény István [1912—1979]. Венгерский писатель, драматург, основоположник венгерского театра абсурда. Дважды лауреат премии имени Аттилы Йожефа [1955, 1967], премии *Черный юмор* [Франция, 1970] и других национальных и международных премий.

Автор многих повестей, пьес, сборников рассказов. В *ИЛ* были напечатаны *Одноминутные новеллы* [1970, № 3], повести *Семья Тотов* [1970, № 11] и *Выставка роз* [1980, № 12].
Публикуемые тексты взяты из книги *Egyperces levelek*. [Palatinus, 2004].

Марина Михайловна Ефимова
Журналист, редактор, переводчик. Ведущая тематических передач на радио *Свобода*.

Автор повести *Через не могу* [1990] и многих публикаций в американской эмигрантской прессе. Автор рубрики *Новые книги Нового Света* в *ИЛ*.

Огден Нэш
Ogden Nash [1902—1971]. Американский поэт-сатирик. Член Национального института искусств и

Автор сборников стихов *Я здесь и сам чужой* [*I'm a Stranger Here Myself*, 1938], *Лицо мне знакомо* [*The Face Is Familiar*, 1940], *Добрые намерения* [*Good Intentions*, 1942], *Так много лет назад* [*Many Long Years Ago*, 1945], *Родители, держитесь подальше* [*Parents Keep Out*, 1951], *Рождество, которого почти не случилось*

литературы и Американской академии наук и искусств.

[*The Christmas That Almost Wasn't*, 1957], *Строфы к свадьбе* [*Marriage Lines*, 1964], *Ветряные мельницы что-то не кончаются* [*There's Always Another Windmill*, 1968] и др. На русском языке издан сборник-билингва [Л., 1988], сборник стихов в переводах И. Комаровой [М., 2000]. В *ИЛ* были опубликованы его стихи [1961, № 8 и 1976, № 11].
Публикуемые стихи взяты из разных сборников.

Анна Асланян
Переводчик с английского.

Переводила эссе и рассказы современных авторов, в том числе — З. Смит, Дж. Летема, Р. Лиддла, А. Смит и др. В *ИЛ* опубликованы в ее переводе рассказы М. Галлант [2006, № 11 и 2008, № 7].

Татьяна Дмитриевна Венедиктова
Доктор филологических наук, профессор, литературовед, переводчик с английского.

Автор книг *Поэзия Уолта Уитмена* [1982], *Современная поэзия США: традиция и новаторство* [1989], *Человек, который создал себя сам. Американский опыт в лицах и типах* [1993], *Обретение голоса: национальная поэтическая традиция в США* [1994], *"Разговор по-американски": дискурс торга в литературной традиции США* [2003] и др. В ее переводах опубликованы *Удивительный волшебник из страны Оз* Л. Ф. Баума, *Противники Просвещения* И. Берлина и др. Неоднократно публиковалась в *ИЛ*.

Вера Владимировна Калмыкова
Поэт, филолог, кандидат филологических наук. Главный редактор издательства Русский импульс. Лауреат премии имени А. М. Зверева [2011].

Автор поэтической книги *Первый сборник* [2002], книг по истории искусства и истории литературы, в том числе *Венецианская живопись XV–XVI вв.* [Белый город, 2008], *XIX век. Национальные школы* [в соавторстве с В. Темкиным; Белый город, 2008]; принимает участие в издании словарей, энциклопедий и других справочных изданий по вопросам теории и истории литературы. Постоянно печатается в журналах *Нева*, *Октябрь*, *Юный художник*, В одесском альманахе *Дерибасовская–Ришельевская* и др. Постоянный ведущий рубрики *ИЛ Среди книг с Верой Калмыковой*.

Переводчики

Тамара Яковлевна Казавчинская
Переводчик с английского и польского языков. Обладатель почетного диплома критики *зоИЛ* [2009].

В ее переводе выходили эссе Д. Дефо, У. М Теккерея, Ш. Бронте, Дж. Б. Пристли, Г. Грина, рассказы и повести У. Коллинза, Э. Бульвера-Литтона, Р. Киплинга, С. Моэма, Г. Лавкрафта, М. Спарк и др. В *ИЛ* в ее переводе напечатаны эссе У. М. Теккерея [1986, № 12], главы из книги *Западный канон* Х. Блума [1998, № 12], фрагменты книги Г. Стайн *Париж Франция* [1999, № 7], главы *Автобиографии* Б. Рассела [2000, № 12], английские эссе *Национальные предрассудки* [2007, № 8], повесть *Горькая правда* [2009, № 4] и главы из книги *Автора на сцену!* [2011, № 1] Д. Лоджа, фрагмент книги Г. К Честертона *Джордж Бернард Шоу* [2010, № 8], миниатюра *О сиротах* М. Этвуд [2011, № 5] и др.

Ирина Яковлевна Волевич
Переводчик с французского, лауреат премии *Инолит* [1997].

В ее переводе изданы новеллы писателей эпохи Возрождения, произведения Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро, Ж. Верна, А. Камю, М. Турнье, Р. Кено, Веркора, А. Кристоф, Ф. Бегбедера и др. Неоднократно публиковались в *ИЛ*.

Евгений Михайлович Солонович
[р. 1933]. Переводчик с итальянского, профессор Литературного института имени А. М. Горького, почетный доктор Сиенского университета [Италия]. Командор ордена Звезды Итальянской Солидарности, лауреат Государственной премии Италии в области художественного перевода [1996], премий *ИЛлюминатор* [2001], *Моделло* [2010] и *Инолиттл* [2011] и др.

Переводил лирику Данте, поэтов Возрождения, римские сонеты Д. Д. Белли, стихи У. Сабы, Д. Унгаретти, Э. Монтале, М. Луци и других классиков итальянской поэзии XX в., прозу Л. Шаши, А. Камиллери и др. Неоднократно печатался в *ИЛ*.

Павел Моисеевич Грушко
[р. 1931]. Поэт, драматург, эссеист, переводчик с испанского, каталанского и английского языков.

В его переводе издавались произведения Л. Де Гонгора-и-Арготе, Л. Де Веги Карпио, Х. Р. Хименеса, А. Мачадо, Ф. Гарсиа Лорки, Р. Альберти, Х. Марти, Х. Лесамы Лимы, Х. Л. Борхеса, Х. Картасара, А. Порчиа, Дилана Томаса, У. Х. Одена, Р. Уилбера, Р. Пена Уоррена и др. Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

Василий Николаевич Соколов
[р. 1946]. Литературовед, журналист, переводчик с сербского.

В его переводе опубликованы романы Б. Чосича *Роль семьи в мировой революции* и *За что боролись*, М. Капора *Подходящий день для смерти*. В *ИЛ* в его переводе напечатаны фрагменты книг Б. Чосича *Словарь попа Теодора* [2004, № 3] и *Катарина* [2006, № 10], повесть М. Капора *Зеленое сукно Монтенегро* [2007, № 9] и др.

Татьяна Иосифовна Воронкина
Переводчик с венгерского. Награждена Орденом труда золотой степени, Малым крестом Ордена Венгерской Республики, почетным знаком Pro Cultura Hangarica и др.

В ее переводе опубликованы многие произведения венгерских классиков и современных писателей. В *ИЛ* в ее переводе напечатаны роман-эссе Д. Ийеша *В ладье Харона* [1977, № 5—6], эссе Л. Немета *Пушкин* [1974, № 6], повести И. Эркеня *Семья Тотов* [1980, № 12] и *Выставка роз* [1980, № 12], *К собранию моих сочинений* М. Фюшта [2011, № 7] и др.

Михаил Львович Матвеев
[р. 1958]. Математик, IT-специалист, переводчик с английского.

В его переводе выходили стихи Л. Кэрролла, Т. Гуда, О. Нэша, а также книга Л. Кэрролла *Фантасмагория и другие стихотворения* [2008]. В *ИЛ* опубликована его статья *В "Глоб" по Стрэнду — с Вудхаусом* [2010, № 8].

RINET
Internet Service Provider

Интернет в квартиры и офисы

- Надежная связь и высокая скорость доступа — волоконно-оптический канал 1 Гбит/с в каждый дом
- Квалифицированное и оперативное обслуживание
- 15-летний опыт работы RiNet — гарантия качества и стабильности сервиса

Москва, 1-й Хвостов пер., д.11А

981-45-71

www.rinet.net

В оформлении обложки использован фрагмент картины английского художника Роберта Уильяма Басса *Толпа* [1841].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.
Компьютерный набор Евгения Ушакова, Надежда Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

Адрес редакции: 119017, Москва, Пятницкая ул., 41 (м. "Третьяковская", "Новокузнецкая") ;
телефон 953-51-47; факс 953-50-61.
e-mail inolit@rinet.ru

Подписаться на журнал можно во всех отделениях связи.
Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие.
Льготная подписка оформляется в редакции (понедельник, вторник, среда, четверг с 12.00 до 17.30).

Купить журнал можно:
в редакции;
в киоске "Новой газеты" (Страстной бульвар, д. 4);
в книжной лавке ВГБИЛ им. М. И. Рудомино (Николоямская ул., д. 1);
в книжном магазине клуба "Проект-О.Г.И." (Потаповский пер., д. 8/12, стр. 2, вход со двора; м. Чистые пруды, Китай-город);
в книжном магазине "У Максима" (МГУ им. М. В. Ломоносова, 1-й Гуманитарный корпус; м. Университет);
в книжном магазине "Русское зарубежье" (Нижняя Радищевская, д. 2; м. Таганская-кольцевая);
в книжном магазине "Фаланстер" (Малый Гнездниковский переулок, д. 12/27, стр.2–3);
в книжном магазине "dodo-space" (Рождественский бульвар, д. 10 / 7).

Официальный сайт журнала:
http://www.inostranka.ru
Наш блог:
http://obzor-inolit.livejournal.com

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 15.03.2012
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 25,20.
Уч.-изд. л. 24.
Заказ № 89.
Тираж 5300 экз.
Отпечатано ОАО "Типография "Новости", 105005, Москва, ул. Фр. Энгельса, 46.

Присланные рукописи не возвращаются и не рецензируются.

[5] 2012

РОМАН СЭМА СЭВИДЖА “СТЕКЛО” / СТИХИ СОВРЕМЕННЫХ НЕМЕЦКИХ ПОЭТОВ / “МОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МИРУ. ИСТОРИЯ ПОДПОЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА” ЯНА КАРСКОГО В РУБРИКЕ “ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА” / ЭССЕ ЖОРЖА ПЕРЕКА “ДУМАТЬ / КЛАССИФИЦИРОВАТЬ” / АЛЕКСАНДР СТЕСИН В РУБРИКЕ “ПИСЬМА ИЗ-ЗА РУБЕЖА”